

Алексей  
Слаповский  
**Неизвестность**

*Роман века*

1917 – 2017

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000037857078

*Финалист  
премий*

**БОЛЬШАЯ  
КНИГА,  
РУССКИЙ  
БУКЕР**



Алексей  
Слаповский

# Неизвестность

*Роман века*  
1917 – 2017



Издательство  
АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С47

*Художник – Владимир Мачинский*

**Слаповский, Алексей Иванович.**

С47      **Неизвестность : роман века : 1917–2017 / Алексей Слаповский. – Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 504, [8] с. – (Новая русская классика).**

ISBN 978-5-17-102529-8

Новая книга Алексея Слаповского «Неизвестность» носит подзаголовок «роман века» – события охватывают ровно сто лет, 1917–2017. Сто лет неизвестности. Это история одного рода – в дневниках, письмах, документах, рассказах и диалогах.

Герои романа – крестьянин, попавший в жернова НКВД, его сын, который хотел стать летчиком и танкистом, но пошел на службу в этот самый НКВД, внук-художник, мечтавший о чистом творчестве, но ударившийся в рекламный бизнес, и его юная дочь, обучающая житейской мудрости свою бабушку, бывшую горячую комсомолку.

«Каждое поколение начинает жить словно заново, получая в наследство то единственное, что у нас постоянно, – череду перемен с непредсказуемым результатом».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-102529-8

© Слаповский А.И., 2017  
© ООО «Издательство АСТ», 2017

# Оглавление

Читателям .....	7
Часть I	
Дневник Николая Тимофеевича Смирнова 1917–1937 .....	9
Часть II	
Дневник и письма Владимира Смирнова 1936–1941 .....	109
Часть III	
Интервью Ани Смирновой с участием ее бабушки Екатерины Николаевны, отца Виктора и матери Ирины 1941–1959; 2016 .....	205
Часть IV	
Приговор Антону Смирнову 1954–1962 .....	267
Часть V	
Двери: рассказы Виктора Смирнова-Ворохина 1965–2016 .....	279
Часть VI	
Письмо Глеба Смирнова 2017 .....	493



## Читателям

Давным-давно, в 2017 году...

Так почему-то хочется начать. Наверное, это следствие странного, не мне одному присущего желания – проскочить мутное безвременье, оказаться на следующей станции, но, конечно, в том же возрасте.

Потому что – раздрай, растерянность, все со всеми переругались.

Одновременно сверху объявлено великое единение, снизу подтвержденное повальным одобрением. Если верить цифрам опросов.

То есть вроде бы люди из массы понимают, куда идем. Но спроси их не для цифры, не просто чтобы сказали «за» или «против», а конкретно: так куда идем, в самом-то деле? – и получишь ответы удивительные, узнаешь, что движемся мы в одном и безусловно верном направлении, но при этом каждый укажет в свою сторону.

Как это в головах укладывается, ей-богу, не знаю.

Будто слышишь:

– Христос воскрес!

– Воистину акбар!

Мы путаемся в настоящем, не понимаем его, потому что до сих пор не поняли прошлого.

И я путаюсь.

Оно ясным казалось мне когда-то на уроках истории в школе. Никаких сомнений, Павел Корчагин герой и Павлик Морозов герой.

Потом объяснили: нет, Корчагин, может, и герой, хотя, конечно, революционный фанатик, а тезка его Морозов уж точно не герой.

Потом окончательно разоблачили обоих.

Потом обоих реабилитировали.

Потом... — и нет пока этому конца.

И так во всем, чего ни коснись, и со всеми, кого ни коснись.

С такими мыслями я брался за эту книгу. Хотелось понять. Не вмешиваясь в речи героев, не вставляя авторских комментариев, не высываясь со своим мнением.

И кажется, понял. Но не головой, а, как крепко говорили в годы Гражданской войны, собственной шкурой — прожив с героями их жизни, неоднократно изменившись, но оставаясь в целом прежним.

Что именно понял? — ответ в книге, события которой начались совсем недавно, в 1917 году.

Ваш  
А.С.

*Часть I*

Дневник  
Николая  
Тимофеевича  
Смирнова

1917 – 1937

*17 декабря 1917 года*

Я лишился правой руки, но я левша, и мне повезло. Я ем левой рукой, пишу грамотность, и все остальное тоже делаю левой рукой. Главная достижения\*, что я вернулся с фронту живой.

Я Смирнов Николай Тимофеевич, 1894 году рождения, в селе Смирново Акулиновской волости, сословие крестьянин, и вот я пишу эту запись.

Я был заместо писарь в роте. Писаря убили, и я был писарь.

Я до этого был деньщик\*\*. Полковник Мухортнев Илья Романович учил меня грамоте. Он говорил, что русский народ должен быть грамотный. Он был очень душевный человек, хотя и на войне. Я и до этого немного умел самоуком, но нет никакого сравнения.

Потом Илью Романовича убило, а меня послали в роту. Там убило одного писаря. Вот я и стал писарь. В нестроевой роте, но на фронте.

---

\* В записях Н.Т. Смирнова при перепечатке исправлены ошибки и расставлены знаки препинания — для удобства чтения. Сохранены особенности, которые кажутся характерными. Ведь в грамматике и орфографии тоже проявляется личность пишущего, видно его понимание слов и мира.

\*\* См. предыдущее примечание. Дальше читатели разберутся сами.

Там нас было несколько. Другие грамотней по сравнению с меня и с хорошим подчерком. Они смеялись, как я пишу, и не давали ничего важного. Но учили меня, пускай со смехом. Я стал совсем грамотный и с хорошим подчерком. Хотя и левша.

Они еще смеялись, что я прячу, что пишу. Левша ведь рукой закрывает, что пишет. Вот они и смеялись, будто я прячу.

Я писал все, что велели, и письма фронтовиков. Они говорили слова своим родным, а я им писал. Я жил, как кум королю. Но накрыло снарядом, оторвало руку. Думал, что умру, но ничего.

Это было перед Светителя Николая. Мои именины.

Приехали люди и собрали всех. Сказали, что теперь равенство и что командир брат солдату. А кто не согласен, того расстрелять. Наш капитан Данишев был не согласен и сам хотел расстрелять, кто приехал. Они начали громко спорить, кто кого расстреляет, но никто никого не расстрелял.

Потом приехали другие люди и сказали: штыки в землю и конец войне. А кто если из командиров не согласен, то опять расстрелять. Капитан Данишев был опять не согласен и опять хотел расстрелять, кто приехал, а они, наоборот, хотели его расстрелять. Но опять никто никого не расстрелял.

Тут началась артиллерия, и нас всех накрыло вследствие скопления на данной дислокации.

Я очнулся в лазорете.

Слава Богу и хорошие люди, которые мне отрезали руку, но вылечили.

И я теперь прибыл в расположении родной деревне.

У меня, когда ранило, была сумка с бумагой и тетрадь. И ручки, и чернило. Руку оторвало, а сумку не тронуло. Вот чудеса.

Зато я теперь пишу, потому что мне понравилась эта привычка в период прохождения службы.

Я теперь дома, Слава Богу.

На Воздвиженье прибыл.

И тут же мне отец, Смирнов Тимофей Трофимович, а маму мою зовут Анна Федоровна, и еще у меня две младшие сестры, Дарья и Елизавета, а двух старших братьев, Никиту и Семена, убило, а Кирилл утонул, а всего нас раньше было восемь человек, но двое детей умерли еще в детстве. Остались мы всего трое. Николай, то есть я, и Дарья с Елизаветой. Отец мне сказал, теперь ты голова семьи, хоть и однорукий, а я уже старый, так что давай женись и тут командуй, тем более фронтовик и грамотный, поди ж ты. Бери Смирнову Екатерину, которая дочь Смирновых Больших. Если дадут, а они дадут, им некуда деваться.

К сведению, если кто прочитает, что я тут пишу. У нас полсела Смирновы, потому что называется Смирново. Есть Смирновы Крайние, есть Улошные, есть Смирновы Поповы, есть Смирновы Кривые. Нас зовут Смирновы Худые. За бедность. Мы всегда были бедные. А Большие богаче. Три лошади конского состава и корова с телкой. Овцы и свиньи. Всякая пернатая птица.

Я пошел с моей теткой, маминой сестрой Ульяной, свататься к Смирновой Екатерине.

Тетка сказала, что у вас товар, у нас купец.

Ихий отец, Захар Васильевич, сказал, что купец однорукий и голодраный, но выбирать не приходится. Екатерина в сильном возрасте, двадцать лет, а других женихов поубивало.

Тут вышла Екатерина, и она мне сперва не понравилась. Худоватая и черноватая, включительно глаза. Как циганка. Но потом присмотрелся, вроде ничего.

Она начала плакать, что хотят отдать за однорукаго.

А отец ей говорит, где я тебе двуруких нынче найду в женатом возрасте?

За Екатериной давали телку, сундук с одеждой и горку с посудой.

Мы прямо стали богачи.

Справили свадьбу, как могли, и начали жить.

Отец сказал братья за хозяйство, но тут прислали от усадьбы Анастасие Никитишны Прёловой и сказали, что узнали, что я грамотный, а им нужен для записей человек. У них кто-то был, но взяли на фронт. Записывать по хозяйству и племянное дело. У Анастасие Никитишны племянная ферма на дюжину быков. И еще там у нее коровы и другая скотина. Большое хозяйство. Управляет помощник Игнатьев. Она с ним живет невенчанная, но я не интересуюсь, это не мое дело. Я научился писать роцион быков и скотины, чтобы они знали, с чего какой результат. Плату дают натурой, мука и масло. Иногда мясо.

У Прёловой наших работает много, чуть не полсела с нее кормится. Но мне отдельное уважение, и это приятно.

Мы стали жить хорошо.

С Екатериной тоже живем хорошо.

Но пришел с фронту Иван Смирнов Большой, старший сын Больших. Сказал, что у него война кончилась, и ругался на своего отца, что отдал Екатерину за меня. Пришел ко мне и бил меня, а я не мог оказать сопротивление вследствие моей одной руки. Но потом убежал от него в хлев, схватил вилы и пригрозил, что убью. Тогда он успокоился, мы помирились и выпили казенной. Он рассказал, что везде идет какая-то буча. Что, когда царя не стало, было непонятно, как теперь будет, а пока разбирались, что к чему, стало еще непонятней.

Я спросил Ивана, что же нас ждет.

Он сказал, нас ждет неизвестность.

*25 декабря 1918 года*

Хоть я хотел писать постоянно, но никак нет время.  
Теперь опять пишу.

Всех Православных с Рождеством Христовым.  
И меня, грешного.

Если кто-то что-то делает один раз, то, может, и случайно, а если неоднократно, получится традиция. Вот я и пишу.

Год был очень трудный.

Перед летом лишился работы.

К Анастасие Никитишны пришли люди из нашего села и сказали, что по новому закону отдай народу имущество. Игнатьев начал говорить свои возмущения, но Иван Смирнов Большой начал его бить обухом колуна, как дубинкой, и забил до смерти. Наши тоже помогли. Я прятался на чердаке и боялся. Когда наши начинают мести, они не разбирают. Но Иван увидел меня и сказал, слезай, мы тебя не тронем.

Они побежали в дом и начали выносить оттуда мебельные столы и стулья. И все что попало. У Анастасие Никитишны в эту время гостила дочь Нина. Они что-то там кричали и она кричала, но я не понял что. Я пошел на ферму и взял быка и корову. Отвел домой и вернулся еще, но уже ничего не осталось. Я пошел в дом, но там тоже ничего не было. Была дочь Нина, голая и мертвая. Но Анастасия Никитишна была живая и кричала на меня. Я сказал, что я не виноват.

Я ее пожалел и повез к переправе.

Она все равно кричала и не хотела успокоиться.

Она соскочила с телеги и побежала домой.

Я поехал за ней.

Она лежала дома на своей дочери и опять кричала.

Она стала сумашедшей.

Я поехал домой.



Что там стало с Анастасией Никитишной, не знаю. Наверно, ушла куда-то пешком. Я не знаю.

На Предтечу приехали для реквизиции конского состава для армии. Узнали, что я грамотный, и пришли ко мне, чтобы я написал численный состав лошадей по дворам. Я написал, и они пошли. У Смирновых Больших имелось три своих, да еще две они взяли с фермы от Анастасие Никитишны. Но когда пришли к ним, там была только одна лошадь, и то мерин-пятiletка. Они начали с ними говорить по моему списку и удивляться, что нет лошадей. Не знаю, что говорили Большие, но теперь известно, что ихому отцу Захару Васильевичу ударили прикладом голову до крови, а Иван сознался и повел их в лес, где прятал лошадей.

Он отдал лошадей, кроме мерина, и пришел меня бить за список. Я его стыдил и совестил. Я сказал, что нечего тут бушевать. Учитывая, что его родная сестра только что скинула свое зачатие. Подняла что-то тяжелое, потужилась, вот и скинула. Пожалел бы, вместо ругаться.

Иван унялся, мы выпили вина. Кроме племенных быков, Анастасия Никитишна и Игнатьев растили яблоки и делали вино. Даже на продажу. Поэтому в Смирново после, как ее ферму растащили, было вина много, хотя быстро выпили. А у меня оставалось. И мы выпили. Иван хоть и злой, но умный. Я его спросил, ну что, Ваня, а что теперь будет, знаешь. Он сказал, знаю. Я спросил, что. Он засмеялся и сказал, все то же самое.

*26 декабря 1918 года*

Продолжаю после перерыва в связи с обстоятельствами.

Екатерина то и дело ложится. Хворает какой-то болезней, и от нее по хозяйству нет толку. Я ее не понужаю, она не виновата.

Пришел с фронта Сергей Калмыков и женился на нашей старшей Дарье. Он живет с матерью Софронихой без хозяйства, кроме огорода, но мы отдали. А за кого еще.

Пахали на быках и коровах ввиду отсутствия поголовья лошадей. Но надо как-то питаться. Поэтому быков забили. Они привыкли к хорошему фуражу невпроворот, стали худеть, а на племя все равно не надо. А от коровы и работа, и молоко. Поэтому коров оставили, а быков забили. Что продали или сменяли на вещи, что завялили или засолили, что сразу съели.

Приехали люди в неизвестной военной форме и сказали, что государству надо продукцию питания для победы. А также хотели взять упряжь и колесный тележный транспорт.

Дальше, что я пишу, это секретные данные и приглашению не подлежит.

Тетрадь зарю, как напишу.

Они, кто приехал, за день не управились и остановились у Смирновых Каплюжных.

Каплюжный Василий с ихим командиром оказался в знакомстве через фронт. Поэтому они остановились у Василия. И во двор склали, что взяли. Всякая продукция, а также фураж и упряжь. И какие-то еще вещи, в том числе что мы брали у Анастасие Никитишны.

Иван Смирнов Большой пришел ко мне и сказал, Николай, завтра они возьмут все остальное и уедут, а мы тут помрем с голоду. Надо устроить у них обратную реквизицию по закону военного времени. Отец мне сказал, что не надо. Но у меня есть свой ум, и я согласился. Но сказал, что надо решать все мирным способом. И мы пошли.

Иван был, да еще Семен Кружнов, да Жила, да я. И еще были люди.

Мы пришли ко двору Каплюжного, а там во дворе никого не было, кроме стоял часовой. Чесового кто-

то стукнул дрыном. Мы начали забирать все имущество, но тут вышел ихий командир и вытащил ноган. Он выстрелил в воздух и сказал, кончай самоуправство. Мы не согласились. Выбежали другие. Началась стрельба. Всех, кто вышел из избы, постреляли. Жила пошел в избу Каплюжного. Слышим, бац, выстрел. Жилу убили. Он вышел обратно из избы, но идти не мог и пополз, а потом упал и умер. Мы бросились к окнам, но там было темно. Иван, Семен и другие стали стрелять, чтобы обезвредить. Потом вошли в избу и увидели, что обезвредили всех, включительно Василий и его семья.

От Василия только осталась дочь подрастающего возраста Ксения. Ей некуда было деваться, поэтому я взял ее к себе.

А Иван и Семен взяли все почти что имущество и уехали. Они уехали не к себе во дворы, а куда-то. С осени их нет, и где, неизвестно. Получилось, что у нас опять ничего нет, кроме для чтобы прожить кое-как. Да еще, когда мы убирали, кого постреляли, я снял с их кое-какую одежду и сапоги. Двое пар сапог оказались лучшего качества. Еще я хотел что-то взять в доме Каплюжного, раз он теперь пустой, но там мало что было взять. А кого постреляли, я занес в дом, а потом устроил от греха подальше случайный пожар.

Потом был дождь, а когда дождь, к Смирнову подъехать нельзя. Есть переправа в виде плота с канатом в обычное время, но в дождь мало кто там переправляется. А когда дождь кончился, выяснилось, что плота нет, и канат тоже пропал. Мы, мужики, собрались и говорим, как теперь быть. Нам никуда, и к нам никто. Решили, что нам никуда, это плохо, но что к нам никто, это даже хорошо.

Но все-таки приехали, когда подсохло, люди и спрашивали, где те, кого мы постреляли. Им сказали, что они уехали. Но кто-то сказал про пожар у Ва-

сия и что мы там были. Иван Большой, Семен Кружнов, Жила, которого убили. И другие. И про меня сказали. Они пришли ко мне, но я сказал, где вы видали, чтобы одорукий левша мог стрелять. Они убедились, что это правда, и пошли к Семену Кружному, а тот начал бежать. Естественнo, его застрелили.

Ксению я приспособил в благодарнoсть нам, что приютили, работать по хозяйству. Девка очень здоровая, и хоть говорила, что ей четырнадцать, но по виду шестнадцать, если не все семнадцать, а то и больше.

Я ее послал на делянку какурузы. У Анастасие Никитишны росла какураза. Никто у нас ее не растил, а Игнатъев завел для силосу. И даже они ее ели, то есть ее початки, а я брезговал. Я же не скот, чтобы ее есть. Я послал Ксению на делянку наломать скоту. Она туда пошла, нет ее и нет. Я пошел, а она там на припеке устроилась и спит. День был, как лето, хотя перед зимой. Я ее начал ругать, а она даже не шевельнулась всем своим женским телом, которое лежало на земле в спальной позиции, а сказала мне, что, Николай Тимофеевич, я устала. И сказала, что скучаю за родителями, которых вы убили. Я сказал, что это была боевая обстановка, когда никто не разбирает. Но я их не трогал. Она сказала, что теперь не знает, как ей жить. Я сказал, тебе знать нечего, ты живешь у нас, и все. Она сказала, что она у нас никто и звать никак.

Мне ее стало жалко, и я тоже сел рядом и начал говорить, что она молодая и все впереди. Она сказала, что впереди ничего нет, потому что ей не за кого выйти замуж. И когда она говорила про замуж, она как-то так посмотрела и пошевелилась, что я не выдержал и прилег на нее. Она меня обняла и сказала про мои синие глаза. Какую-то женскую глупость, как я теперь понимаю. Но в тот момент времени я не способился рассудить и сделал с ней то, что делал с женой. То есть

как раз не делал из-за ее болезни. Меня тоже можно понять. А сучка не захочет, кобель не вскочит. И я стал после этого ее ругать, что она\*

Я велел ей никому ничего не говорить.

Она не говорила, но недавно сказала мне, что тяжелая, потому что у нее не было того, что у женщин. То есть кровей. Я ее ругал и стыдил, хотел даже побить, но она пригрозила, бессовестная, что будет кричать и плакать на всю ивановскую. И все всё узнают.

Так оно теперь и есть.

И что будет дальше, один Бог знает.

### *27 декабря 1919 года*

Весь год не вспоминал про тетрадь, а тут как торкнуло. Год к концу, а я считать прорехи и раздавать орехи. Орехов у меня нет, но так говорится. Пословица.

На Благовещенье умер мой отец Тимофей Трофимович Смирнов, Царство Ему Небесное. Он начал зимой пухнуть и позвал сватью Софронику. Она сказала, похоже, водянка, и надо в бане выпарить с себя лишнюю воду. Пропотеть, она и выйдет. Отец сидел в бане почти что каждый день, но ничего не выпарил. Ему было все тяжелее, и он плохо дышал. Мама моя, Анна Федоровна, жалела его и сказала мне взять его к фельшеру в Акулиновку. Смирново у нас небольшое, и нет фельшера, а в Акулиновке есть, но она за рекой, а ударила оттепель.

Я повез его крюком к мосту за 20 верст, чтобы потом опять вернуться к Акулиновке, которая почти что напротив нас, если летом. Или зимой по хорошему лёду.

---

\* Здесь почему-то не дописано: видимо, Николай не нашел подходящих слов, оставил на потом, да и забыл.

Повез на быке, которого взял у зятя Сергея Калмыкова. Все своих быков забили, а он сохранил. И много чего другого. Он у Анастасие Никитишны хорошо пользовался и пошел в гору. У них с нашей Дарьей родилась под осень дочь.

Он дал мне быка, и я повез.

Привез отца к мосту, а там стреляют два военных соединения. И с той стороны, и с этой. Отец сказал, давай домой. Но нас заметили. Подскакали и сказали, что им надо тягловую силу, чтобы вытащить артиллерийскую пушку. У них была пушка, и она застряла. А лошади все верховые, и упряжи нет, и нечем тащить пушку. А им надо было пробиться на ту сторону. Я объяснил про больного отца, но они сказали, что все равно туда не проехать. Они покляли отца на снег, на доху, а я поехал с ними тащить пушку. Вытащили и приволокли к мосту. Выстрелили три раза и перестали из-за неналичия снарядов. Но с той стороны напугались или еще что, и они отступили. Я вернулся к отцу, а он уже застыл.

Я хотел поехать домой с его покойным телом, чтобы похоронить, но там оказался Иван Смирнов Большой. Он меня увидел и обрадовался. Он сказал, что теперь краснармеец. Что, когда ехал с Семеном Кружновым и с имуществом, чтобы его продать, их встретили красные. И они с Семеном сказали им, что тоже красные. И их взяли в краснармейцы вместе с имуществом.

Они взяли меня с собой. Я не хотел, но Иван сказал, что скажет, кто пострелял и пожог людей в селе. Я сказал, что он-то как раз стрелял, а я-то как раз не стрелял. А пожог уже мертвых. Он сказал, что мне поверят, а тебе нет, потому что я краснармеец, а ты не сознательный.

Отца и кто погиб при мосте мы там прикопали и поставили крест. Срубили березку и сломали на-

вдвое, получился крест. Я потом уже позже вернулся и его не нашел. Где лежит отец, я теперь не знаю.

Мы поехали в Акулиновку. Там, благодаря за свою грамотность, я опять стал писарь. Там был главный ихий командир Савочкин. Я при нем писал документы. Они уезжали и воевали, а потом возвращались. И так почти до Пасхи. Меня не брали, я не боевая единица. Я хотел убежать, но боялся Ивана, что скажет, что я будто тех стрелял, кого они постреляли. А потом они приехали, и Савочкин сказал, что большие потери, включая Ивана. И надо отступить, потому что белые идут на Акулиновку. Он приказал мне сжечь все документы, которые не надо, а оставить оперативные. Я не знал, какие оперативные, и на всякий случай сжег всё и убежал к реке.

Я надеялся на переправу, но ее не было. Там было переходящее место. Наступали красные, и белые рубили канат и спускали плот по течению вниз, чтобы не достался красным. Красные чинили канат и строили плот, но наступали белые, и красные рубили канат и тоже спускали плот по течению. Но иногда не было красных и белых, и плот был. На этот раз плота не было.

Но была лодка. Я ее взял, и тут бежит мужик и кричит, что убью. Я говорю, мне твою лодку не надо, а надо на тую сторону. А он смотрит на мои сапоги. Я догадался и говорю, перевези меня, отдам сапоги. А он такой жестокий, говорит, что я тебя кончу и возьму сапоги задаром. И всю остальную амуницию. Я говорю, ты дурак или умный. Возьмешь на себя грех вместе с сапогами, а так помахал веслами и взял без всякого греха. Он засмеялся и перевез меня. Хороший оказался человек, я за него поставил свечку перед иконкой. У нас нет церкви, она в Акулиновке. А то бы поставил в церкви. Но у нас ее нет.

Как отошла земля, стали сеять. Сергей Калмыков начал на меня обвинять, что я не вернул быка, и по-

требовал корову взаменсто быка. Я сказал, что у тебя и так две, а у меня останется одна, что я с ней буду делать. Он сказал, что его не касается. А Дарья вместо чтобы, как моя сестра, защитить свою бывшую семью, наоборот, тоже на меня накинулась. Была смиренная девушка, а стала из-за Сергея прямо как волчица. Даже на маму Анну Федоровну сказала нехорошие слова.

Я отдал корову. Из двоих осталась одна, и та худая, на ней не пахать, а царапать. Как быть, непонятно.

Я пошел к тестю Захару Васильевичу и просил помощи. Он сам еще крепкий, и сын Никита, кроме Ивана, женатый, а живут одним хозяйством под Захаром Васильевичем. Я просил его о помощи, но он сказал, что сам еле управляет. Я сказал, как же, ведь у меня ваша дочь в смысле моей жены. Мы же родные. Он сказал, что дочь отрезанный ломоть на моем подпечении, и если я ее взял, то сам и виноват. Правда, муки два пуда дал без отдачи. И спрашивал про Ивана, но я сказал, что не знаю.

Спасибо соседу Смирнову Кривому. У него тоже одна корова, а погода уходит, надо быстрее пахать, и мы двумя коровами на один плуг объединились и спыхали сперва ему, а потом мне. И отсеялись.

В ту же время выяснился большой живот Ксении. А Екатерина все болела и лежала, а Ксения, хоть тоже беременная, ворочала по хозяйству. Мама ругала на чем свет ее и меня, что мы такое сделали, но сама Ксению полюбила. А Екатерина даже не ругалась, только смотрела. Она, хоть и больная, родила в начале лета девочку Марию, а Ксения к Успенью мальчика Петра. Или раньше. У меня там записано, за Божницей, надо посмотреть. После рождения Екатерина стала здоровше.

Было событие, что прибыли из Акулиновки, где назначили Советскую Власть и сказали, что у нас



тоже Советская Власть. И что здесь должен быть Представитель для справедливого учета имущества. Помощь, кто беднее. А кто побогаче, пусть помогает. Стали искать и выбирать Представителя, и все начали говорить на меня, что я грамотный и воевал за Красную Армию. Они и сами меня там видели, в Акулиновке, хоть и не знали, что я потом сбежал. И подтверждали, что я краснармеец.

Я стал Представителем. Начал ходить и переписывать имущество. Меня ночью встрели и сильно избили. Я не видел, кто это был. Две недели лежал, и до сих пор болит под ребром слева. Что-то там мне ушибли.

Потом приехал Иван Смирнов Большой, который оказался живой, а только раненый. Он сказал, что Савочкина убило. Мне это понравилось, хоть и жаль человека.

Екатерина стала помаленьку работать. Она со всеми молчала. А Ксения с ней себя вела весело и нахально. Хвастала, что на Екатерину муж не взглянет, а ее каждую ночь ласкает. Это была правда, хотя в избе нам было неудобно при всех, и мы приспособились в хлеву на сеннике. Колется, но, если подстелить шубейку, то ничего. Даже приятно, шубейка мягкая.

Надо себя с Ксенией держать строго, а то забалуется. Это я наперед себя предупреждаю.

Мне досталась кобыла, Слава Богу. С краю Смирнова, в Киевке, у нас жил Григорий Чубенко. С хохлов. Там и другие с хохлов. Шесть дворов. Поэтому мы зовем Киевка, хотя они, может, и не с Киева. Григорий, когда все это началось, ушел в бандиты. Люди сказали, что в бандиты, а они знают. Но потом вернулся, чтобы сеять. И больше уже никуда не ездил. Привел с собой двух лошадей, да свои две. Стал совсем кулак. Когда я, как Представитель, все переписал, приехали с Акулиновки и сказали, что бедный комитет решил Чубенко, да еще двух с Киевки и трех

наших в добровольном порядке распределить. Чубенко стал говорить, что у него нет добровольного согласия. Что никаких бедных комитетов уже нигде нет, а вы самоуправы. Ему сказали, что нигде нет, а у нас есть. Возникла ситуация. Чубенко взял оглоблю, он здоровый мужик. Но его схватили и увезли. А потом куда-то дели и семью. А мне досталась кобыла. Я Чубенко не трогал и не виноват, но если двор без хозяина, то не пропадать же. Другие даже подушки взяли и всякую мелочь вроде горшков, а я имею совесть. Взял только лошадь, да и то одну, потому что без конского поголовья на земле не проживешь.

Чернило у меня кончилось.

Наскреб из печи сажи и развел в конопляном масле. Получилось хорошо, но надо осторожно, а то грязнится.

Еще одно событие. Я стал примечать сестру Елизавету, что она поздно приходит. Стал следить. Смотрю, а она к старухе Куликовой. Куликова у себя устраивает вечерки для молодежи, какая осталась. Она живет одна, и ей так веселее. Кто принесет хлеба, а кто и кренделек. Или даже селедку. Я посмотрел в окно и увидел, что вечерки там нет, а есть Иван и что-то там делает, а Елизаветы и старухи не видно. Я вошел и увидел, что Иван занимается с Елизаветой. А старухи нет. Я стал ругать Елизавету и Ивана. Что ты делаешь, она совсем молодая девушка, а ты мужчина в возрасте. Кто должен думать, она или ты, сообрази сам. Ивану было двадцать четыре. Я не знал, а потом спросил у него, а он говорит, мне двадцать четыре. Младшей меня на год оказался, хотя выглядит не молодым мужиком. Такая у него внешность лица, старая.

Иван сказал, что хочу на ней жениться. Елизавета плакала и ничего не говорила. Я сказал, еще бы не жениться, тебе теперь некуда деваться. Он сказал, что

девался бы, если бы хотел, но не хочет, а хочет жениться.

Мы сговорились, хотя Захар Васильевич был против. Один раз сроднились с Худыми, а теперь еще. Сколько можно. Я немного посмеялся над ним, потому что помнил свою обиду про его отказ, что не дал лошадь, и сказал, что жаль, что у нас больше нет девки, а то бы отдали и за Никиту. Это был мой такой смех, потому что Никита уже женатый. Его жена даже в меня плюнула от злости. Она у него очень злая. Сам Никита добрый и спокойный, а она злая, как не знаю кто.

Сговорились, что свадьба будет после Филиппова Поста. Но еще не кончился Филиппов Пост, а Иван уехал. Никто не видел, как он уехал. А Елизавета, я чую, уже с начинкой. Куда мне девать столько детей, если она родит к двоим моим. Если не будет больше, потому что Ксения говорит, что у нее опять женские не пришли.

Спаси нас всех, Господи.

У нас был человек с города и говорил про религию, что ее нет. Я не знаю. Может, религии и нет, я сам в Церкви с детства ничего не понимаю, что там поют про религию и что Поп говорит, но Бог-то есть. Потому что, если нет Бога, то кто тогда? Тогда Человек получается сам по себе, а этого не может быть. Он сам по себе зверь и животный, и у него нет Души. А раз есть Душа, то она от Духа Небесного, Иже Ныне и Присно и Вовеки Веков. А от кого же еще.

*27 декабря 1920 года*

Как совпало, что я прошлый год записал в тетрадь 27 декабря, и в этот пишу тоже 27 декабря. Но я не рассчитывал, это просто совпадение.

Год был очень тяжелый.

Ксения родила мальчика Семена. А Елизавета тоже мальчика Михаила.

На всю избу теперь пищит целый выводок, и всех надо кормить.

Летом была такая сухота, что собрали пшеницы всего ничего. Была еще до этого озимая рожь, ее тоже мало собрали.

И мне некогда было, я воевал.

Но я расскажу в порядке поступления.

Я мог бы и раньше писать, что захочу, потому что теперь бумага и чернило у меня всегда есть в количестве, но раз уж я решил под новый год, то и пусть будет так.

Правда, 27 декабря я теперь считаю по Новому Стилю. Это началось еще с прошлой зимы. По Старому Стилю мы бы Рождество справили позавчера, а будем через неделю после нового года. Люди путаются, а кто, чтобы не ошибиться, на всякий случай празднует два Рождества, по Старому Стилю и по Новому.

Я остался Представитель и Член Сельсовета по Акулиновской волости, куда мы приписаны. С начала года ко мне приехал с Акулиновки Савочкин. Он был в повязке на глазу. Иван зря сказал, что Савочкина убило, он оказался живой. Я испугался, что он меня узнает и начнет обвинения. Я сказал, что я не убежал, а меня ранили, и я переправился домой, чтобы вылежаться. Он со мной согласился и сказал, что тоже был раненый в глаз и чуть не умер. И сказал, что по инвалидности зрения теперь он не командир, но в Акулиновке главный по Советской Власти. Он там себе нашел жену. А тут буду я. И должен составлять отчетность в смыслах Революции и Контрреволюции. И чтобы все понимали новую жизнь. Он оставил мне три книги про коммунизм. И оставил бумагу и чернило.

Я уже очень хорошо пишу, но читаю медленно. Я эти книги пока осилил только половину одной. Я читаю вслух, потому что, если молча, то ничего не понимаю. Правда, вслух я тоже не понимаю. То есть по словам почти все понятно, а в цельности нет.

Насчет Революции и Контреволюции я тоже не понял. У нас нету ни того, ни другого вследствие засухи и почти что голода, а как писать про то, чего нет. Но Савочкин прислал человека, звать Игнат, совсем молодой, он сказал, что Савочкин ждет отчетность, с него тоже требуют. Я сказал Игнату, что давай выпьем, он согласился. И оказался слабый на это дело, хоть и молодой. И я его три дня поил, а сам писал отчетность. Я списал слова из книги, а к ним прибавил, что был сход и что эти слова приведены в исполнение для населения села, и что оно согласилось. Потом я узнал, что Савочкину это понравилось. И я ему еще три раза посылал отчетность со словами из книги и одобрением населения, и ему всегда нравилось.

Игнат еще приезжал, кроме отчетности. Я не знал, что он сговорился с Елизаветой. Я даже не видел, как они сговорились. Я видел, что он на нее смотрит, но думал, что он, может, женится на ней с ребенком. Сразу было бы легче нашей семье. Но они ночью уехали с Елизаветой. А ребенка Михаила оставили. Мы и так работали всего только я и женьщины, Ксения, Екатерина и наша мама. Но у мамы уже не та сила, а Екатерина поработает и хватается за грудь. Некому работать, все на мне в этой жизни. Кто же выдержит.

Я поехал в Акулиновку за Елизаветой. Она не захотела ехать обратно, и Игнат ее не давал. Я пошел к Савочкину и сказал, где такой порядок, что чужой парень живет с моей сестрой, как нехристи. Они даже невенчаные. Он сказал, что для Советской Власти это не обязательно, а теперь гражданский брак. Я ска-

зал, что, если так, пускай Игнат идет к нам в примачи, потому что некому работать. Он согласился. Но Игнат сказал, что он не крестьянин, а строит новую жизнь и поедет в город. Вместе с Елизаветой. Я осерчал и начал его попрекать, но он показал ноган и сказал, чтобы я уехал.

И я уехал. Что с ним поделаешь. Где теперь Елизавета, никто не знает. Уехала с Игнатом. А Михаила Ксения кормила грудью. У нее грудь хоть на трех хватит.

На яблочный Спас приехали люди взять хлеба и фуражу для войны и пролетариата. Нашим людям это было неприятно, войны у нас нет, пролетариата тоже. Они нам объяснили сознательность, что без окончательной войны над белой армией и без пролетариата республика будет в опасности. Пролетариат нам делает промышленность. А Захар Васильевич сказал, что без хлеба и фуражу мы сами будем в опасности. А что до промышленности, то мы ее с царского время в глаза не видели. Мануфактуры нет, косу купить негде, мужики ходят в чунях взамен сапог, а детишки вовсе босые. Тут он покривил правду, мы и раньше ходили в чунях, а сапоги только по праздникам, у кого были.

Ихий главный вытащил ноган и пригрозил Захару Васильевичу, что арестует его за контрреволюцию. Сын Никита обиделся за отца, хоть всегда спокойный, весь задрожал и встал перед ним, на, тогда стреляй и меня. И обозвал его. Главный не стал стрелять, а велел своим двоим схватить Никиту. Они схватили. Тогда не выдержала жена Никиты Татьяна, она горячая очень баба по любому вопросу, и она вцепилась в волосы одному солдату, а другому плюнула в лицо. Солдаты ее оттолкнули, она упала. А была беременная. И ее начало корчить. Что тут началось. Никита схватил винтовку и прикладом ударил солдата. Глав-

ный навел на него ноган, но не успел, Никита в него выстрелил. Он упал. Тут кто-то крикнул, что семь бед один ответ. И все начали их крошить. Кого чем. Кого дрыном, кого камнем, кого шкворнем, а кого просто так, руками. Они некоторые побежали, Никита за ними бежал и стрелял. Смотрю, Сергей Калмыков тоже бежит и стреляет. Всех постреляли.

Я помнил свой удачный прошлый раз и дал совет их всех сжечь. Но не в избе, а в лесу. Будто там пожар. Но им стало жалко жечь лес, у нас его и так считано, загрузили на телегу, повезли к реке. Я тоже поехал с ними.

Мы их утопили. Я советовал привязать камни веревками, чтобы утонули. Но они пожалели веревок, сказали, пусть плывут кверху красным пузом.

Правду говорят, что жадность хуже воровства, на другой день приехали другие и стали обвинять, что мы убили тех. Эти другие сказали, что они Чека. Я раньше про них слышал, но не видел. Такие же люди, но у них полномочия. Мы сказали, что не одно село стоит на реке, спрашивайте других, а мы не виноваты. Они согласились и велели мне, как Представителю, идти по дворам, показывать, у кого что. Я сказал, что ни у кого ничего нет, была засуха и все посохло. Они сказали, тогда окажи пример и выдели излишки. Я сказал, что излишки в заду у мишки, а у меня, наоборот, одни нехватки. Но они пошли по хлевам и клетям, взяли десять пудов муки, сколько-то зерна, яйца, три курицы. Мама в голос кричала, но я сказал терпеть, а то будет хуже.

Потом они пошли по другим дворам и все там почистили, сколько нашли. Никто не оказывал действия, потому что, ну, постреляем и этих, все равно придут другие. И те уж не помилуют.

Я с ними тоже ходил, потому что они меня взяли с собой. Я хоть ничего не говорил про чужое добро,

но все Смирновские видели, что я с ними, и серчали на меня.

Ночью объявился Иван, о котором я уже забыл вспоминать. Он постучал в избу, в окно, и сказал незнакомым голосом, хозяин, выйди побалакать. Я вышел, и меня ударили в голову. Когда очнулся, вижу кругом поле, а передо мной Иван. И еще там были люди. Иван наставил в меня винтовку и сказал, что расстреляет за то, что я помог ограбить его отца и брата и всех других. Я ему сказал, ты, Иван, сукин сын и несправедливый человек. Меня самого ограбили. А я никого не грабил. А ты ушел гулять незнамо где, а я кормлю семью и твоего сына. Его взяла совесть, он сказал, ты хоть однорукий, но грамотный, нам такой нужен. Я сказал, никуда не поеду. Он сказал, а тебя не спрашивают.

Меня повязали и повезли.

Утром привезли в село, где были гражданские, но все с оружием. Иван сказал, что мы называемся партизаны и воюем за народ.

Там был Савочкин. Он привел меня в анбар, где было оружие и припасы, и сказал все переписать. Потому что брали кто что хотел, у одних по две винтовки и пулемет на брата, а у других на двоих одна мосинка.

Я стал все переписывать.

Я сказал Ивану, мы тут веселимся, а там наши семьи без мужиков. У тебя в семье хоть Захар Васильевич и Никита, а у меня вовсе никого. Или я сбегу, или надо послать им что-нибудь. Он сказал, как раз мы едем на народную реквизицию. Давай с нами, тебе тоже достанется.

Мы поехали ночью на реквизицию.

Когда ехали, я спросил Савочкина, что ничего не понимаю. Он объяснил, что Советская Власть стала неправильная, что нужна власть народная. Что он



раньше тоже не понимал, но ему досталась жена, сельская учительша. Умная, не считая, что красивая. Она ему все разложила, как по сусекам. И у него открылось зрение. Но в чем оно открылось, он мне объяснить не успел, мы приехали и стали наступать. Там был отряд, который расселился по домам. Мы покروшили этот отряд. Когда ободняло, я производил учет вооружения у убитых, а потом пошли по домам собирать продукцию питания и фураж для народной войны. Савочкин им говорил, что они тут приютили врагов, поэтому лучше молчите, потому что у нас все находятся в сильной ненависти, у них у многих постреляли родных, поэтому они тоже не задержатся пострелять кого попало в случае сопротивления.

Мы вернулись обратно. Иван нашел человека из нашего села, Ломакина, незаметный всегда был мужик, но старательный, нагрузили ему воз и послали в Смирново. Его по пути встрели, отобрали все и велели идти назад, но он испугался и пошел в Смирново, где всем нашим передал привет от нас. Он там пожил, но от бескормицы испугался еще больше и пришел обратно к нам. Он с повинной все рассказал, что не виноват. Я сговорил Ивана, чтобы отправить меня в Смирново.

Мы опять собрали кой-чего, я поехал в Смирново. Ехал ночью, днем прятался по оврагам. Приехал, все поделил между собой и Захаром Васильевичем. Дарье занес тоже муки, соли, постного масла, две коробки серников и жестяную бадейку с керосином. И Сергею немецкую бритву с лезвием. Дарья заплакала, а Сергей спросил, как и что. Я сказал, что толком не знаю, потому что не знаю.

Мне не хотелось ехать обратно. Мне ночью Ксения сказала, когда мы с ней были на сенике, не езжай никуда, мы тут все без тебя помрем. Я сказал, утро вечера мудренее. Но она мне не давала спать раз-

говорами, я пошел в избу. Там лег к Екатерине, чтобы поспать. Но она начала меня обнимать, а я же не каменный, хотя и после Ксении. Но до этого у меня был фронт без женщин, а я молодой, меня можно понять. И у нас с ней началось. Проснулась мама, пришла и сказала, что ты делаешь, бесстыдник, опомнись. Екатерина ей сказала, мама, это он с Ксенией бесстыдник, а я ему родная жена, и уйдите, дайте мне хоть немного радости в этой жизни.

Я удивился, что Екатерина была всегда тощеватая, а стала, хоть и без хорошего питания, круглее. Будто налилась. Ксения всегда была налитая и мягкая, а Екатерина стала крепче во всех местах. Мне это сильно понравилось, я не знал, как быть.

Утром Ксения смеялась над нами и кричала мне, что я петух на курятнике. Я ее стыдил, Екатерина молчала. А Ксения взяла из печки рогачом горшок и опрокинула на Екатерину, на ее ногу. Что было. Екатерина кричит, больно, Ксения на нее кричит как бешеная, мама плачет, дети орут, конец света. Я сказал, разбирайтесь сами, только не поубивайте друг друга.

У нас оставалось зерно, семена на чтоб посеять, а на еду только что я привез. Получается, или сеять озимые и голодать, или все подесть и опять голодать. А там мы с Иваном за одну ночь запаслись на месяц вперед. Надо вернуться туда и опять разжиться.

Я поехал.

Перед как поехать опять ночевал с женой.

Ехал и думал, что теперь думаю об Екатерине все время. Будто она была одна, а стала другая, и к этой другой я теперь испытываю Любовь. А к Ксении уже не так, хотя тоже.

Я приехал в дислокацию к нашим.

У Савочкина там была жена, которую я увидел. Ольга. А она сказала, смотрите-ка, какой синегла-

зенький, хоть и однорукий. Мне это не понравилось. Зачем так говорить, если муж рядом, хоть он и командир. А она сама была с маузером на ремне, в деревячке\*.

Я прямо устал писать, а уже ночь.

Сейчас закончу.

К зиме нас, партизанов, стало много.

Был там рядом город, мы туда наведались. Там была наша власть, но другие люди. Савочкину надо было туда, он взял Ольгу и отряд. И меня как писаря и помощника.

В городе меня взяли в партию есеров, но без документа, так, на словах. И мы были там в комитете. Но Савочкин о чем-то поссорился с ними, его хотели арестовать. Отряд Савочкина начал стрелять в верх, а потом отошли. Ольга была как бешеная, кричала, что предатели. Потом мы опять туда пришли, но уже ночью. Там они сняли часовых и прошли в комнату. В комнате было много золотых драгоценностей и деньги, какие бумажные, какие царские монеты. Бумажные мы оставили, остальное взяли.

Вернулись назад. Ольга сказала Савочкину, чтобы я ее проводил в Акулиновку, у нее там дом, посмотреть, как и что. Мы поехали. Приехали к ней домой. Большой дом, там до нее жил кто-то богатый, а потом стала жить она. Ночью она пришла ко мне. Я даже ей ничего не успел сказать, она набросилась, как голодная кошка на мыша. Я даже не чувствовал, что грех, потому что она была не как женьщина, а как какая-то бесноватая, так со мной все делала, будто она мужчина, а я женьщина. Я не хочу тут сказать, что мне это было не интересно, но я к ней не относился. Будто мне снится сон, а во сне ты не виноват. Ты не хочешь, а сон снится. И будто не про тебя.

---

\* Видимо, имеется в виду деревянная кобура маузера.

Она меня там держала почти что неделю, а потом прискакал человек, сказал, что Савочкин велел возвращаться. Мы поехали.

Мы приехали туда, а там все порублены и постреляны. Даже спросить некого. Савочкина не было не живого и не мертвого. Ольга начала плакать и ударила меня, что я виноват. Я сказал, ты дура и бешеная.

И уехал. Там была брошенная телега с лошастью, я ее взял и уехал. Нагрузил, что мог, потому что кто помер, тому ничего не надо, а кто живой, ему надо как-то жить.

Я вернулся, и у меня тут трудность. Я в первую ночь ночевал с Ксенией. Я хотел сперва с Екатериной, но Ксения меня подстерегла, потащила на сеник, я с ней остался. Я собрался ночью уйти, а Ксения сказала, если пойдешь к Катьке, я возьму вилы и вас обоих припорю насмерть. Я сказал, чтобы не говорила глупостей. И пригрозил ее самую припороть за такие слова. На мне дети, ты думай, что производишь, дурная баба. Тогда уж и детей убивай, все равно без меня не выжить. Она поняла и просила прощение. Я пошел к Екатерине. У нее на ноге теперь пятно, которое сварила кипятком Ксения. Красное и большое. Но уже не болит, только чешется. Я с ней опять почувствовал Любовь. Даже заплакал.

Я не знаю теперь, что делать.

### *25 декабря 1921 года*

Пишу на Рождество, которое попало на воскресенье. Как я остался живой в этот год, сам не знаю. И буду я живой дальше, тоже не могу сказать.

Год был такой тяжелый, что такого раньше не было.

Я сначала никуда не ехал, работал по хозяйству.

Но меня глодала забота, что весной нечего будет сеять. А озимых летось посеяли мало. И мы останемся на бобах.

У меня были золотые драгоценности. Я их взял и поехал в Акулиновку. Там ходил и потихоньку спрашивал, чтобы сменять на семенную пшеницу. Но никто не хотел или ничего не было, чтобы сменять. Там опять была Советская Власть. Я поехал в Криуново, где, сказали, нет Советской Власть, а пшеница может быть. Но там тоже не было. Я поехал дальше. И тут меня встрели. Смотрю: опять Иван Большой. Он сказал, что он теперь в продотряде. У него мондат и задание. Мы поехали в село, не помню название, там Иван дал приказ провести реквизицию. Я сказал, что они крестьяне, а он сказал, нет, они враги и кулаки.

Там был еще такой Горшков. Совсем сумашедший, хоть и молодой. Созвали людей, и он им кричал речь про контрреволюцию и гибель наших братьев. Он им сказал, что без общего счастья не будет счастья ни у кого. И что там наши братья проливают свою последнюю красную кровь, а вы тут сидите без сознательности.

Меня это проняло. Мы жили каждый по себе, а вместе легче. Это идея. Никто никому покоя не даст, пока один мрет от худобы, а другой лопается от жиру. Значит, когда все станут одинакие, все успокоится. И я даже тоже крикнул, что, мужики, все равно вам не будет житься, пока не будет общего счастья, лучше сдайте все добровольно. Но они сказали, что ничего нет. Горшков стрелял в верх, а потом пошли по дворам. Мы с Иваном уже хорошо знали, где что прячут, и говорили Горшкову. И он с бойцами находил. Но в одном дворе хозяин застрелил нашего бойца. Тогда Горшков застрелил его, взял его винтовку, созвал опять сход и велел сдать оружие в приказном

порядке. И сказал, что, если кто не сдаст, а потом найдут, он того, у кого найдут, расстреляет на месте. Мужики разошлись и скоро понесли оружие. Но Горшков не поверил и пошел проверять. Он нашел у одного пожилого мужика берданку и застрелил его на месте. А в другом месте вырыли из огорода целый пулемет. Но хозяина в доме не было. А Горшков совсем осатанел. Стал, как пьяный, кричать и рвать свою рубаху, что из этого пулемета стреляли его братьев, и где хозяин. Но хозяина не было, была его жена. Она была беременная. Горшков в нее выстрелил, но не попал. Я был рядом, я схватил Горшкова и сказал Ивану, уйми, не то нас всех постреляют сейчас за беременную женщину. Горшков рвался и брызгал в меня слюнями прямо в глаза, но я не пускал.

Тогда Иван взял у Горшкова ноган и попросил его успокоиться. Горшков успокоился, но приказал арестовать беременную женщину и меня. А потом еще кого-то. Всех посадили в анбар. Вечером вывели, и Горшков сказал, что по разверстке надо сдать столько-то, а сдали столько-то. Или сдаете, или я сейчас стреляю каждого пятого. Я осмотрел наш наличный состав арестованных и сказал, что, Горшков, отпусти женщин и детей. Потому что там были еще и дети, и даже старухи. Иван подтвердил мои слова. Горшков согласился, отпустили двух беременных, двух старух и десяток детей. Остались взрослое население и я. Я начал за себя тоже просить, что я свой, но Горшков закричал, что меня расстреляет вне очереди. Но не стал стрелять, а стрелял каждого пятого. Я думал, что пришла моя смерть.

Но тут крикнули, что на село едет какой-то отряд. А был уже вечер. Горшков дал приказ, чтоб обоз выступил. А не расстрелянное население взять в залог. И меня туда же. Мы выдвинулись, подъехали к лесу, но тут слышим, скачет конница. У нас развернулись

два пулемета, начали стрелять для испуга. Оттуда крикнули, что будут переговоры. Прискакали три человека, сказали Горшкову, чтобы он отдал обоз, тогда останется живой. Горшков сказал, если будете наступать, постреляю заложников. Они сказали, нам все равно, они не наши.

Я сказал Ивану, Иван, ты видишь, что это ситуация? Сейчас пойдет такой кругозор, что никто не останется живой. Иван согласился, мы потихоньку пошли на перед обоза, взяли там по телеге с мешками с пшеницей и поехали. И уехали, а там началась стрельба. Чем кончилось, неизвестно.

Мы приехали, и нам все обрадовались. Мы смолотили немного муки, но больше я не дал, потому что чем тогда сеять. Кое-как перебивались. Смирновым Большовым было легче, но они с нами не делились, самим мало.

В марте приехала Елизавета, чуть живая и на сносях. Игнат ее бросил. Она приехала с нашим смирновским, тот ее привез на телеге за Христа ради. Иван пришел к нам и хотел ее наказать, я его остудил, что она больная. Но теперь бери ее к себе в семью. И Михаила, он твой сын. Иван сказал, что сына взять согласен, а чужого ребенка ему не надо, пусть она вам сюда его рождает. И взял Михаила, а Елизавету оставил. Она родила ребеночка, но тот недолго жил, у Елизаветы молока почти что не было, а чем еще кормить. От коровы нам самим не хватало. Но мы давали все-таки ребеночку, но он все равно помер.

Потом я болел. Что такое, не знаю, а только спал на ходу и не было сил. Все мне стало не интересно. Не спал с Екатериной, в смысле, как муж с женой, хотя и спал с ней. С Ксенией тоже не спал. Мне с них даже было противно с обоих. И со всего на свете. Софрониха меня смотрела в глаза и в рот, щупала мне ребра,

потом велела развести золу в воде и смотрела, как она там образуется. Что-то увидела и сказала париться, а в каменку брызнуть чего-то, что она мне дала. Дала бутылку с чем-то, я пошел париться, обдал каменку, меня заволокло вонючим духом, но я терпел. Но не выздоровел.

Сейчас думаю, хорошо бы, если бы я помер. Я тогда бесперечь спал, вот бы и помер во сне не больно и не заметно. Но выжил и даже оздоровел, потому что пришла пора сеять. А когда сеять, хоть ты живой, хоть мертвый, ползи на пашню. Но мы отсеялись. Если б знали, что будет, лучше бы подъели все, потому что потом выяснилось, что никакого толка.

Что потом было, на это у меня нет человеческих слов.

Какую сажали овощ, всю подъели еще не вызревшую. Пойдешь на огород, а там соседские дети копают картошки. Те картошки, как овечий горох, мелкие. Шугнешь их, а то кинешь палкой, убегут. А там уже половины нет. Я не мог стеречь ее. Пришлось выкопать и покушать всей семьей. Так же со всем остальным.

К осени, вследствие ни капли дождя, урожай был едва на будущее семя. Но надо как-то жить, учитывая детей. Но я хотел сберечь семя, мама меня в этом одобряла. Но Екатерина и Ксения спелись и сказали мне, что пока мы дождемся нового урожая, мы все помрем. А так хоть будем пока сыты. Я сказал, что сейчас будете сыты, а потом протянете ноги. Они сказали, что и так и так помирать, так хоть сейчас покушать. Я с ними спорил и не давал.

Но тут стали хворать поносом дети. Я помаленьку начал давать пшеницу. Мама сказала ее не молоть, чтобы не пропала шулуха, а промыть, парить, а потом варить. Так и делали.

Ходили также в лес, собирали там грибы, ягоды. А осенью пошли и листья. Мама сушила листья липы



и толкла, смешивала с шулухой и пекла лепешки. Я спросил, откуда ты это знаешь. Она сказала, что не впервой, у нас голод не диковинка. Хотя в моей памяти такого не было. Было голоднонато, но все-таки не так, чтобы толочь листья на еду.

Ловили, конечно, рыбу, но у нас мало умельцев. У нас рыба не считалась серьезной пищей, а в виде баловства. А теперь ловили как могли. Но у нас в реке ее мало. Есть раки и перловки\*, мы их тоже ловили и собирали, особенно дети. Мама их ругала, что едят перловки, и не велела. Я ее не понимал, а потом понял, когда нас начало этими перловками тошнить. Болели животами, но обошлось, кроме нашего маленького Семена, который кричал три дня и помер.

Екатерина и Ксения говорили мне, что ты Представитель и езжай в Акулиновку, пусть они тебе помогут. Я поехал. Акулиновка, хоть всегда была больше и богаче, оказалась в плачущем состоянии. Там всегда то войска, то еще кто, а мы на отшибе. А у них побрали все, ничего не оставили. Даже стало неизвестно, какая власть. Я спросил у старого человека, кто здесь, а он сказал, что никого нет, кроме людей.

Еще там были откуда-то пришлые голодные. Они пришли, чтобы найти пищу, а тут ее тоже нет, а дальше они идти не могли и помирали. Мне рассказали, что их подбирали лежачих, но еще недоумерших, и ели. Я не буду врать, я сам этого не видел. Но я видел, как они помирают, а чтобы совсем мертвых, я не видел. Сам собой возникает вопрос, куда они деваются.

Я вернулся пустой, только по дороге нашел литовку без ручки. Нужная вещь, а кто-то бросил. Я ее взял и радовался, а потом смотрю на нее и плачу, зачем ты мне, если косить нечего.

---

\* Имеются в виду речные ракушки.

К теперешней поре, к Рождеству, у нас получился результат. Еле живы, и чем будем жить, непонятно. Екатерина и Ксения совсем осатанели и требуют от меня неизвестно чего, что я должен кормить детей. Я им сказал, что берите все, что есть, а у меня грудей нету, чем я вам должен их кормить. Они сказали на Сергея Калмыкова, что он где-то достает. Калмыков куда-то уезжает, а потом приезжает. Что привозит, никто не знает, он поставил высокий забор, каких у нас не ставят. Я стукнулся один раз, но Дарья меня шугнула, что нечего ходить, у меня самой двое детей и глодаем одну корку на всю семью. Я сказал, богато живешь, сестрица, если у вас корки есть, а у нас коркам не с чего образовываться, хлеба уже давно не видим. Она в ответ промолчала.

Иван Большой опять куда-то пропал. Им тоже немного лучше нашего.

Мне очень нехорошо в душе. Мы все стали хмурые. Дети отощали, и друг за другом смотрят, кто куда пошел. Думают, что там пища. По теплу ходили и рыли корешки. Я и сам не чуждался. Хороший корень, к примеру, у лопуха, сытный, я его маленьким ел и без голода, а для детского интереса. Теперь все пошло в ход.

На меня перед Рождеством опять напала равнодушия. Лежу на сеннике и ничего мне не надо. Но мама приносила мне лепешки из чего-то. Горячие. Их горячими можно есть, а когда остынут, то как камень, не угрызешь, убить ими можно. Я говорю, мама, из чего эти лепешки. Она говорит, что грех спрашивать, ешь и молчи. Всех накормила, и ты тоже ешь. Но тут пришла Ксения и увидела, что я ем, и как закричит, что я тут жирую, а у детей животы к хребту прилипли, а у нее женские не приходят второй месяц. Не стыдно ей было кричать такие вещи. Мама ей сказала, что детей жалко, если помрут, но если пом-

рет Николай, то он у нас один мужик, тогда помрут все. Так они кричали, а я не знал, что мама только мне пекла эти лепешки. Она их пекла где-то, а не дома, чтобы не видели. Я пошел и понес детям. Схватили, чуть руку не оторвали. Я смотрю и думаю, нам пришел конец.

Но потом подумал, что, если Бог меня не убил раньше, хотя мог не однократно, то, может, и теперь помирует. Сколько раз я ложился на ночь и думал, что ночью помру, но не помирал. А утром лежишь и думаешь, что уже не встанешь, но помаленьку, смотришь, встал и пошел. Я стал даже веселый, что у меня такие мысли. Достал бумагу, развел чернило, и вот уже какой день пишу. У меня в начале значится 25, а уже 29 на дворе, у меня чисельник на это указывает. Он старый, за 1913 год, отец привозил с ярмарки, с тех пор и пользуемся. Листы не отрываем, а переворачиваем. Год кончится, начинаем наново.

И вот я пишу и заканчиваю. И мне приятно, что сохранил свою традицию. Но что будет на другой год, я не знаю. Может, писать будет некому. Там посмотрим.

### *Записи без даты\**

Смирнов Семен Николаевич, Царство Небесное, 1920–1922. 17 Февраля. От живота.

Смирнова Анна Федоровна, Царство Небесное. На Пасху. 1865–1922. Или 1864. Или, наоборот, 1866. Узнать в Церкви.

---

\* Судя по почерку и цвету чернил, записи сделаны не за один раз. Последняя совсем блеклая, еле читается; наверное, чернила были разведены водой.

Смирнова Большая по мужу Елизавета Тимофеевна. Царство Небесное. 1900–1922.

Смирнов Петр Николаевич, Царство Небесное. 1919–1922.

Смирнова Мария Николаевна, Царство Небесное. 1919–1922.

Смирнова Каплюжная Ксения Васильевна, неизвестно–1922. Царство Небесное.

Смирнова Екатерина Захаровна. 1897–1922. Царство Небесное.

Смирнов Николай Тимофеевич. 1894–1922. Царство Небесное.

### *29 декабря 1923 года*

Я почти что полтора года не смотрел эту тетрадь. Сейчас смотрю, плачу и рыдаю. Получилась тут целая кладбища. Себя тоже записал. Думал, умру, а записать будет некому, вот и записал. А остался живой.

Когда у меня все померли, пришел Калмыков Сергей и сказал, что дурак ты дурак, забей корову, проживешь. У меня от всего хозяйства оставалась корова. Я, было дело, хотел ее забить, но мама тогда была живая, она встала на коленях и кричала, что лучше убить ее, чем корову. Что без коровы всем смерть, придет весна пахать, а пахать не на чем. И молоко у ней было, хоть мало. Так она и осталась. Во многих дворах у нас так было. Мелкий животный скот подъели вчистую, а также собак и кошек. Ели кое-кто даже глину, у нас глина белая, как мука, если ее сухую растереть. На нее так и пробивает аппетит у голодного человека. А крупный рогатый скот не трогали до крайнего случая. Чтобы сеять, хотя сеять было нечего. Вот и мы тоже помирали, а на корову даже не думали, будто она и не еда. А потом я еле волок ноги и уже не хотел есть и ни-

чего совсем не хотел. И вот Калмыков говорит, что забей корову. Я сказал, Сергей, я ее не могу забить, у меня не осталось сил. Тогда я забью. Половину мне за работу, половину тебе. Я сказал, что мясу не могу есть, возьми ее всю, а мне дай пшена. Он дал мне пшена, и я ел помаленьку. Много нельзя, помрешь от быстрой сытости.

Потом я пошел в Акулиновку. То иду, то лежу. Был случай, что надо мной оказался Иван Большой на коне. Спросил, чего лежишь. А я на него обиженный и стал его ругать. Но он тоже стал меня ругать и сказал, подыхай. Но у меня был мешочек с пшеном, я потихоньку ел и шел.

Я пришел в Акулиновку, а туда вернулась откуда-то Ольга с младенцем. Мальчик, звать Владимир. Она сказала, что младенец моих кровей, что Савочкин окончательно погиб, а она чуть не померла вместе с ребенком, а теперь едет к родителям в город Покровск. Что там теперь столица немецкой трудкомунны. Оттуда к ней приезжал свояк, муж сестры, привез продукты и просьбу родителей, чтобы вернулась.

Мы поехали в Покровск. Тут я узнал и удивился, что Ольга из немцев. Выучилась на русскую учительшу, но сама из настоящих немцев. И зовут ее чудно — Олка, но она переименовалась сама в Ольгу. А сестра — Имма. Ее отец и мама говорили двояко, по-немецки и по-русски. Отец Берн Адамович и мама Мария Фридриховна. Фамилия Штильман. Берн Адамович, когда узнал мою фамилию Смирнов, смеялся, что мы однофамильцы, потому что он тоже Смирнов, но по-немецки.

Они нас приняли, но потом Ольга сказала, что мы не можем жить вместе с ними. Она и вправду то и дело ругалась с отцом, что она хочет своей жизни и свободы, а он запрещает. Берн Адамович тоже кричал. А мать им говорила, чтобы хватит, но они не слушали.

Нам сняли две комнаты в доме со своим двором.

Я подкормился, и Берн Адамович взял меня работать.

Его как раз поставили начальством на станции Покровск. Там грузят вагоны до станции Анисовка, а от туда идет паром на другую сторону Волги, к Саратову.

Там склады и пагаузы.

Он назначил меня на холодильный пагауз с подвалом. Я пошел туда, а там нет ключей. Сказали, что был заведывающий Куприянов, ключи у него. Я послал искать Куприянова. Пошли искать, пришли и сказали, что он умер почти что неделю назад. Но принесли ключи. Я открыл пагауз, а там горы курей, уток и гусей, все тухлое, воняет, нельзя войти. Это собрали продрозверсткой, но еще не вывезли. Вот оно и стухло. Приехал с обозом Горшков, я его узнал, а он меня нет. Я сильно исхудал с голоду. Он кричал, ты сгнил мне все мясо для трудящихся и пролетариата, тебе будет Трибунал. Я сказал, что сам тут только что, но он ничего не слушал. Пришел Берн Адамович и тоже ему все объяснял. Горшков согласился, что это текущий момент, взял обоз и поехал обратно на продрозверстку. А мы два дня вычищали пагауз. Отвезли на могильник, свалили. Приехали вторым разом, ничего нет, все растащили. Тогда закопали, что привезли. Приехали, все раскопано, опять все растащили. Тогда поставили часового. И опять закопали. Приехали еще раз, опять все раскопано и растащили, а часовой лежит избитый. У него отняли винтовку, а стрелять в людей он побоялся, совсем молодой. Его отдали под Трибунал.

Так мы жили всю осень и всю зиму. Ольга опять пошла учительницей в школу. Еще она устроила театр спектаклей. Они играли представления по теме Революции. Я не видел, мне было некогда, то работал, то сидел с Вовой. Там был у них кто-то, она про него рас-

сказывала, что зовут Шлёма и очень художественный человек. Что он ее считает, что она актриса, и зовет в Москву. И она все с этого смеялась. Я думал, что шутка.

Но она уехала в Москву. Я хотел нанять Вове няню, но его пришли и взяли Штильманы. У них Имма с двоими детьми, где два, там третий. И Мария Фридриховна помогала, спасибо.

А мне дали ордер на жилье в каменном доме с отдельной дверью. Одна комната больше, чем была вся наша изба. Вот тут мы теперь и живем. Мне дали эту комнату от депо мастерских. Меня перевели туда с пагузов на учет ремонта состава. Депо большое, и не было Секретаря большевицкой ячейки. Мне сказали, ты был красноармеец и передовой товарищ, становись секретарем. Спросили, ты же в партии? Я сказал, что да, потому что сначала не понял, а я был в партии есеров, хоть без документов. Они спросили про партию, я говорю, что да. Вышла недоразумения. Я сказал, что у меня на фронтах войны пропали документы. Мне выписали новые, спросили, с какого года сташ, я сказал не помню, они сказали, напишем с 17-го, нам не жалко. И я получился старый большевик.

Я стал Секретарем ячейки депо. Но работаю по делу учета. У меня кабинет со стеклом. Сижу там, весь всем видный, хотя не очень видать, стекло быстро грязнится, а мыть некогда.

На День рождение Вовы я был у Штильманов, чтобы спраздновать. Там была сестра мужа Иммы, тоже немка, назвалась Валя. На самом деле вот я сейчас взял ее личное удостоверение, чтобы правильно списать, правильное имя Вальтрауд. Вальтрауд Генриховна Смирнова (по родителям Кессених). Она теперь Смирнова, потому что мы с ней в ноябре зарегистрировались.

Это вышло благодаря моей заслуги, что я себя показал вежливо и почти что культурно. Мы сели рядом, стали кушать. Я помнил науку Мухортнева Ильи Рома-

новича, Царство ему Небесное, что, к примеру, кусок мяса не надо обгрызать с кости, как собака, а обрезать. Я попросил Валю мне обрезать, будто мне из-за одной руки трудно. Она порезала, и я стал вежливо кушать. Ей понравилось. Я ей говорил про задачи и Революцию, она мне тоже, потому что была комсомол. Говорила про Германскую Революцию. Я удивился, что там была Революция, они же империалисты. Она объяснила, что не все, а тоже есть пролетариат. Мы поздравляли Вову, а она его брала на руки. Я вспомнил Екатерину и Ксению, про которых давно не вспоминал, про наших с ними детей, стало их жаль, что умерли, и заплакал. Валя смотрит на меня и тоже плачет, что я плачу.

С этого у нас и пошло, что стали встречаться. Ольги все равно нет и неизвестно, да я с ней и не зарегистрированный, а тут такое дело. Валя мне объясняла разные книги, которые я раньше не понимал. Оно и сейчас не совсем понятно, но уже лучше. Уже я понимаю про эксплуатацию, что когда один богатый, а другой под ним, то это неправильно. И классовая борьба. И что, если общее добро, то никто никому не рвет горло. Потому что не за что.

Один раз вечером она мне про это говорила, когда зашла ко мне и мы разговаривали. Она вся стала румяная и красивая. Она волновалась из-за идеи, а я волновался из-за нее. У меня не хватило терпения, я схватил ее за руки и что-то сказал. Она сказала, что, хоть в комсомоле говорят про свободу половой жизни, и ее даже секретарь за это упрекал, что она ему не отдается, но она уважает своих родителей, а они хоть тоже за свободу и половую жизнь, но через замуж.

Мы познакомились с ее родителями. Им не понравилось, что у меня нет руки, мама ее вся испугалась и стала бледная. Но помаленьку сговорились за счет моей культурной вежливости. И благословили, и мы зарегистрировались.



Взяли Вову, она с ним относится, как с родным.

Она уважает, что я пишу, просит почитать, но мне совестно. Говорю, что тут личные события моей жизни, как-нибудь потом. А то будет с меня смеяться, хотя мне и нравится, что она все время смеется. У нее белые зубы, приятно смотреть. А у меня дыра во рту без трех зубов еще с Германского фронта. Она смеялась, что меня смешно целовать, что у ней язык мне в зубы проваливается. Как она целует, это особая история. А ведь никто не учил, я ее девушкой взял. Никто так не умел, как она. Мне раньше было все равно, сколько зубов, лишь бы жевать. А тут стало как-то неудобно. Пошел и поставил железные зубы. Теперь хорошо.

*7 января 1925 года.*

Прошлый год начался тяжело, схоронили Ленина. И болел Вова. Но выздоровел. Потом еще два раза болел в году, но уже не так. А первый раз боялись, что помрет, не спали по очереди. Но обошлось, слава богу.

У нас открыли рабфак, там я учусь, когда есть время, а Валя там учительница.

В семье Штильманов тоже все женщины учительницы. И Ольга была тоже учительница, которая где-то в Москве. И Имма работает в школе. И Мария Фридриховна учит дома музыке.

А я учусь на рабфаке. Меня учит собственная жена, нам это смешно, но весело.

У нас уже год как Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья. Хотя немцы в Покровске не все. Их даже мало. Больше русские. А еще хохлы, татары, евреи. Много разных. Но Председатели ЦИКА и Совнаркома немцы. Шваб и Курц.

С Швабом Иваном Федоровичем, который на самом деле Иоган Фридрихович, но переименовался для простоты, мы познакомились через то, что он в родственниках у родителей Вали. Интересный человек. В 20-м году его арестовала ЧК за плохую работу, что он защищал крестьян, но освободили и сделали самого начальником областного ЧК. А теперь вот Председатель ЦИКА. Он сам из крестьян, но много учился. Он мне сказал, что у тебя, Николай, хорошая голова, учись, далеко пойдешь.

Мне тяжело, но нравится.

Я оказался по категории малограмотный, но лучше всех пишу. И даже помогаю, кто плохо пишет, у меня спрашивают и уважают.

Я учу еще устройства паровозов. Сначала ничего не понимал, где там шпинтон, а где золотник, что я сейчас, конечно, шучу, потому что знаю, а сначала ничего не разбирал, даже болела голова от сложности. Теперь все знаю и даже удивляюсь, если кто не знает.

Мы с Валею, хоть она мне жена, много говорим на тему окружающей жизни. Я иной раз вспомню про жизнь крестьян, что она тяжелая. И что жаль погубленной прошлой семьи. Она это принимает с сочувствием, но говорит, что какая у тебя была будущая? Пахал и сеял, пахал и сеял, вот и вся будущая. И дети бы стали пахать и сеять без горизонта лучшей жизни. Два года урожай, третий недород, глодаете корки вне зависимо от хоть Революции, хоть не Революции. И это правда, но я все ж таки спорил, не чтобы ее заспорить, а мне нравилось, как она волнуется до приятной красноты на лице. У меня начиналась сразу такая любовь, что стыдно было перед Екатериной и Ксенией, как перед живыми, хоть они давно мертвые.

Грех жаловаться, хорошо живем. Даже писать об этом много не хочу, чтобы не сглазить. Когда все хорошо, то боишься спугнуть словами. Это как нам ба-

тюшка говорил раньше в Церкви про бога, что не упоминай его всуе, то есть зря. Не допекай. Вот я и не хочу допечь свое Счастье, чтобы оно не осерчалось и не отвернулось.

Еще мне дали ударный коммунистический паек к рождеству. Это я не хвастаюсь, а в качестве приятного внимания за мою работу. В том числе утка, сейчас моя Валя ее жарит и меня ждет к столу, а я пишу, а она на меня смотрит так, что я будто умываюсь горячей водой с головы до ног. И Вова ходит под ногами веселый и здоровый, что-то говорит себе детское. У Вали пока не получается зарождения ребенка, но врач сказал, что так бывает, подождите. Мы ждем, ничего, когда людям хорошо жить, они ждать согласны.

*1925 год\**

### Рассвет

Земля моя, встречай рассвет  
Навстречу новой жизни!  
Мы с ней увидим новый свет  
В своей большой Отчизне.

---

\* За этот год нет записей, только стихи. Н.Т. Смирнов, скорее всего, сочинил их порывом, в течение короткого срока. Показал их жене — судя по тому, что некоторые слова подчеркнуты красными учительскими чернилами, исправлены также ошибки. Но эти подчеркивания и исправления — только в первых трех стихотворениях, далее все оставлено в первоизданном виде. Как оценила Валентина-Вальтрауд Смирнова-Кессених стихи мужа, неизвестно, но больше Николай Тимофеевич стихов никогда не писал. Однако и записей в этом году не сделал. Возможно, считал сказанное стихами достаточным.

Мы дети тех, кто век страдал  
От тягот и неволи.  
Но мы убили капитал  
В лесу и чистом поле.

И даже если ночь уже,  
И тьма глядит в оконце,  
Но свет всегда в моей душе,  
Независимо от солнца.

### Колеса. Для Вовы

Вот колеса у тебя,  
На твоей игрушке.  
Там работа есть моя,  
В этой детской штучке.

Ты пыхтишь, как паровоз,  
Едешь с ним по полу.  
Ты быстрее его колес,  
Но пойдешь ты в школу.

Там все сбудутся мечты,  
Скоро станешь взрослым.  
И тогда освоишь ты  
Настоящие колеса.

И поедешь по стране,  
Славен каждым делом.  
С благодарностью и мне,  
Что игрушку сделал.

### Валя

Ты женщина моих суровых грёз,  
Моей судьбы и моего страдания.  
Мечту я о тебе сквозь фронт пронес,  
Хотя еще не знал твоего создання.

Не знал тогда, что ты на свете есть,  
А то бы приготовился ко встрече,  
Но кончился мой страшный темный лес,  
И вышла ты, любимая, навстречу.

Я ничего на свете не боюсь,  
Кроме того, что ты меня оставишь.  
Боюсь, что я твой непосильный груз,  
Что рядом ты со мной свою жизнь травишь.

Что сделать мне тебе, только скажи,  
Я все сумею от земли до моря.  
Лишь ты б была всегда со мной вблизи,  
Не зная ни печали и ни горя.

### Осока

Острая осока  
Режет сердце мне.  
Месяц одиноко  
Светится в окне.

На душе ненастье,  
На душе печаль.  
И чего-то счастлив,  
И чего-то жаль.

Вспомнил я осоку  
В детстве у реки.  
Бегали мы колко,  
Были босяки.

Даже и не евши,  
Но зато всегда  
Были взвеселевши  
Просто без труда.

Ничего не надо  
Детской голытьбы.  
Жизнь как награду  
Понимали мы.

### **Береза**

Стоит береза белая,  
Но черные на ней  
Есть пятна задубелые,  
Самой земли черней.

О чем грустишь, березынька,  
Зачем чернеть местами?  
Будь белой вся, как зоренька,  
Она в ответ словами

Мне говорит, что рада бы  
Быть белой без примес,  
Но слишком много горя  
Принес окрестный лес.

И хоть мне жить приятно,  
и вся тянуса ввысь,  
Но пусть мне эти пятна  
Напоминают жизнь.

### **Назад-вперед**

Вовсю работают поршня,  
Назад-вперед вращая силу.  
Они возвращаются назад,  
Чтобы вперед всё запустило.

И ты бери с них свой пример,  
Не бойся ты назад отхода.  
И если вовремя примешь мер,  
Тогда дождешься ты вперёда.

### **Батюшка и матушка. Светлой их памяти**

Эх, батюшка, эх, матушка, хоть жалко вас до тла,  
Но с вами жизнь по правде была мне тяжела.  
Я слышал, что работай, с моих молодых ногтей,  
А ласку видел редко среди других детей.

Я вас не виновачу, вы сами от отцов  
Не получали ласки во веки всех веков.  
И дети все имели сноровку для труда,  
Но в остальном повадка у них была груба.

Но я за вас отвечу сторицей и вполне,  
Я всех детей привечу, что бог пошлет ко мне.  
Я всех их обнимаю, им ласку говорю,  
Чтоб жизнь они любили, как я ее люблю.

### **Горизонт**

Жалко, кто горизонта не видит.  
И, как канарейка, щебечет впустую.

А кто-то закрылся в своей обиде  
И не хочет видеть долю другую.

Я ему говорю: вот твой горизонт,  
Поверни, если не веришь, глаза.  
Но он куда-то в сторону бредет,  
Будто нарочно ослеп навсегда.

А я, хоть давно лишился руки,  
Но мои товарищи — мои руки.  
И если неба не видно, дойду до реки,  
А не буду в комнате помирать от скуки.

Ты радуешься, что живешь одинок,  
А время, как снег, тает.  
И если ты не знаешь, где горизонт,  
Спроси у того, кто знает.

### **На мою смерть**

Когда умру, не надо мне  
Оркестра и наград.  
И вслед за мной по всей Земле  
Устраивать парад.

Я все равно один умру  
И не услышу вас.  
Но может, кто-то вдруг меня  
В последний спросит раз.

Чего хотел бы, Николай,  
Когда бы если вдруг  
Ты оживел на краткий миг,  
Скажи и пожелай?



И я скажу вам в тишине  
В последний этот час,  
Что ничего не надо мне,  
Кроме любимых глаз.

Когда увижу, что она  
И без меня счастлива,  
Тогда спокойно я со дна  
Вздохну своей могилы.

Но напоследок тихо я  
Скажу ей также твердо,  
Что буду вечно я тебя  
Любить, живой и мертвый.

*23 мая 1926 года*

Ich ging in sein Notizbuch zurück\*.

Вова у нас говорит сразу на двух языках, перенимая у Вали, мне это нравится.

Валя со мной тоже с самого начала иногда говорила по-немецки, но сперва в шутку, все равно я не понимал. А один раз сказала: «Коля, бринген вассер, битте»\*\*, а я взял ведро и принес. Она обрадовалась: «Ты понял?» А я даже не заметил, что она по-немецки. Услышал про воду, да и пошел.

И Валя стала меня учить, хотя мы еще не знали, что это сыграет роль и возникнут события, из-за которых я нарушаю традицию и пишу не в конце года, а сейчас.

Мы были в гостях у дяди Вали, Альфреда Петровича Кессениха, который был партийный агитатор. Он

---

\* Я вернулся к своей тетради (нем.).

\*\* Принеси воды, пожалуйста.

смотрел на мою отсутствующую руку и спрашивал про меня подробности, как я и что. Я рассказал. Он сказал, что весной у меня будет командировка. Я ему сказал, что никак, я секретарь ячейки, да еще рабфак, да учу паровозы. Но он сказал, что командировка не навсегда и по важному делу.

И в апреле мы поехали, перед севом. Он мне по дороге сказал, что будем вести агитацию за коммуны и колхозы. А также сдача излишков. Народ немRESPублики это принимает тяжело. Он не любит свое начальство, потому что в гражданскую оно над ним напустилось от всей души. Я удивился, что немцы мордовали немцев. Русские понятно, мы с этим живем всегда, нас много и нам друг друга не жалко, а если взять других, которых меньше и живут кучно, они, я заметил, друг за друга стоят крепко. Татары, евреи или хохлы, которые были у нас в Киевке.

Он сказал, что революция упразднила нацию как класс. Был у него приятель Шафлер или Шуфлер, я не запомнил, а переспрашивать постеснялся. Этот Шафлер, хоть и немец, к своим был чистый зверь, еще в далеком 17-м году, как услышал про Октябрьский переворот, организовал красногвардейскую банду и оружием подавлял контрреволюцию даже до того, как она возникла\*.

---

\* Имеется в виду Генрих Генрихович Шауфлер (1894–?), военный комиссар Трудовой коммуны Области немцев Поволжья, один из создателей немецких воинских формирований в составе Красной армии; отличался крайней жестокостью при подавлении крестьянских восстаний и проведении продразверстки. В 1920-м был переведен в Москву в соответствии с решением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 4 октября 1920 г. о плановой переброске партийных кадров. Так партия уберегала своих самых верных сынов от нарастающего народного гнева. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Приехали в Варенбург и вели пропаганду. Для этого народ собрали перед церковью. Альфред Петрович показывал на меня и на мою руку и говорил, что я тоже крестьянин, но воевал за революцию и имею правильное понятие об общей жизни. Он говорил по-русски и по-немецки. Потом попросил меня сказать, я тоже говорил. Немного даже по-немецки. Люди слушали и хоть молчали, но соглашались. Альфред Петрович был довольный, он говорил мне, что я наглядная агитация.

Мы потом зашли в церковь. Я удивился, что она внутри голая, только скамейки, а впереди крест с Христом. Но красиво, чисто. И там у них музыка с трубами, я понажимал там палочки, звучит очень великолепно\*. Я раньше толком не знал, что христиане бывают разные. Думал, что православные — это настоящие христиане, а другие нехристи. Альфред Петрович объяснил, что есть много разных христиан. И каждые из них считают тоже себя настоящими, а других нехристями.

Мы с ним еще разговаривали, когда ехали дальше. Я увидел в Варенбурге много домов, которые меня до обиды удивили. Обида была потому, что наши избы, не говоря про дворы, много хуже и неприглядней. А у немцев дома добротные и стоят на высокой каменной кладке, получается, как два этажа, заборы ровные, повдоль улиц канавки для воды и даже дорожки из досок, как в городе. И ведь тут у них тоже бывают

---

\* История этой лютеранской церкви примечательна и печально типична. Построенная в 1905–1907 гг. на общинные средства, в 1932 г. она превратилась в клуб. Надпись над алтарем “Ehre Gott in der Höhe” (Слава Богу в Небесах) сменилась на “Die Bühne ist der Spiegel des Lebens” (Сцена — зеркало жизни). В 1939 г. здание было закрыто, в 1943-м там устроили МТС, где работали заключенные из только что устроенной в селе тюрьмы.

и засухи, и голод их тоже не обошел. От чего такая разница? Я спросил об этом у Альфреда Петровича, тот сказал, что вы долго были крепостные, а местные немцы никогда крепостными не были. У вас любой мог все отнять, а у них было отнять труднее, хотя тоже можно, что подтвердила революция. Они передавали имущество и деньги по наследству, а вы после себя не оставляете ни имущества, ни денег. У них какую вещь ни возьми, что ложку, что прялку, что кружавчик на камоде, всему по сто лет, а у вас и ложки-то деревянные, поел и бросил. Даже и поговорка про это говорит, что кашу слопал, чашку об пол. Не говоря про кружавчики, да и камодов вы не видали, кроме сундуков. Но он после этого оправдал русских. Он сказал, что вы зато понимаете глубину существования, что оно на земле временное. Что голым человек приходит и голым уходит.

Я сказал, что да, нам даже поп в церкви объяснял, а я запомнил, что мы все тут временные, поэтому не гонитесь за сокровищами на земле. Поэтому мы и строимся абы как и не любим вокруг себя наводить красоту. Все равно сгинет. Но будем рассуждать. Я временный, мой отец был временный, дети тоже будут временные. Но сама-то Русь стоит уже тысячу лет, она же не временная. Почему бы нам тоже хоть что-то не оставлять в наследство? Да и сам я, пусть временный, хочу и для себя маленько пожить. В меру совести, конечно. И в своем, желательном, доме.

Альфред Петрович смеялся и хвалил меня, но сказал, что главное наследство дух, а не дом или имущество.

Я сказал, что если дома не будет, то и духу уютиться негде.

Он опять смеялся, но сказал, что строить надо не дом, а социализм. И там всем будет общее наследство,

которое уж никто не отнимет. Будут и дома, и дух. У одного отнять легко, а у всех сразу невозможно. Я согласился.

Мы еще, это я пишу, чтобы не забыть важные вопросы, говорили про крестьян и пролетариат. Я сказал, что понимаю, что пролетариат есть локомотив истории, но меня тревожит сомнение. Если всмотреться, промышленность сравнительно сельского хозяйства чистые пустяки, когда берешь в рассмотрение не что производят, а в смысле человеческой трудности. Я вот тоже почти пролетарий теперь, но мне настолько легче жить, что нет никакого сравнения. За что же пролетариям такие почести?

Альфред Петрович объяснил, что пролетарии немущие, кроме собственных цепей, а крестьяне имели землю и скот. И инстинкты. Я это слово читал и раньше и выучил, что оно плохое и означает свою шкуру ближе к телу.

Но я ему в ответ объяснял, что земля бывает хоть брось, и скот чахлый, но главное дело, пролетарий работает под крышей, а крестьянин под голым небом. Пролетарий поработал и пошел домой хлебать щи на заработанные деньги, а у крестьянина работа не кончается даже во сне, потому что он и во сне думает про погоду. Это чистая правда, мне в засуху каждую ночь снился дождь. Будто он льет на поля и на меня, я радуюсь, а потом смотрю, все залило и стало еще хуже. И я будто под водой кошу пшеницу, чтобы ее успеть убрать, а сам удивляюсь, как же я тут, под водой, дышу? И еще сказал Альфреду Петровичу, что земли теперь крестьянин не имеет, владение на нее отменили. Теперь ее дают на время, а если на время, я из нее все выжму и попрошу другую.

Альфред Петрович объяснил, что у крестьянина психология. Я про это тоже читал, тоже плохое сло-

во. Он сказал, что на своем клочке крестьянин ковыряется со своей клячей, негде развернуться, а вот пусть тракторы, они одним махом все запашут и засеют. А потом поделят каждому по труду.

Я согласился, но сказал, что вот в Варенбурге лопнула у нашей брички шина на колесе сразу в двух местах, склепать не смогли, ждать, когда новой шиной обтянут, Альфред Петрович не захотел, нам поставили новое колесо, а старое мы бросили. Это я рассказал к тому, чтобы сказать, что разве хозяин бросит старое колесо, да еще с шиной, хоть и лопнутой? Она же из железа, а железа в хозяйстве дорог каждый кусок. А мы бросили, бричка не наша, казенная, нам ее не жалко.

Альфред Петрович тут совсем рассмеялся и сказал, что я его победил. Но сказал, что в этом главная соль. Задача новой жизни как раз в том, чтобы переделать человека, чтобы он общее чувствовал как свое. Пока в этом есть отставание, потому что мозги труднее переделать, чем любой сложный механизм. И сказал, что он сам еще отсталый, но возьмет в пример мои слова и на обратном пути захватит колесо, чтобы сдать его в госконюшню для починки.

Мы приехали в Лауб\*.

---

\* Я вздрогнул, увидев это название: ведь я родился в селе Чкаловское, а это и есть Лауб (другие названия: Вейденфельд, Тарлык). Я жил там всего несколько месяцев, потом увезли родители, и всегда меня тянуло посмотреть на это место. И однажды, в начале 2000-х, выбрался из опустылевшей Москвы, поехал. Увидел бескрайнюю пустошь на берегу Волги и два-три десятка домов, некоторые еще довоенные, основательные, на массивных каменных фундаментах. При основании села в 1767 г. там проживало 200 человек, в 1910-м – 3750, в описываемом 1926 г. – 1884 (последствия миграции в Сибирь, а также Гражданской войны и голода). По последней, 2010 г., переписи числилось 298, а проживало, полагаю, и того меньше.

Там тоже организовали собрание, говорили пропаганду. Мне было приятно, что Альфред Петрович учел мои слова и сказал, что старая жизнь — это не старое колесо от телеги, ее нельзя всю выбрасывать, а надо сохранить годное. И починить, если надо. И это всем понравилось, они хлопали ладошами, что не сразу надо входить в новую жизнь.

Потом мы поехали по другим селам, а потом вернулись.

И Альфред Петрович стал меня уговаривать, чтобы я стал агитатором.

Мне и хотелось, и не хотелось, я раздумывал.

Но тут началось непонятное. Приехали какие-то люди из Москвы и начали чистку партийных рядов. И я узнал, что Альфреда Петровича вычистили за что-то по первой категории. Через день мы с Валею и Вовой пошли его навестить, а его и всей семьи нет. А в квартиру уже въезжают какие-то люди. У него была хорошая квартира, весь второй этаж, бывшая дворянская. И вот туда въезжают какие-то люди по ордеру и ничего не знают, где он.

А потом чистка пошла сверху до низу по всем организациям. В том числе чистили меня. Вошел, сидят трое. «Положь партбилет на стол». Я положил. «Рассказывай свое происхождение и деятельность». Я рассказал. Был там молодой, похожий на Горшкова, но не Горшков. Очень цеплялся, где я воевал в Гражданскую. Я сказал, что был красноармеец. А он спросил: «У вас там были все бандиты, может, и ты был бандит?» Он так спросил, будто знал. Мне даже почудилось, что это все ж таки Горшков. Но я сказал: «Нет, я не был бандит». Они стали спорить, двое говорили, что я теперь пролетарий, учусь на рабфаке и даже был агитатор. А похожий на Горшкова говорил, что нет, Смирнов из крестьян, не пролетарий, а складской учетчик, а агитатором он был при Кессенихе, который сам знаете кто.

Я стоял весь мокрый и так боялся, как не боялся на фронте. Скажу больше, что, когда умирали в Смирново мои родные и умирал я сам, я так не боялся. И не так я боялся лишиться своих жен, как партбилета. Будто я прикипел к нему, и к Партии, и к Советской Власти. И вот они спорят, а я потею и у меня текут слезы. Они увидели и спросили: «Почему ты плачешь, что с тобой?» И я им честно сказал, как думал, что мне жаль партбилета, Партии и Советской Власти. Тут даже того, кто похож на Горшкова, проняло. И они сказали: «Ладно, иди и работай. Но переведись из складских в техники. И секретарем с твоим происхождением и смутной биографией быть тебе не положено. Но партбилет оставим».

И я вышел счастливый. Сейчас пишу и думаю, что это самое радостное событие моей жизни. А ведь не жизнь моя решалась. Что это во мне такое, сам не понимаю. Может, все это потому, что раньше я видел только семью и деревню, а другого мира не видел, а теперь вижу. И меня будто хотели вместе с партбилетом отнять от этого мира, как младенца от материнской груди.

Такая вот история, будем жить дальше.

### *26 декабря 1926 года*

Возобновляю традицию.

Был год напряженного труда и учебы. Работал нарядчиком, помощником мастера, мастером на время болезни мастера Ланге, потом опять помощником, техником. И вручную уже что-то делал для примера, показывал, если кто не умеет.

Было главное событие, что приезжала Ольга. Она приехала вся нарядная и с московскими подарками.



Она теперь не в театре, а жена какого-то Люсина. Она так это сказала, будто все знают, кто такой Люсин, а я первый раз слышу. Остановилась у сестры Иммы, потому что с родителями остались разногласия. Она пришла к нам и плакала, когда увидела Вову. Она его обнимала и давала подарки. Говорила: «Я твоя мама!» Мы от Вовы не скрывали, что у него не Валя мама. Но он зовет ее мамой, а Ольги чуждался. И она опять плакала и ушла.

Но пришла на другой день и сказала, что заберет Вову в Москву. Что Москва есть Москва, нечего ему тут делать, в глуши. Валя отвела Вову в другую комнату, а потом сказала Ольге такие слова, что я от нее никогда не слышал. Что она такая и сякая. Ольга кричала и плакала, а потом достала маленький револьвер и сказала, что прямо тут застрелит себя. Я на нее бросился и отнял револьвер. И она ушла.

На другой день опять пришла с помощником начальника Покровской милиции Шрёдером, я его знал, но не близко. Они оба были веселые и немного пьяные. Ольга радовалась и объявила, что милиция на ее стороне. А Шрёдер стеснялся и говорил, что надо все решить миром в пользу матери. Но Валя сказала, что есть суд, пусть решает суд. Я согласился. Тогда Ольга стала кричать на Шрёдера, что он ей плохо помогает, он рассердился и ушел. Ольга упала на пол, каталась и просила отдать Вову. Мы не соглашались и поднимали ее. Она попросила для успокоения выпить водки или вина. Мы ей дали водки, она выпила, а потом еще. Развеселилась и рассказывала о своей жизни в Москве, что у нее скоро будет автомобиль и она уже научилась ездить. И все выпивала, а потом заснула. Валя увела Вову гулять, я тоже ушел. Вернулись, Ольги нет.

С той поры живем тихо и спокойно.

Валя наводила справки про своего дядю Альфреда Петровича, но никто ничего не знает.

*25 декабря 1927 года*

Мне поручили создать ОСОАВИАХИМ, я создал и работает. Взносы и занятия. Должники за полугодие Будин, Кошелев, Королько, Садчиков, Тимофеева, Шульман, Янагиев.

Перешли на трехсменную работу. Износ станков, проблема. Кадры, проблема. Подстанция не дает мощности, утрясаем этот вопрос.

Выпускаем стенгазету, я участвую. Осудили Чанкайши, убийство Войкова, действия Троцкистов и нэпманские уклоны.

Осветить Программу Коллективизации.

Отметили Великую Октябрьскую революцию, я нес знамя.

Вова научился немного читать. Узнает буквы и простые слова.

Валя чуть не забеременела. Оказалось, ошибка. Очень жаль. Врачи ничего путного не говорят.

Событий очень много, всего не опишешь. В том числе непонятная комсомолка Репина Наталья. Полагаю, женская привычка играть с мужчинами, как кошка с мышкой. Со мной этот номер бесполезный, хотя она и красивая, особенно глаза. Но мне не до глаз.

Простыл горлом, пью отвар малины и дышу над картошкой.

На днях получили ордер на приобретение в распределителе софы для спанья Вовы, раньше спал на деревянной койке моего изготовления с матрасом.

Советуют еще столетник, выдавить сок 1 стол. л. на стакан теплой воды, полоскать. Надо попробовать.

Остальное все хорошо.

*24 декабря 1928 года*

Даже не знаю, с чего начать.

Да и чем кончить, непонятно: Новый Год как праздник отменили. Но мы все-таки для Вовы поставили маленькую елочку, он любит. Днем ставим ее в кладовку, чтобы не увидели, если кто придет, вечером выносим, зажигаем свечку на верхушке, смотрим.

Меня ускоренно выпустили с рабфака со свидетельством. Мог бы поступить в вуз заочно, и Валя хотела, но слишком много работы.

Из-за трудностей с продовольственным снабжением мы открыли цех, где клепали ведра, чайники, другую посуду. Чтобы менять на продовольствие в селе. Это была инициатива моего тестя Бернда Адамовича.

Меня посылали ездить с товаром. Еще ездил мастер Ланге, чтобы говорить с немцами на немецком. Я тоже говорил, уже все лучше. И от комсомола была Наталья Репина. Бернд Адамович сказал: «Она симпатичная, ее внешность лучше убедит крестьянскую молодежь мужского пола».

Но получилось так, что ее внешность убедила и меня.

Не знаю, как это писать. Сам пишу, а боюсь, что жена прочтает. Хотя Валя сказала, что она никогда не заглянет в мою тетрадь без моего спроса. Но я ее теперь не держу дома, а держу на работе. Мало ли.

*25 декабря 1928 года*

Пишу урывками.

Не буду ничего писать про Наталью Репину. У каждого человека бывают ошибки. Тем более она уже замужем с осени.

Это в книгах про любовь, а у меня не книга.

Да и какая там любовь. Любовь у меня к Вале, и больше ни к кому.

Когда я ездил с посудой, то мы заодно вели пропаганду за колхозы. Они стоят и слушают. Ждут, когда начнем менять посуду. Поэтому не возражают. Но согласия я тоже не видел. Многие уже живут вполне хорошо. Я им говорил: «Вы сегодня сыты, но не думаете про завтра. А завтра к вам придут тракторы для общего труда. В одиночку не купить, надо объединяться. Но чтобы сделать тракторы, нужно, чтобы было производство. А чтобы было производство, вы должны помочь пролетариату. Который для вас же сделает тракторы». Но они этому не верили. Это их несознательность.

Я много думал про колхоз, как общее явление, и тут пришла мысль. Ради этой мысли я все это тут пишу. Меня как ошпарило.

Мысль:

Если крестьянин станет работать на земле, как рабочий на фабрике, то есть он работает и получает за труд деньги, то он получится — пролетарий. Только сельский. Значит, он тоже будет Гегемон. В России крестьян поголовное большинство. Значит, фактически все население станет пролетариями. Исключая служащих интеллигентов и частных, которых все равно не будет.

Я пошел с этой мыслью к секретарю Водякину. Объяснил ему ее, но он не понял.

*26 декабря 1928 года*

Продолжаю.

Водякин меня не понял, я объяснил: раньше крестьянин был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Он и сеет, и пашет, и молотит, и скотину ухичивает, и дом строит. А когда будет работа сообща, то будет разделение. Один скотник, другой плотник, третий едет в город и торгует общей прибылью. Как у нас в мастерских: есть слесаря, есть токаря, а есть котельщики, клепальщики и другие специальности. И возчики, кто на склады везет. «Скажи мне, товарищ Водякин, сказал я, в чем разница возчика, который на склад везет подшипники и получает зарплату или карточки, и возчика, которые везет на ток пшеницу и тоже получает зарплату или карточки? Или другое, что у них там будет. И тот пролетарий, и этот пролетарий!»

Он почему-то испугался моей мысли, заругался. Но потом позвал других, чтобы послушали, и им я тоже сказал свою мысль. Кто понял, кто нет, не знаю.

Через день меня вызвали в ГПУ. Сам Михайлов, начальник ГПУ\*. Я до этого его близко не знал, только видел.

Он начал на меня кричать из всей силы, что я вредитель и контрреволюционер. Что кулак и подкулачник. Что я наношу вред Советской Власти своей агитацией.

---

\* По-видимому, имеется в виду Я.М. Бодеско-Михали, который был в это время начальником ОГПУ АССР немцев Поволжья. Человек с богатой биографией, как и многие тогда: родился в д. Сальва (Трансильвания), служил в Австро-Венгерской армии, был взят в русский плен, с 1917 г. занимал разные должности в ЧК, два года нелегально работал в Греции, к 1937 г., будучи майором госбезопасности и занимая важный пост в Главном Управлении Государственной безопасности, арестован и в том же году расстрелян.

Он кричал без стеснения матерными словами. Я тоже умею, хоть не люблю.

Я ему сказал: «Товарищ Михайлов, я коммунист и отец семейства, взрослый человек, за что Вы меня поносите, как последнего нэпмана? Мне это сильно обидно, потому что, если бы я выступал против колхозов, тогда еще ладно, а я выступаю за колхозы».

Он продолжал кричать и обзывать меня. Я бы стерпел, если бы не тронул покойных моих родителей. А он тронул. Он сказал, что, должно быть, они тоже были кулаки, раз родили такого вредителя.

Я не выдержал и сказал, что мой отец и мама были бедные крестьяне, и не надо их трогать. А то сам приехал неизвестно откуда, земли не нюхал, а пальцем тыкает, чего и как делать.

Я раньше не знал, что из меня вылезет такая гордость. Но это ведь меня Советская Власть таким сделала. Мне было обидно и непонятно: мы с ним оба за Советскую Власть, а он из меня делает злого врага. И ему от этого будет хуже, если своих почем зря облаивать. Это как раз на руку врагам.

Я ему это тоже сказал, он совсем сбеленился и позвал своих людей.

Меня арестовали.

Две недели сидел с разными элементами, никого из родных ко мне не пускали. Кормили плохо. И никуда не вызвали. Потом вызвали к человеку, фамилия Канцис, он на меня кричал и угрожал. Требовал выдать сообщников.

Потом вижу: Ланге. Он объяснил: в мастерских наши очаг. То есть наш цех чайников и кастрюль. Бернда Адамовича допрашивают, но пока не арестовали.

И еще мы сидели два месяца. Один раз ко мне пустили Валю, она плакала, сказала, что все делают всё что можно, чтобы меня выручить.

Потом вызвали к Шейну, а Канцис куда-то делся. Я спросил у Шейна, он рассердился и кричал, что не мое дело. И я с тех пор Канциса никогда не видел. Шейн сказал, что если бы не линия на индустриализацию, таких, как я, надо расстреливать. Я стал смиреннее, не возражал. Хотя опять было обидно. Но я видел, что ему мои мысли рассказывать нет толку, у него какие-то свои мысли и он других не слышит. Зато он сказал, что я свободный. Я спросил про Ланге. Он закричал, что не мое дело. Я сказал, что, если у нас индустриализация, то без хорошего мастера никак, а Ланге лучший мастер. Но Ланге так и не отпустили. Сгинул, и это жаль и несправедливо.

Я вернулся в мастерские.

### *27 декабря 1928 года*

Было плохое настроение весь остальной год. И спал на ходу, как во время голода. На работе сплю, прихожу — валюсь и сразу сплю. Даже не до Вовы было, он обижался, Валя тоже. Сейчас прошло, а что такое было, не знаю. Валя сказала пойти к врачу, но у меня же ничего не болит, зачем я пойду. Само пройдет. И прошло.

Но моя мысль о поголовном переходе страны на пролетарское положение меня точит. Поделился с Вале́й, она согласилась. Только сказала, что пролетариата тоже не будет, а будет бесклассовое общество. Но после.

Как закрыли цех, все живут на карточки и немного денег, но они все время дешевеют. Тут я узнал, что можно внаймы взять домик с огородом. Поговорил с Вале́й, с Берндом Адамовичем и Марией Фридриховной. Они сомневались, но одобрили. Взяли домик. Я починил крышу, позвал переложить печку, ку-

пили дров на зиму. Огород вскопал под снег. Придумал лопату с поворотной ручкой для удобства копать одной рукой. Валя и Вова помогали. Я землю прямо нюхал и чуть не ел, так по ней соскучился. Валя купила книгу «Сад-Огород», хочет весной сажать овощи и помидору.

### *28 декабря 1928 года*

Так что все хорошо, кроме того, что меня отстранили от ОСОАВИАХИМА и не разрешают писать в стенгазету. Я после ареста и временной тюрьмы считаюсь теперь сомнительный. На обиженных воду возят, я понимаю, что Советской Власти требуется осторожность. Может, я бы себя тоже отстранил на всякий случай.

### *29 декабря 1928 года*

В октябре у меня возникла еще одна мысль, теперь техническая. У нас тяжелые детали возят на тележках вручную. И вот везли, а через дыру в крыше влетел голубь. Я смотрел на него в высоту и увидел поперечные железные балки. Подумал, что, если к ним приспособить рельсу, а к рельсе подвесить колесную тележку с тросом и крюком, то можно легко поднимать детали и катать с места на место. Сказал Бернду Адамовичу, он сказал, что это рационализация. Хотя ничего особо нового, такое изобретение существует, называется кран-балка. Он удивлялся, что ему не пришло в голову. И мы сделали эту кран-балку, я каждый день на нее люблюсь. Правда, один раз сорвалась сверху букса и чуть не убило человека, но обошлось.



У меня какие-то предчувствия. То ли хорошие, то ли плохие, не могу понять. То мне весело, то страшно. Вчера кушали спокойно ужин, я смотрю на Валю, на Вову, и у меня вдруг комок в горле, не могу глотать. Будто я с ними прощаюсь, хотя никуда не еду. Даже до слез. Валя на меня смотрит и спрашивает: «Ты чего?» Я говорю: «Валя, я вас с Вовой очень люблю». А она посмотрела и говорит: «Мы тебя тоже, только ты меня не пугай».

А я не пугаю, просто — настроение.

Теперь прошло.

Печка вышла неудачная в смысле тяги, небо топим. Надо выписать угля, как другие выписывают. Валя говорит, чадит, но я был у Суровцевых вчера, у них уголь, и ничего, нормально.

### *1929 год*

Наша жизнь перевернулась совсем другой стороной. Весной Валя оказалась беременной.

Мы радовались, но тут меня вызвали вместе с другими еще с мастерских и других предприятий города и сказали, что надо срочно ехать по селам вести агитацию. И отпустили обдумать и дать согласие, а меня оставили отдельно и стали обсуждать кандидатуру. Был сам Шваб Иван Федорович, он сказал: «Николай, ты всегда был светлая голова, как тебя угораздило сидеть в допре\*?» Я сказал, что по ошибке. Был там Шейн, ему мой ответ не понравился, он сказал, что: «Вы все считаете, что по ошибке, а Партия не ошибается». Но Шваб ему сказал, что я ценный кадр, потому что знаю сельское хозяйство. И спросил, где я был

---

\* ДОПР — дом принудительных работ. Но так часто называли и обычную тюрьму.

в немреспублике, я сказал, что в Варенбурге и около, он сказал: «В Варенбурге у нас уже два представителя, поедешь в Лауб\*».

Мне объяснили, что это не просто съездить и вернуться, а жить там, сколько понадобится. Другие представители семьями поедут, лучше и тебе так.

Я говорил с Валея, она плакала. Я сказал: «Давай останься тут, у Вовы школа, а ты носишь ребенка. Я поеду один, а там будет видно».

И поехал.

Снимал комнату и вел агитацию. Говорил свою мысль, что крестьяне тоже станут пролетариатом. Но им это не понравилось. Я не знал, какую дальше вести линию, потому что не объяснили, пошел в Варенбург, где телеграф, послал запрос Клименко\*\*. Он сообщил, что нужна агитация за сдачу и продажу излишков товарного зерна.

Я собрал людей и объяснил, но они сказали, что излишков ни у кого нет. А как проверить? Я опять послал телеграмму Клименко, он ответил, что нужна агитация за колхозы.

И я опять собрал людей, говорил, что надо работать вместе, давайте организуемся. Они сказали, что до осени подумают, а сейчас некогда, то сев, то сенокос, то уборка.

Я запросил инструкцию у Клименко. Он долго ничего не отвечал, потом ответил: агитируй за заём.

На заём я сам подписался на последние почти деньги, дело важное. Собрал людей, объяснил. Что дело государственной важности, для промышленности, вам же на заём пришлют тракторы и другое. Они согласились, но на заём никто не подписался.

---

\* И опять я вздрогнул.

\*\* Кто такой Клименко, не удалось выяснить. Видимо, кто-то из начальства.

Сидел без дела, опять потревожил Клименко на счет дальнейших действий. Клименко ответил, что жди, мы сами ждем указаний из Центра. Положение серьезное.

Была личная проблема начет продовольствия. У меня было немного своих денег и дали на командировку, но мало. Все кончилось. Хозяева, у которых жил, кормили даром, но мне было совестно. Я послал запрос: «Как быть?» Мне ответили, что устраивайся на работу, потому что, если будешь там работать, тебе будет больше доверия.

Я устроился к тому хозяину, у которого жил. Вильгельм Глюбрехт. С ним жил женатый сын Петер, две дочери-невесты, дети Петера, четверо. Еще два сына были отделенные отдельно, жили своим хозяйством, а старшая дочь была замужем в Тарлыкковке, на другом берегу, она же Динкель.

Я работал у них все, что привык делать, и чувствовал себя хорошо, когда работал. А вечером шатался по селу и не знал, куда себя приспособить. Люди отдыхают друг с другом, а я со всеми чужой. Трудность еще в том, что не все понимают и говорят по-русски. И по тому немецкому не понимают, на котором я им говорил, особенно пожилые. У них там оказался свой язык, я хозяев, когда они меж собой говорили, иногда почти что не понимал. Они даже говорят не «ихь»\*, то есть «я», а «ик», как икают. И другие слова тоже говорят не так.

И вот я хожу, мне грустно, я никого не понимаю, меня не понимают, зачем я тут?

---

\* Ich (нем.), я. Немцы Поволжья действительно говорили на множестве диалектов, довольно сильно отличавшихся, особенно фонетически, от литературного немецкого языка, который и сам нормативно сформировался только к XX веку.

Но в конце мая вызвали в Покровск и познакомили с документом Совета Народных Комиссаров насчет раскулачивания. С собой не дали, велели прочитать и запомнить.

Я запомнил, что кулаком считается, у кого наемные работники, крупорушка или маслобойка, кто сдает внаймы помещения и чем-нибудь торгует.

Я поехал в Лауб и думал. Ведь мой Глюбрехт тоже получается кулак. Я у него наемный, да еще двое соседей к нему ходят на помочи, у него и крупорушка, и маслобойка, прямо как по писаному, да в плюс к тому он мне помещение сдает и скупщикам продает масло, яйца и все другое. И не один Глюбрехт, чуть не весь Лауб получится кулаки. Я даже удивился, что у них тоже был голод, а голод был, да еще какой. Но у них остались целые и механизмы, и всякая утварь. Чего говорить неправду, интересно живут немцы, каждая вещь приглядная. На лавках и на печи не спят, у хозяев кровать расписная с занавесками, я такую у Прёловой только видал, когда ее громили, только у Прёловой была побольше. Я спрашивал Глюбрехта, почему в голод вещи не продали, он сказал, что вещи никому были не нужны, а само железо или ту же кровать кушать не будешь.

Рассказал Глюбрехту всё как есть, он стал лицом будто мертвый, даже страшно. А потом сказал семье: «Началось».

Что он за этим хотел иметь в виду, не знаю, но в Лаубе точно началось. И днем и ночью движение, куда-то чего-то везут и вывозят, а во дворах пир горой, режут скотину почем зря. Глюбрехт мне сказал, что я теперь не снимаю у него комнату, а просто живу, как гость. Никаких денег. И работники перестали к нему ходить. И крупорушка с маслобойкой куда-то делась.

Я понимал, что к чему, но, если люди не хотят быть кулаками, это тоже понятно.

А еще ко мне валом пошли насчет заёма. Я отбил телеграмму Клименко, чтобы прислал человека с облигациями. Тот прислал, расхватали за один вечер, как горячие пироги.

Потом позвали меня, стали спрашивать, как образовать коммуну или колхоз. Я за них обрадовался и объяснил: объединить земельные наделы, найти амбар, какой побольше, свезти туда механизмы, чтобы были общие. Помаленьку сгуртовать скот и все прочее. И сдать излишки государству, которое сильно нуждается. И вызвали заготовителей, и люди сдавали из урожая озимой ржи, которая хорошо уродилась. Сдали много, заготовители радовались. А также ячмень и сколько-то пшеницы, у кого была. Еще овес, но совсем мало.

Стало жить весело, я себя почувствовал, что нужен людям для новой интересной жизни. Устроили хранение механизмов и техники, я все учел, включительно кто что сдал, с фамилиями. Составили план земли на осень. Взялись строить коровник.

Тут меня позвали опять в Покровск, дали почитать бумагу о мерах пресечения саботажа кулаками хлебозаготовок. Я порадовался, что у нас все наоборот. Клименко и Шейн не поняли моей радости, я объяснил. Тут они с двух рук стали на меня кричать, что я как раз и есть саботаж, что мне кулаки задурили голову, сдали негодную едовую рожь, когда нужна товарная пшеница. Что кто ничего не сдал, те и то лучше, чем такая хитрость. Я сказал Шейну и Клименко про коммуну, но они даже не слушали, только кричали про заготовки.

Я задумался. Я рассердился на лаубских немцев, что так меня подвели. Вернулся, созвал тех, кто запи-

сался в коммуны, и объяснил им всю про них правду. Они оправдывались, но согласились.

Тут приехали Шейн, Клименко и тот, кто мне показался похожий на Горшкова. Его фамилия была Городовня, звать как меня, Николай. Они созвали всех и сказали, что тут рассадник. А потом засели в одной избе и начали всех по одному хозяев вызывать и днем и ночью. Я пришел и сказал: «Я тоже в курсе вопроса и представитель, почему нет моего участия?» Городовня сказал: «Ты представитель, а мы уполномоченные, ты считаешься под домашним арестом, иди и сиди».

Я пошел домой и ждал неизвестно чего.

Трое суток они таскали людей без передыха, потом всех собрали и сказали, что обнаружили на текущий момент 38 злостных кулаков, которые сорвали в том числе заготовки. Партия приказала, учитывая, что в городах люди сидят на пайке, подвергнуть конфискации и высылке данных вредителей, но не велела давить сверху, потому что она за народ. Значит, народ, то есть вы сами, решите, кто у вас кулак, кого конфисковать и выслать. Люди стали волноваться и спорить меж собой. Сказали, что надо подумать. Городовня сказал, что думать некогда, давайте список сейчас. И тут же пойдём на конфискацию, а кто будет участник конфискации, тому положена по закону четвертая часть. Люди опять стали волновать и спорить. Глюбрехт был со мной рядом, он сказал людям, что, если не послушаться, вышлют всех. Женщины рыдали, но их успокаивали, потому что Клименко, Городовня и Шейн от этого злились. Тогда люди кинули жребий на 38 номеров. И опять был спор, и опять женщины плакали. Дети тоже. В конце концов дали список. Но Городовня был недоволен, что список не сошелся с тем, какой у них. Опять стали все перегово-

риваться. Я не утерпел и сказал, что некоторые, кто в списке, они уже в коммуне. Городовня закричал, что никакая коммуна не считается, потому что кулакам запрещено вступать в коммуны, что она считается распущенной с этой минуты, что надо приступать к конфискации, а имущество раскулаченных тут же передать в колхоз, в общее пользование. Я сказал, что колхоза у нас еще нет, Городовня сказал, что с этой минуты есть. И велел поднять руки, кто согласный. Сначала никто не поднял, опять говорили и спорили, к ночи кто-то начал поднимать, а потом уже много.

И они пошли делать конфискацию.

По селу стоял плач женщин и рев скота, который сводили со двора.

Вечером они собрались и выпивали. Я от растерянности тоже выпил и сказал, что людям тяжело и плохо. Городовня тоже выпил и закричал: «Думаешь, я буду с тобой спорить, что тяжело и плохо? Но пусть им будет тяжело и плохо, они заслужили. И даже пусть нам будет тяжело и плохо. Всем сейчас тяжело и плохо. Но надо даже, чтобы было еще тяжелее, потому что мы строим великолепное светлое будущее. Кровавые жертвы будут искуплены нашими детьми и внуками, которые скажут спасибо. Можем мы всем устроить сейчас обычную легкую жизнь? Можем. И проживем так самое большое год, а то и меньше. А потом нас сожрет мировой капитализм и внутренняя контрреволюция».

«И я тебе скажу еще больше, он кричал, что мы готовы, что пусть половина населения сгинет, но останется другая половина и Советская Страна. А если дадим себе жалость, не будет вовсе никого, а вместо Советской Страны тут от Киева до Приморья будет Англия, Америка или другая Антанта».

И я подумал, что есть правда маленькая и большая. Маленькая — когда здесь людям плохо и тяжело.

А большая — когда в будущем людям везде будет хорошо. Большая правда на то и большая, что больше маленькой. Я пошел с этой мыслью к Глюбрехту, чтобы его как-то ободрить, но его как раз дораскулачивали соседи, и он был не в настроении. А его дочь Анна, 18 лет, обняла меня в сенях и сказала: «Николай, наш милый защитник, спаси моего фатера и нас. Мы имеем маленьких детей, мы не имеем быть кулаками. Я буду тебя любить, когда ты нам поможешь». Мне было смешно, как она говорит, но она была горячая и вся двигалась у меня в руках, а я не был с Валею и ни с кем уже долго, я ее потащил в клеть, положил на землю, но чую, что она плачет. Я прекратил, опомнился, сел рядом и тоже заплакал, но сказал: «Зачем ты так, Анна, я и сам плачу, что я такая нечисть. Но это нам за то, чтобы наши дети сказали спасибо». И так мы сидели рядом и плакали. Я успокоился, рассказал ей, для чего мы все страдаем. Но она не слушала и все плакала. И я ушел.

Проснулся утром со стыдом и похмельем. Я поэтому пью мало или совсем не пью, я не люблю стыда с похмелья.

Клименко и Шейн взяли меня и уехали, оставили Городовню и с ним сколько-то бойцов. Меня связали, я удивился. Шейн сказал: «Мы тебя арестовали, разве не помнишь?» Я сказал: «Да, арестовали, а потом отпустили». Они совещались и спорили с Клименко, тоже не помнили. Клименко спросил: «За что мы его арестовали, если спросят?» Шейн спросил меня: «Ты помнишь, за что тебя арестовали?» Я сказал, что нет. «Твое счастье», — сказал Шейн, а как раз приехали в Варенбург, где они достали опохмелки, выпили и всю дорогу обратно проспали.

Так все и обошлось, так кончилась моя командировка.



*26 октября 1929 года*

Вчера у Вали родилась дочка Екатерина официально, а Валя зовет Катарина. Это без разницы. Я опять счастливый, хотя иногда накатывает неизвестно с чего, но\*

*1930 г. Без даты. Черновик тисма\*\**

Любимый Уважаемый Дорогой Товарищ Сталин!  
В начале 1930 года Партия направила меня, как члена ВКП(б) и рабочего, на подъем коллективизации на выбор, и я выбрал родное село Смирново. Потому что я уже поднимал коллективизацию в Немреспублике и заслужил доверие:

Прибыв в Смирново, я обнаружил, что там контрреволюция упустила. Смирново выделилось в отдельный от Акулиновки сельсовет. И им руководил бывший бандит бывший красноармеец и бандит не вполне сознательный крестьянин Иван Большов (раньше звался Смирнов), ему помогал Сергей Калмыков, а я стал одновременный секретарь ячейки и выбранный людьми председатель. Помочь мне было некому за отсутствием ни одного коммуниста. Я выяснил недостатки во всем. По обязательным платежам, а именно сельхозналог и самообложение, план на текущий момент выполнялся наполовину, по добровольным, а именно культналог, страхование и заём на пятилетку в четыре года, план не выполнялся почти совсем.

Я задал вопросы Большову и Калмыкову, они смеялись проявили неуважение к моим словам. Я собрал людей и вел агитацию. Они сказали, что Большов

---

\* Не закончено. И в этом году больше записей нет.

\*\* Письмо не было отправлено.

и Калмыков не Советская Власть, а кулаки и миродёры. Я это и сам увидел, я видел их хозяйство. На этом собрании мы их переизбрали, председателем сельсовета выбрали Семена Улошнова (тоже бывший Смирнов). Но все равно люди объяснили, что они сдали всё что могли и больше не могут. Особенно об этом сильно кричали женщины.

Вы сейчас поймете, почему я на этом, что женщины, остановил внимание. Их оказалось в нашей деревне намного больше относительно мужиков, за счет отсутствия последних по разным причинам. Многие подались в город на заработки. И другие причины. Поэтому женщин стало подавляющее большинство.

Я доложил в РИК ситуацию с налогами и начал создавать колхоз. Для чего начали раскулачивать кулаков в соответствии с решением Партии. На повестке дня были четыре человека: Большов, Калмыков, Юшин и Смирнов-Костин. Собрание бедноты и актива проголосовало единогласно. Но я хотел, чтобы все было по Закону, составил список и попросил всех расписаться за свое решение. Но они отказались. Я сказал: «Как же так, Вы ведь все проголосовали, подтвердите свое решение подписью». Они сказали, что устно согласны, хватит и этого. Тогда я напомнил, что бедняки имеют право на 25% от кулацкого имущества. Люди этого не знали и стали радостно волноваться. Спрашивали: «Где это записано?» Я ответил, что есть Закон и 107 статья. И они тут же все подписались. И мы пошли на конфискацию и выселение.

~~Сказать Вам честно, дорогой товарищ Сталин, я не уверен, что эти 25% есть правильная мера. Наше будущее должно строиться без корыстно.~~

~~Мы начали конфискацию. Все шло успешно, но Дарья Калмыкова, жена Сергея Калмыкова и по совместительству моя сестра, в мое отсутствие пришла~~

в наш дом, где мы кое-как жили, потому что все растащили, пока меня там не было, схватила нож и приставила к горлу моей жены Валентины (по документам Вальтрауд, из немцев) на глазах нашего сына Владимира и грудной дочери Екатерины, которую мы пожалели, что взяли с собой, но кто же знал и стала кричать, что ее убьет, если я не верну их семье все имущество. Владимир и жена кричали, прибежали люди и отняли Валентину, Дарья успела только ее чиркнуть по плечу.

Кулаков вывезли. Дарью надо было арестовать, вызвали милицию, но она не приехала из-за метели. Тогда отпустили вместе с мужем, учитывая, что маленькие дети.

После метели приехал с РИКА уполномоченный Савочкин с отрядом, тоже бывший бандит и эсер, но был и красноармеец, он собрал собрание и ругался на несдачу сельхозналога и самообложения. Но с ним не соглашались. Тогда он повел вопрос по-другому и спросил: «Поднимите руки, кто против Советской Власть?» Никто не поднял, себе дороже. Тогда он сказал: «Советская Власть устанавливает вам самообложение 35% от сельхозналога, кто против?» Все подняли руки против. Он сказал: «Но самообложение и есть Советская власть, еще раз спрашиваю, вы, значит, против Советской Власть? Поднимите руки». Никто не поднял. «Хорошо, а кто за Советскую Власть?» — опять спросил он. Все подняли руки, и он сказал помощнику: «Пиши, что все единогласно голосовали за 35% самообложения, потому что это и есть Советская Власть».

Я сказал ему, что это не совсем так, но он сказал, что это тактика и дипломатия.

На другой день Савочкин и отряд пошли описывать имущество в счет налога. У Петра Смирнова Большого, брата Ивана, но не кулака, жил после смерти их отца Захара Васильевича отдельно его жена Та-

Татьяна не соглашалась добровольно отдать простынь, одеяло и скатерку из сундука мануфактуру, тогда отрядник сам взял мануфактуру, она его ударила рукой. Я сделал замечание отряднику, что сперва надо применить убеждение, что трудности будут возмещены общим трудом и благополучием, а потом хватать, что попало, но он не послушал.

Татьяну взяли и повели, но тут прибежали другие женщины, а среди них неизвестно откуда Дарья Калмыкова, которую уже выселили. Но она оказалась тут и закричала мне, что лучше пусть я иду домой и посмотрю, есть ли у меня там кто живой. Это моя классовая слабость и ошибка, но я испугался и побежал домой. Там все были живы. Это был обман со стороны Калмыковой. Я вернулся обратно и увидел, что лежит избитый Савочкин и еще двое отрядников, из них оба убитые. Остальные подобрали Савочкина и уехали. Они уехали с обозом, потому что успели описать и собрать много имущества. И вели также скот в счет недоимок.

Тогда Дарья, Татьяна и другие женщины побежали за ними. Они прибежали в Акулиновку, где отряд тоже начал описывать, и вели агитацию среди других женщин. В Акулиновке их тоже оказалось много. Так и получилась женская банда, в которой меня обвиняют как зачинщика и виноватого, что не задушил в корне. Она собралась со Смирнова, Акулиновки, Криунова, Валков, Дорофеевки, Урочья и др. У них оказалось вооружение и гужевой транспорт. И даже два пулемета. Они начали действия, про которые Вам наверняка докладывали. Мужчины там где-то тоже были, но не показывались, чтобы не приняли за настоящую банду. Они знали, что у отрядников указание не стрелять в женщин. И женщины этим воспользовались. Хотя потом начали стрелять, когда дошло до прямого боя, но это было потом.

Я был в полном отчаянии сомнения, дорогой товарищ Сталин. ~~Я оставался свято верным идее неотвратимости светлого Будущего, но как мне быть, если кроме меня в него никто не верил? Но еще~~ Меня беспокоила естественная шкурная забота о моей семье. Я решил отвезти ее на станцию и отправить домой, а сам остаться. Я просил лошадь, никто не дал, пришлось взять во временную реквизицию. Мы поехали. На пути нас встретила банда. Там были Дарья, Татьяна и другие. Меня сразу же сильно ударили, я очень плохо понимал происходившее. Но видел, что Дарья что-то кричит моей Вале, а потом ударяет ее прикладом и стреляет в нее. Она ее убила. Потом она берет грудную дочь Екатерину и хочет в нее тоже стрелять. Я встал на колени и говорил, чтобы она убила меня, а не трогала дитя. Она послушала и выстрелила в меня. Они уехали. Я остался живой, сын Владимир помог мне лечь на сани и повез к станции. Мы даже не похоронили Валентину. Я там остался в больнице, думал, что умру, а Владимира и Екатерину отправили в Покровск. ~~Они и сейчас там.~~

Я прохворал до самого лета и не чаял остаться живой, но выжил.

Проведал Владимира и Екатерину и вернулся в Смирново, потому что мое задание не кончилось.

Там все уже было тихо, всех, кто прямо участвовал в банде и других событиях, выслали, с остальными мы заново начали строить колхоз. Хотя было трудно, потому что беднякам кулацкого имущества не хватило, а средние не торопились вступать в колхоз. Тут как сказать — наш средний в других местах считался бы бедный. Есть корова — уже средний. ~~Ая себе, чтобы поправиться от болезни, купил треть коровы. То есть мы скинулись, старуха Скиданкина, вдова Лучкова и я, купили корову, она стоит у Лучко-~~

вой, а кормим и пользуемся молоком по очереди или по уговору.

Я работал как мог, но тут нас укрупнили и соединили с Акулиновкой, и мою должность упразднили. Я поехал в райком, чтобы спросить, что дальше, а там была комиссия ГПУ на предмет следствия по делу женской банды, которое оказалось не доследованным. А Предкомиссии оказалась опять женщина, так уж не повезло. Звали Лиля Зильбер. Эта Лиля вцепилась в меня: «Ты сам явился нам в руки, ты перегибщик и головокружение от успехов, из-за твоих репрессий началась женская банда, должен за это ответить!» Я обиделся и сказал, что кто перегибает, это как раз она. А меня самого так перегнули, что убили жену. Она должна, как женщина, это понять. В ответ на это Зильбер сделалась как припадочная и обвинила меня в покушении на авторитет Представителя Власти. И арестовала, не сходя с места, и заперла в помещении. И я сижу у окна при освещении луны, и решил написать Вам письмо.

Товарищ Сталин, я не умоляю свой вины за женскую банду, но и не считаю, что я полностью виноват. Зато прошу Вас обратить внимание на то, чего я не увидел в Постановлениях и Директивах, а оно есть. Это женский вопрос. У мужчин имеются идеи, они бывают и злые, и добрые, из-за чего мы покروшили друг друга в Гражданскую войну, а у женщин никаких идей нет, кроме семьи и собственности. Но за это они удавят кого хочешь, в том числе социализм. Дохлая корова для бабы, извините, что называю народным словом женский пол, дороже коллективизации и индустриализации. Даже если будут сплошные колхозы, они все равно будут глядеть в свой огород и в свою избу. Я предлагаю лишить женщин избирательных и голосовательных прав, решать все с мужиками, потому что с ними что-то решить еще можно,

а с женщинами никогда. И хоть мы в Гражданскую убивали друг друга, но с чистым сердцем. А они намного жесточе и хитрее. Убить мать в присутствии живого дитя и мужа, это надо иметь страшно злостный характер, на который, кроме женщин, способны только звери.

Это первый пункт.

~~Второй. Хорошая власть оснуется на хорошем в человеке. Если она оперется на злость, ненависть и неправду, то что-то не так. То же самообложение и другие добровольные налоги. Если Вам докладывают, что они впрямь добровольные, не верьте, Вас обманывают. Все из-под палки. И это к добру не приведет. Народ будет друг другу врать, и получится, как говорил нам в церкви поп, хотя и служитель культа, сплошное лицемерие. А это страшный грех, потому что он изгаживает душу, и дети перестанут верить отцам своим, и все наши страдания пропадут даром. Вот вы в газете правильно обругали за вранье деятелей, они сделали вид, что поняли, а на самом деле врут еще гуще.~~

Независимо от женского вопроса, я обращаюсь к Вам, дорогой товарищ Сталин, хотя у Вас много великих дел, обратить внимание на мою судьбу. На моих руках, которых у меня всего одна, остались сын, которому 9 лет, и грудная дочь. Я исполнял задание Партии. Но меня же за это хотят наказать. Это несправедливо и лицемерие.

С коммунистическим большевицким приветом  
Н.Т. Смирнов.

И прошу меня вернуть в Покровск, где я принесу больше пользы Родине и Социализму. Дайте самую тяжелую работу, а если меня посадить, то от этого никому не будет пользы.

Но про женский вопрос забывать не нужно. Простите, что выражаюсь попросту, но скажу еще раз:

женщины погубят Социализм и мировую Революцию в нашей отдельно взятой Стране, как вы ее справедливо назвали.

Еще раз извините за беспокойство.

~~Н.Т. Смирнов.~~

И есть еще одна идея, которую я с Вами очень хотел бы обсудить: о превращении крестьянина в пролетариат. Но это уже в другой раз.

Н.Т. Смирнов.

*21 июня 1930 г. \**

#### Заявление

Я, Смирнов Никлай Тимофеевич, 12 марта 1894 года рождения (по ст. стилю), полностью признаю предъявленную мне вину, что принимал необоснованные пытки и репрессии трудящегося населения с. Смирново, ~~искривив~~ — сознательно искривив линию Партии и лично тов. Товарища Сталина по исправлению перегибов в деле раскулачивания и коллективизации сельского хозяйства. Признаю, что этой причиной было возникновение ~~женских волнений~~ местного женского бандитизма на почве частнособственческих инстинктов, а не дествия ОГПУ и органов. Тем более Партии. Признаю, что это была провокационная деятельность в направлении дескредетации политики Советской Власти. Признаю, что действовал в ~~сговоре~~ предварительном сговоре с другими лицами, имена которых не могу назвать в следствии, ~~что не помню~~ моего не желания сотрудничать с следствием. Полностью готов понести справедливое наказа-

---

\* Написано неровным почерком и с несвойственными Н.Т. Смирнову пропусками букв, на отдельной странице. Страница оторвана, но потом подклеена.



ние. Претензий к следствию не имею. Сломанность моей руки вызвана моими действиями против следователя Л.И. Зильбер и вызванной охраны, которая может потвердить, как свидетели.

В дополнении сообщаю, что вражеские записи, сделанные мной собственноручно в этой тетради, сделаны с целью опороченья Советской Власти, в чем глубоко сожалею и раскаиваюсь. Прошу приобщить их к делу уничтожить их способом сжигания, как рассадник\*

*30 декабря, воскресенье. 1934 г.*

Как я теперь понимаю, я пишу для потомков. Чтобы они получили сведения о моей жизни из первых рук. И жизни окружающих людей. Мне хочется сказать: «Дорогие потомки! Хотя мы верим только в реальную жизнь, но в ней есть необыкновенные случаи. Однако в них нет никакого божественного промысла, а чистое совпадение».

Когда я был под арестом, мою тетрадь отдали служащему там человеку, чтобы сжечь. Кто мог знать, что им окажется житель Покровска, мой знакомый, которого я не буду называть. Он увидел чистые листы и решил взять их себе вместе с тетрадью. Но дома прочитал, увидел там многое, особенно письмо к Сталину, и испугался. Он решил ее все-таки сжечь, но тут им овладел психоз. Он боялся, что увидят, как он жжет, спросят, что это такое, выхватят из огня. И уви-

---

\* Не закончено. Похоже, Л.И. Зильбер рассудила, что достаточно заявления. Тетрадь же – сомнительная, толковать можно как против обвиняемого, так и в его пользу. Возни много, проще сжечь – включая черновик признания. А раз сжечь, то и хватит писать, тратить зря время.

дят, что он жжет письмо к Сталину. И ведь везде люди, везде глаза. Если уйти куда-то в лес, это еще подозрительней, когда человек один в лесу. Что он там делает? Когда кажется, что никого нет, тут-то и появляются ненужные глаза. В этом он прав, это я знаю уже и по себе.

Тогда он решил пойти в нужник и утопить в кал. Нужник закрытый, никто не видит. Но там его стали одолевать мысли, что будут выкачивать, когда яма заполнится, найдут тетрадь. И это еще хуже, чем схватить из огня. Утопить письмо к Сталину в кале — преступление тянет на полную 58 статью.

Так он мучился и не знал, как быть. Уничтожить опасно, хранить тоже опасно. Тут его откомандировали назад в Покровск. Он решил взять тетрадь и выкинуть по дороге. Но ему все время казалось, что кто-то наблюдает. И он не рискнул.

Приехал, спрятал тетрадь. А когда я вернулся, он узнал, пришел ко мне и сказал: «Возьми ее, ради бога, но не говори, что я ее тебе дал. Скажи, что нашел или еще что. И лучше всего — сожги. Но я тебе этого не советовал».

Я взял и сказал: «Хорошо, сожгу без твоего совета, а ты забудь». Он засмеялся и сказал: «Первый раз за все эти годы засну спокойно».

И я хотел сжечь, но почитал, увидел все свои глупости, ошибки, страдания и мучения, но и радость тоже, и всю мою жизнь, и стало жалко, что это пропадет. Пусть останется как есть, в том числе моя предыдущая безграмотность, которую смешно читать.

Буду писать и дальше. Это уж не просто привычка, а как для пьяницы водка — тянет, и все тут.

Не буду здесь описывать, что было со мной за эти почти четыре года. Заключение в лагерь на Севере, но могли присудить и больше, вплоть до расстрела. Там работал, как получалось, а потом по инвалидно-

сти и грамотности назначили быть в лагерной обслуге. Нас там не очень любили что с той, что с другой стороны. Многие от этого озлоблялись, а я стал как бесчувственный по отношению ко всем трудностям и обидам. Я сказал себе: это страшный сон, он рано или поздно кончится. Вообрази себе, что происходит не с тобой, и будет легче. Мне это очень помогло. Доходило до того, что мне дают по зубам, я падаю и головой роняю бюстик со стола, и вот на полу лежат вместе моя голова и голова бюстика, обе разбиты. И я это будто вижу со стороны, и мне, хотя и больно, становится смешно. Правда, не смеялся. Те, кто били, не любили смеха надо собой. Могли за это даже убить.

Я приказал себе терпеть и вернуться к Володе и Кате. Я им нужен. Володе сейчас уже 13 лет, а Кате 5 и 2 месяца. Я думал о них, и этим спасся.

Жизнь в лагерях — не жизнь. Там тоже есть человеческие отношения, но так мало, что не о чем писать. А о других отношениях я писать не хочу. Я вычеркнул эти годы из своей жизни, будто их не было.

А ведь правду сказать, когда вернулся, когда прошел всего месяц, я осмотрелся, отдохнул и не то чтобы отъелся, потому что особо нечем, но все же подкормился немного, так вот, всего месяц прошел, и мне перестали сниться лагерные собаки, а еще через месяц я почти ни о чем не вспоминал. Будто и не было.

Единственно, осталась память о Т.Н., замечательном и умном человеке. Он был слепой, его поставили на женскую работу стирать для персонала. Стирать можно и не глядя, из одного бака берешь, в другом завариваешь. Ему не раз подставляли для смеха кипятики или горячий утюг, но он берегся, хотя все же обжигался. Мы с ним говорили, и он меня хвалил, что я неглупый человек. Это было приятно. Я ему доверился

и рассказал про свою жизнь. И он сказал так: когда политика власти идет на то, чтобы гнуть людей, неважно, к хорошему или плохому, всегда есть риск недогнуть или перегнуть. Недогнешь — виноват, перегнешь — опять виноват. Потому что никто не знает, как гнуть в меру. И где эта мера, тоже никто не знает. Делай вывод: лучше не иметь дела с такой работой, где надо гнуть людей. Живи самостоятельно.

Я сказал, что социализм не предусматривает самостоятельной жизни. Он ответил, что да, нельзя жить в обществе и быть от него свободным, как завещал великий Ленин, но можно хотя бы попытаться. И что разум всегда возьмет свое. И главное — сохранить этот разум и передать детям.

Он сказал удивительную вещь, я запомнил. Что главная борьба идет не социализма с капитализмом, не классов друг с другом, хотя это тоже есть, а умных с дураками. И дураки в близкой перспективе всегда побеждают. Они по закону природы и животного мира сбиваются в стаи и очищают жизненное поле для себя и своих детей. И умных ненавидят потому, что их дети будут соперники их детям. Чем больше умных, тем виднее дурость дураков. Поэтому дураки стараются умных уничтожить. Это не так трудно, потому что умные часто ходят по одиночке. За исключением таких умников, которые себе подчиняют дураков. Но в далекой перспективе капля ума живет дольше, чем целое озеро дурости. Она точит камень там, где дурость переливается в другое место, где уже не так дуреет.

Я ему возражал: «А как же евреи, которых так много появилось после революции и которые, между прочим, стоят над нами в лагере в большом количестве? И на всех постах страны. Их никак не назовешь дураками». Он сказал, что это то же самое расчищение жизненного поля, а главное, что они очень умны,

да, но коротким умом. Потому что есть ум короткий и долгий. Долгий ум смотрит, что будет из последствий, а короткий, что будет сейчас. Они сейчас наверху, но чем выше будут, тем ниже окажутся. Если нация много делает для своего роста и благополучия, но в результате ее же действий ее же начинают преследовать и уничтожать, то есть, получается, она вредит сама себе, возникает вопрос, такая ли она умная?

Я опять возразил, что русские еще хлеще и дурее, потому что мы преследуем и уничтожаем сами себя. Он сказал, что это сложный вопрос, потому что целью уничтожения многих из самих себя мы сохраняем государство. Это историческая парадоксальность, в которой он сам еще не разобрался.

Тут я ему высказал свою мысль насчет женщин и их жестокой роли, вспомнив про женскую банду, и как они убивали направо и налево. Т.Н. сказал: «Недаром есть пословица, что у бабы волос долог, а ум короток. Ваше замечание верное, женщина, когда еще люди жили в пещерах, думала только про то, как накормить своих детей, а у чужих могла вырвать изо рта кусок, а то их и убить, чему случаи были и у нас, в жуткие голодные годы, когда, мне рассказывали, одна женщина убила даже не чужих, а своего собственного ребенка и сварила его, чтобы накормить остальных. Поэтому женщин нельзя допускать к решению важных вопросов и к власти. Только тогда, когда они достигнут нормального исторического развития и будут спокойны за своих детей».

Но все равно, сказал Т.Н., дело идет к тому, что дураки долго будут нами править. Конечно, самые хитрые из них. Кое-чего нахватавшиеся, но при этом необразованные, ограниченные, костные, самолюбивые карьеристы. Когда всех умников повыбьют, масса из себя выдвинет людей, равных себе. А такие люди никогда не поведут вперед, только куда-нибудь вбок, в сторону или вовсе назад. Потому что хитрый дурак хорошо по-

нимает свою выгоду, а на общую ему наплевать. И потому еще, что масса не хочет вперед, она, как только становится сытой, тут же хочет навсегда остановиться.

Он много еще говорил о разных вещах, о книгах. Советовал, что почитать. Там была библиотека, ее собирал замначлагеря Гинкель, человек с образованием и, говорили, писал стихи. Гинкель узнал, что я читаю Пушкина, Толстого, Гоголя, Горького и других, удивился, сначала смеялся, потом поговорил со мной и тоже советовал, что читать. Дал рассказ Чехова «Новая дача». Велел читать при себе вслух. Он сидел и выпивал, а я читал. Дочитал, он спросил мое мнение. Я сказал, что это про то, как люди не понимают друг друга. А он закричал, что это про ленивых и тупых крестьян, которых силой надо тащить в новую жизнь, потому что сами они ее не хотят. «Жили мы без моста! — он кричал. — Это и есть вся ваша философия! Жили без моста — и проживем! Нет, друзья, не проживем! Мост не только вам, всем нужен! И мы его построим! Вместе с вами! А кто не хочет — заставим! А кто будет мешать — сбросим в воду!» Я сказал: «А если сначала объяснить крестьянину, зачем мост, а уж потом заставлять? А еще лучше — попросить». Он засмеялся и сказал, что мировой капитал не дает нам времени на объяснения.

Так мы и говорили, с ним и Т.Н., а потом Гинкеля куда-то перевели, меня тоже отправили на поселение, а потом разрешили вернуться домой в Покровск, который теперь Энгельс.

Тут я должен сказать огромное спасибо Берндту Адамовичу, Марии Фридриховне и Имме, которые сберегли, кормили и воспитывали моих детей. Им помогали и Кессенихи, но у них меньше возможностей. Хотя я сейчас живу у них, и мы вместе вспоминаем их дочь, а мою любимую жену Валечку.

Чем дальше от даты ее смерти, тем больше я ее вспоминаю и тоскую.

Берндт Адамович взял меня на работу. В силу моей теперь беспартийности и отбывшего срока доверили сначала только быть вахтером. Но потом поставили на выдачу в инструменталку. Это не такая простая работа. На каждый инструмент, на пилы, ключи, напильники и, тем более, фрезы и резцы есть нормы службы, я должен был записывать, кто заменял раньше, эти записи представлял начальству, оно объявляло выговоры и накладывало штрафы, а рабочие сердились на меня и называли вредителем. Берндт Адамович сказал не обращать внимания, но мне было обидней, чем в лагере. Там я ощущал, что надо мной надругиваются чужие, а тут ведь все свои.

В августе позвали и сказали, что мне, как человеку, который работал с крестьянами по их организации и знает немецкий язык (я его усовершенствовал в лагере, потому что Гинкель тоже отлично знал немецкий и любил со мной говорить по-немецки), доверяют поехать с заготовками вместе с группой товарищей. Учитывая отвратительное снабжение города продуктами. Это несчастная правда. Берндт Адамович рассказал мне потихоньку, что в Энгельсе в 33-м году умерло много людей от голода\*. Меня это

---

\* Есть данные: в 1933 г. умерли 8,9% жителей Энгельса (см.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. М. : МСНК-пресс, 2007). В Германии, узнав о голоде в немецком Поволжье, организовали сбор продуктовых посылок. Их не приняли: руководство СССР назвало сведения о массовом голоде гнусной империалистической клеветой. На самом деле в той или иной степени пострадало от голода около 40 миллионов человек. Впоследствии это использовала фашистская пропаганда, внедряя в умы граждан Третьего рейха убеждение, что народы СССР страдают от большевистского режима, нищенствуя, голодая и ожидая спасения от великой Германии. Поэтому многие немцы в 1941 г. серьезно верили, что в России они воюют за правое дело. Так ложь помогает лжи.

очень удивило. Хотя мы и сейчас живем очень и очень трудно, но все-таки без смертельного голода.

Я отказывался, я помнил слова Н.Т. о том, чтобы не участвовать там, где гнут людей. Но мой отказ не приняли и стали вспоминать мое недавнее прошлое. И я поехал.

Я давно не был в селе. Когда мы приехали, я понял, что многое изменилось. Люди жили не очень хорошо, хотя уже в колхозах. Были видны следы голода — и в Варенбурге, и в Лаубе\*. Началась заготовка. Я понял, что опять вместо предложения крестьянам чего-то взамен хлеба идут разговоры про обязательства, невыполненные налоги и т.п. Предлагают и деньги, и какие-то товары, но денег мало, а товары по страшным ценам. От переживаний и мыслей я заболел какой-то лихорадкой. Трясло, будто у меня инфекция. Другие боялись заразиться и отправили меня в Покровск. Там я сразу выздоровел, но в село уже больше не посылали.

И что бы ни было, у меня сейчас есть вера, что прошедшие страшные годы никогда не повторятся.

### *Запись без даты*

1\_Инструменты: 1. Личное пользование. Прикрепленные (то, что нужно каждый день). С пометками. (Долгосрочные — молотки, напильники, др.) 2. Рабочее место — твое предприятие. Книгу Журавлева по рационализации\*\* рекомендовать и давать всем. Попросить Чибрякова, чтобы выделил машинистку перепечатать хотя бы 4–5 экз. 3. Выработку фрез, рез-

---

\* И опять я вздрогнул...

\*\* Скорее всего, имеется в виду книга М.Р. Журавлева «Рационализация рабочего места» (М.–Л. : Госиздат, 1929).



цов и др. согласовать не по времени, а по выполненному объему работ.

2\_Закрепить слесарные столы. Ящики с ключами для инструментов. Все ненужное в инструменталку.

3\_Субботник – уборка и мытье окон.

4\_Поговорить со всеми.

*16 ноября 1935 г.*

Не могу дотерпеть до конца года, нарушаю традицию. Я стал рационализатором, хотя все началось в рабочем порядке и без всякого геройства. Я заметил, что некоторые меняют инструменты то и дело, а другие заходят редко. Слесарь Кузьмичев Иван Никифорович приходил только за сложными метизами. И давал всегда ударную выработку. Я пошел посмотреть, как он работает. Увидел, что он себе склепал железный ящик и там хранит свои инструменты. И никому их не дает, за что над ним некоторые смеются. А еще он после работы наводит порядок, все протирает и раскладывает по своим местам. Я с ним побеседовал, и он сказал, что все зависит не от того, кто как старается, а кто держит все в порядке. Сергей Журин, например, молодой, горячий, не без головы, но посмотрите, как он работает. У него возле стола целый склад, он полчаса ищет инструменты или бегаёт к другим. А потом грызет метал чуть не зубами, мрет за работой – а толку?

Ну, и так далее.

Я рассказал об этом Берндту Адамовичу. Он согласился и дал мне книжку Журавлева, которая просто открыла мне глаза. И другие книги про организацию производства.

И я придумал: хватит инструментам долгого пользования гулять по цехам. Необходимый набор должен

быть у каждого свой. С личным клеймом на рукоятке. В строгом порядке на своем месте. И вообще навести порядок, в том числе давно пора помыть окна (у Журавлева про это говорится как про очень важное дело). Берндт Адамович не сразу согласился из-за срочной работы, но потом провели субботник, потом начали наводить порядок на рабочих местах, я начертил и везде повесил памятки. Через месяц мы дали план по ремонтам метизов на 120%. По подвижному составу станет ясно в конце года, но сроки уже снижаются. Берндт Адамович даже не поверил, что из-за таких пустяков все так перевернулось. Он дал мне должность мастера по рационализации рабочих мест.

И началась, скажу без ложной скромности, какая-то совсем новая производственная жизнь. Мы давали план, сверх плана, встречные обязательства, мы вышли на первые места в социалистическом соревновании по отрасли. Мне дали две грамоты и поощрение, а потом квартиру в две комнаты с отдельной кухней, где мы теперь живем с Володей, Катей и Степанидой, но она пока приходящая у меня. Она стесняется детей, что с этим сделаешь.

На фоне этих успехов меня выдвинули на осенний слет стахановцев, передовиков и рационализаторов отрасли в Москве.

Вопрос был не простой, учитывая мою биографию. Рассматривали на уровне автономного ЦК. И там один сказал, не знаю его фамилии, но влиятельный, что Сталин предостерег против огульности и массовости. Что после убийства Кирова разоблачили много врагов наверху, но обратили внимание, что ошибки низовых граждан, особенно из промышленной области, нужно уметь прощать, если они встали на путь исправления.

И под этой маркой прокатилась моя кандидатура, я оказался в Москве, причем не в простой день,

а 7 ноября. То есть с 4 по 6 был слет, где сам тов. Каганович вручил мне грамоту НКПС, а 7 нам разрешили прийти на Красную площадь и постоять возле Мавзолея. Я хотел бы соврать, но не умею, я не видел Сталина, мы стояли сбоку, далеко от трибуны. Но на меня произвело впечатление не это, а то, что я видел. Тысячи людей и массы мощной военной техники. И все это под музыку. Были моменты, когда я просто содрогался от сознания величия СССР и от того, что я являюсь частью народа. Будто я увидел цель, которую раньше не видел. И которую олицетворила для меня демонстрация. И я кричал ура так громко, что сорвал голос. Будто с ума сошел от радости.

Потом нам дали день прийти в себя, и вот я уже дома.

Рассказал Володе и Кате, которая уже начинает все понимать, о своих впечатлениях. Они радовались и гордились своим отцом.

Что я могу сказать? Я вспоминаю слова Т.Н. о борьбе умных и дураков и мысленно задаю ему вопрос: но где дураки, если на наших глазах образуется единство народа? Где дураки, если от нашей работы делается лучше и нам, и стране? Или я тоже дурак, что утром встаю, обливаюсь водой, как меня научил Володя, и с радостью бегу на работу, где вижу, что все спорится, в том числе отчасти благодаря меня? Мы жестокую цену заплатили за нашу радость, я не спорю, но зато это будет радость на всех, а не только на тех, кто победил. Хотя, получается, победили все, недаром съезд Партии назвали в прошлом году Съездом Победителей.

Да, меня осудили на заключение в лагерь ошибочно — если смотреть формально. Но разве я, когда не разбирался в окружающем, не участвовал

в борьбе с Советской Властью? Участвовал. Пусть никого не убил, но участвовал. И, может, следовало мне дать не три плюс один, а все десять лет. Таков мой личный приговор самому себе, но успокаивает то, что я сейчас делаю все, чтобы загладить свою вину.

*29 декабря 1935*

Степанида живет с нами. С Катей у нее хорошие отношения, с Володей пока не очень ладится.

Остальное все хорошо.

*17.01.36*

Краевой слет передовиков. Выступал.

*21.01.36*

Вызывали в ЦК. Вопрос восстановления в партии. Писал автобиографию. 31–34 годы вместо лагеря велели написать «отбывал трудповинность». Я сказал, что легко поднять документы. Они сказали, что я ведь не вру, просто тут вопрос формулировки. На эту формулировку они сумеют закрыть глаза. У них есть двое даже сидевших в тюрьме строгого заключения, но их приняли. Правда, непосредственно в Москве. А учитывая, что я стахановец и передовик, да еще выступаю, мне нельзя быть не членом партии.

В тот же день приняли. Без оркестра, по-деловому. Может, так и надо.

**03.02.36**

Агитировал за вступление и добровольные взносы в спортобщество «Локомотив».

**12.03.36–28.03.36**

Поездка на Урал и в Сибирь с группой рационализаторов и передовиков Поволжья.

**11.04.36–17.04.36**

Москва. Степанида обиделась, что не взял с собой, но я не мог. Рассказывал ей и высказал мечту, что хотел бы когда-нибудь жить в столице.

**08.05.36**

После майских зарегистрировали брак со Степанидой. Обошлись без застолья, сходили к ее родителям. Они совсем темные, а отец сильно пьющий. Шорник. Судя по высказываниям, скрытый враг советской власти. Но выражается аккуратно, не прицепишься. Черт с ним.

**22.05.36**

На мастерские выделили автомобиль, чтобы наградить кого-то из лучших передовиков. Хотели дать мне, я отказался в пользу Бриля, у которого 8 детей, пусть он их возит. Степанида рассердилась на меня. Но я ей объяснил, что у нас все под рукой и до всего можно дойти пешком, а выделяться ни к чему. Мне и так неловко, что я везде езжу, как кум королю.

**20.08.36**

Развелся со Степанидой. Это был бессмысленный и нервный брак, никому он не принес радости.

**18.08.36**

Помогал вести собрание и составлять письмо в поддержку суда над троцкистско-зиновьевским блоком.

Затеял небольшой ремонтшко в квартире. Володя помогает.

**15.09.36**

Или я прав и женщины это что-то особенное и до сих пор мне не понятное, или что-то произошло со мной. Я им не верю. И я все больше тоскую о Вале. Как теперь понимаю, это моя единственная любовь.

Та же Степанида, что я ей сделал? Мы мирно разошлись. Но она при встрече смотрит на меня со злобой и усмешкой. Показывает, что дружит с техником Бунчуком. Зачем? Она всегда относилась к нему критически и говорила это. Бунчук скользкий и неприятный, никогда не знаешь, что у него на уме. Я даже беспокоюсь за Степаниду, хотя в целом мне все равно.

**18.09.36**

Знаменательное событие: нам доставили три станка из Германии. С ними приехали специалисты. После установки прибыла германская делегация. Они хвалили наше производство и предлагали обмен опы-

том. Просили прислать делегацию. Тут же, на месте, выдвинули мою кандидатуру. Я даже не знаю, как к этому отнестись.

**22.09.36**

Меня готовят, объясняют, что говорить при встрече с немецкими рабочими и населением. Я понимаю, что это не полная правда, но, с другой стороны, сегодня они друзья, а завтра все может сложиться иначе. Поэтому нужно соблюдать осторожность и не выдавать тайны, которые могут показать нашу слабость.

Выдали костюм, 2 рубашки, ботинки, даже белье. Я весь как новенький.

**05.10.36–12.10.36**

Съездил в Германию и вернулся.

Оказывается, есть то, о чем я не могу написать даже себе в этой тетради.

У меня нет слов.

Один товарищ, с которым я беседовал, сказал, что Европа существует дольше России. У них раньше появилась промышленность. И у них колонии, которые они грабят.

Да, все это так. Я о другом, о том, как живут люди, как одеваются и что едят. О простых вещах. По сравнению с ними, мы выглядим грязными нищими. У нас беззубые рты, плохая кожа, даже волосы пострижены будто овечьими ножницами, хотя некоторые и стараются, особенно женщины. Про одежду даже нечего говорить, мы почему-то все мятые, будто в чем ходим, в том работаем, в том и спим. Часто так оно и бывает. У моих соседей Шмулиных, когда

стирка, все сидят дома, потому что нет смены, все в одном экземпляре. Я смотрел там вокруг, и у меня в голове вертелось одно слово: порядок. А здесь у меня тоже вертится одно слово: грязь. И я поэтому рад, что хотя бы на своем предприятии занят чистотой, за которую мне не стыдно ни перед какими немцами.

Но у них фашистский порядок, это надо помнить. И энтузиазм у них фашистский, не такой, как наш.

Но все равно я никак не могу избавиться от плохого настроения.

Читаю Чехова, который помогает мне понять, что жизнь довольно печальная штука. Для всех людей.

### **23.10.36**

Не знаю, что происходит. Опять, как когда-то, на меня напала сонливость и тупость. У меня все хорошо, с детьми все хорошо, вообще все хорошо, но я встаю каждое утро хмурый и разбитый. И с больной душой. С какой-то тоской. Даже в лагере со мной такого не было. Наоборот, я там был бодрый, у меня была цель – выжить и сохраниться.

### **12.11.36**

Это было временно. Преодолею. Помогла работа – производил расчеты, почему недостаточно малые сроки ремонта. Вывод, как ни странно, простой: пока кто-то меняет, к примеру, дымогарные трубы, что очень трудоемко и долго, другие точат мелкие детали. Одни уже кончили работу и бездействуют, другие продолжают работу. Нужно две меры. 1. Обучение рабочих смежным специальностям. Кончи-



лась слесарная работа, перешел на монтаж или клепку. 2. Расширение корпусов, чтобы на ремонт ставить 5–6 и больше паровозов. Тогда все будут заняты.

Познакомил со своими расчетами Берндта Адамовича. Тот похвалил меня и удивился, что сам не думал о таких простых вещах. Сказал: «Заела текучка!»

Составляем план реализации и ходатайство в НКПС о расширении. Нужен план строительства, специалисты. Но сначала – разрешение. При этом в результате все работы будут производиться без увеличения количества занятых. Плюс обучение без отрыва от производства.

### **16.12.36**

Огромное несчастье – взрыв котла на паровозе М160-01, который только что вышел из нашего ремонта. Погибли люди. Как это могло случиться, ума не приложу. Либо грубые ошибки при эксплуатации, либо диверсия. Об этом много говорят. Я не исключаю оба варианта. Страшно жаль. Это у нас впервые.

### **24.12.36**

Не хочу об этом писать. Но придется. Меня исключили из партии. Во мне кипят обида и даже злость, но не хочу сейчас выплескивать эмоции. Обвинили в том, что я скрыл при приеме то, что отбывал наказание в колонии. Я возразил: «Как это можно скрыть? Об этом все знали». Мне показали мою автобиографию, где я написал, что отбывал трудовую повинность. Я напомнил, что они сами мне так велели написать. Сырцов закричал, что нечего валить на других, автобиогра-

фия так и называется, потому что человек пишет про себя сам. Сам писал, сам и отвечай.

Обвинили также, что я развел частную собственность. То есть с моей подачи рабочие завели себе личные инструменты с клеймом. Я объяснил, зачем это, что это не личные инструменты, а общие под личной ответственностью, разные вещи. И что это одобрено на всех инстанциях. Они сказали, что инстанции сверху не всегда видят то, что творится на местах.

Но самое обидное, что обвинили в присвоении идей и рационализаторских предложений из книги Журавлева. Но я никогда не скрывал, что пользовался этой книгой, а также статьями и книгами Гастева и многих других, по моей просьбе их выписывали в библиотеку. Мне возразили, что я прикрылся этими книгами, чтобы иметь аргументы на случай провала. Которыми сейчас и воспользовался. Я был настолько в сумятице души, что даже не сумел провести с ними полемику. Меня как ударило током. Все гудело в голове.

Добило то, что мне даже поставили в вину поездку в Германию.

Я сказал: «Вы же сами одобрили и послали, чтобы перенять опыт».

Они сказали: «Ты должен был передавать наш опыт и наш образ жизни, а фашистский опыт нам не нужен! Если ты так понял задачу, значит ты ее сознательно извратил, и надо еще рассмотреть, с какой целью!»

Я не знаю, как быть.

### *13.01.37, второй день шестидневки, пятница*

В конце года не подвел итог, не было сил и желания. Да и сейчас не хочу. И не до этого. Но все же напишу.

Я теперь понял, к чему было все это — исключение из партии, обвинения в разных вещах. Оказывается, у нас нашли группу вредителей, а меня считают чуть не главным. И будто бы мы виноваты во взрыве М160. Сегодня утром вызывали и говорили про это. Я разнервничался и сказал, что это клевет, что надо привлечь к ответу тех, кто клеветает на лучших специалистов, потому что они и есть настоящие вредители. Но мне дали посмотреть показания Бунчука и Степаниды. И других. Я не хочу перечислять, что они там написали, мне противно и стыдно за них. Я опять разнервничался, все отрицал. Сказал, что готов сесть в тюрьму и ответить, если докажут, что я виноват. Мне сказали, что сесть я всегда успею, а пока должен составить список, с кем я осуществлял свои планы. И отпустили. Сырцов сказал мне в спину в ответ на чьи-то возражения: «Он никуда не денется от двух детей. А дома ему лучше будет видно, что он может потерять».

И я здесь, в этой тетради, где я никогда не вру, заявляю, что все эти годы честно трудился на благо народа, Советской Власти и Партии. Я ничем не мешал великой цели нашей любимой страны, наоборот, делал все, чтобы облегчить путь к этой цели под руководством товарища Сталина. Я готов обратиться лично к нему и доказать свою невиновность. Отбросив эмоции, скажу, что будет нерационально посадить в тюрьму квалифицированного специалиста. Если он вредит, то да, но в чем мое вредительство, если я с помощью товарищей увеличил за два года производительность на 230%, что официально зафиксировано во всех отчетах.

### 20.01.37

Прошла неделя, я сижу дома. Отстранен от работы и от всего. Вчера ночью заходил Берндт Адамович.

Сказал, что его вызывали и спрашивали, с какой целью он собирался расширять цеха? Не для того ли, чтобы поместить больше паровозов, чтобы разом их уничтожить и нанести непоправимый урон подвижному составу?

Он очень волновался и повторял: “Diese Idioten haben sich selbst eine Grube gegraben!”\*.

И ушел, а я вслед за ним повторял: грубе геграбен, грубе геграбен.

Звучит, как гроб.

Кто знает, может, в русском и немецком языках это слова одного корня?

Грубе геграбен...

Еще слово грубый оттуда же.

И грабить. Грабли.

Много интересных слов, много интересного на свете, чего я еще не знаю. Успею ли узнать, дадут ли?

Надо рассказать обо всем Володе. Может, показать тетрадь. Не давать читать пока, но показать, где она будет. И сказать устно, что первые будут последними. И наоборот. В том смысле, что ложь часто выигрывает бой, но проигрывает войну.

Ему всего 15, но он поймет. Очень сообразительный. Умней меня намного, как и должно быть для развития поколений.

Нет, не буду говорить Володе про тетрадь. Это может сыграть для него плохую службу.

Он и без этого все поймет, я верю.

Он сам что-то пишет, я ему в прошлом году подарил тетрадь, которую купил для продолжения, потому что эта кончается. Хотя большая, как амбарная книга, надолго хватило, но всему приходит конец. Пока еще есть немного места, пишу здесь. А ему сказал, чтобы он записывал события, это помогает по-

---

\* Эти идиоты сами себе вырыли яму! (Нем.)

нять свое место в окружающей действительности. И он что-то начал, мне интересно, но не спрашиваю, не смущаю.

Мой Володенька, моя Катенька. Моя погибшая Валечка.

Да и Ксению с Екатериной жалко, жили бы да жили. И наши дети. И отец с мамой. Нет, никого нет.

Грубе геграбен, грубе геграбен, грубе геграбен.

Сижу и пишу эти слова как заколдованный.

Что со мной будет, неизвестно.

*Часть II*

Дневник  
и письма  
Владимира  
Смирнова

1936 – 1941

## Подвиг Пабло\*

### Рассказ

Пабло был сын испанского кулака Хуана. Хуан имел много добра и угнетал окружающих крестьян. Он заставлял их на себя работать. А сам только лежал на печи и ничего не делал. Однажды ночью у него пропала корова. Она заблудилась в лесу. Хуан сказал сыну:

«Пабло, иди и найди мою корову!»

Пабло не хотел идти, он стеснялся, что отец так волнуется за свое добро. И в лесу там была стая волков, она напала на скот и людей.

Старушка-мать сказала Хуану:

«Отец, куда ты посылаешь его ночью, его могут сгрызть волки!»

Но отец был жестокий. И он сказал:

«Пусть сгрызут! Одним голодным ртом будет меньше!»

И злобно захохотал.

Делать нечего, Пабло пошел в лес.

Там он не нашел коровы, но нашел только одни ее кости. Ее сгрызли волки.

Пабло пошел назад, но тут его встретила стая. Они наступали и оскальзывали страшные зубы. Но Пабло не побегал, он схватил палку, поджег ее и пошел на стаю, махая палкой с огнем. Волки испугались и отступили.

---

\* Это первая запись Володи Смирнова в тетради, подаренной ему отцом. Рассказ перебелен красивым наклонным почерком, похожим на книжный курсив. Свой же почерк у Володи прямой, буквы плотнее.

Когда он вернулся, то рассказал про это отцу. Но тот не поверил. Он сказал:

«Ты трус, ты убежал от волков и не спас мою корову!»

И ударил Пабло по лицу кулаком. Старушка-мать бросилась защититиь, но Хуан схватил вилы и воткнул ей в бок. Она упала и умерла.

Тогда Пабло следующей ночью убежал из дома.

Он скитался три дня и три ночи. Он уже умирал от голода, когда его подобрал отряд красных испанцев, революционеров. Они накормили его и одели в форму. И дали ему винтовку.

Командиром отряда был храбрый Санчо. Он спросил Пабло:

«За что ты ушел из дома?»

Пабло честно ответил:

«Мой отец посчитал меня трусом!»

Санчо задумался, но ничего не сказал.

Вдруг на них напали фашисты. Они стреляли из пулеметов и пушек. Красные бойцы спрятались. У них было мало вооружения. Но тут Санчо вскочил на баррикаду и крикнул:

«Мы будем наступать! Вперед!»

И все как один поднялись и побежали в атаку. Они сме-ли с лица земли всех фашистов. Но один фашист остался живой, только раненый. Он лежал и злобно смотрел на красных испанцев. Он взял ружье, прицелился в командира Санчо. Но это заметил Пабло и бросился перед Санчо. Пуля вонзилась ему в грудь. Тут наши заметили фашиста и доби-ли его.

Пабло умирал на руках у командира.

Командир сурово сказал:

«Ты не трус, Пабло, ты герой! Ты меня спас от смерти!»

И Пабло улыбнулся.

Там в это время проезжал мимо кулак Хуан. Он увидел геройскую смерть сына и сказал:

«Я зря его обвинил, мой сын не трус, а герой Революции!»



*И стал рыдать горькими слезами, но было уже поздно.*

*А Пабло поставили памятник, хотя он делал это не для славы, а для Родины. Но люди никогда не забудут этот подвиг.*

### **3 декабря 1936 года**

Я послал этот рассказ и письмо Островскому. Оно было сначала длинное, на 3 стр., я сократил до 1 стр., чтобы ему легче читать.

### **Письмо**

*Мой любимый и уважаемый Человек Н.А. Островский! Я много раз читал Вашу «Как закалялась сталь». Я знаю, что Павка Корчагин – это Вы. И что Вы в 15 лет пошли воевать за Советскую Власть в Гражданской Войне.*

*У нас много общего. Я тоже почти сирота, у Вас не было отца, а моя мать навсегда уехала, а настоящая мама, которая воспитывала, погибла от рук белобандитов. Мне сейчас тоже 15 лет, как Вам тогда. Но я сейчас не могу пойти воевать, так рано не берут.*

*Но я хочу брать с Вас пример, в 18 лет я попрошусь добровольцем в Красную Армию. Мне сказали, что туда берут добровольцев с 18. Или в военное училище после средней школы. Я хочу драться с врагами, даже если меня всего поранят, как Вас. А потом тоже написать книгу. Я придумал название – «Закаленная сталь». Оно Вам нравится? Как Вы считаете, из меня получится писатель? Я пишу сочинения только на отлично. А весной написал рассказ про испанского мальчика-героя и победил в городском конкурсе сочинений. Я посылаю его Вам. Там мальчика зовут тоже Пабло, то есть как Павла Корчагина, но по-испански. А еще как Павлика Морозова.*

*Летом у меня будут каникулы. Я читал, что Вы диктуете свою новую книгу всем, кто хочет помочь. Я могу приехать и тоже все записывать, у меня хороший почерк. Я не хвалюсь, так говорят учителя.*

*До свидания, мой любимый писатель, живите долго на счастье нашей могучей страны.*

*С уважением*

*Владимир Смирнов.*

**4 декабря**

Сегодня первым открыл почтовый ящик. Уже жду письмо. Но этого же не может быть. Его и не было. Были только газеты.

**13 декабря**

Письма нет. С какой стати ему мне отвечать. Он занят.

**17 декабря**

Прошло 2 недели. Нет.

**20 декабря**

Нет.

**21 декабря**

Нет. Не надо больше ждать. Или до нового года.  
*Я обещаю себе до нового года не смотреть почтовый ящик.*

## 23 декабря

Я открыл, но только за газетами.

Я увидел заголовки во всех газетах, что Н.А. Островский умер.

Меня будто ударило потолком в голову. Я даже сел. Газеты рассыпались, среди них было письмо. Я увидел в обратном адресе фамилию «Островский» и не мог поверить. Пришел домой и залез к себе в чулан. Открыл письмо.

Я прочитал его много раз. И только тогда дошло, что это совпадение. Человека уже нет, а я получил от него письмо. То есть пришла газета, что он умер, а письмо от живого.

Я до сих пор не могу это понять и поверить.

### *Письмо Островского*

*Здравствуй, мой юный товарищ!*

*Спасибо за твое письмо!*

*Мне нравится, что ты хочешь стать писателем, но сначала надо прожить большую жизнь. И хорошо учиться.*

*Название книги интересное.*

*С рассказом сейчас ознакомиться не могу, много работы. Уважаемые эскулапы призывают отдохнуть, но отдыхать некогда.*

*Я уверен, что у тебя все получится. Мне рассказали в общих чертах содержание рассказа. Про испанского мальчика – отличная идея, но все же лучше про то, что ты хорошо знаешь.*

*Успеха и светлого будущего тебе и твоему прекрасному поколению! Пусть будет 1937 год годом великих свершений и побед в борьбе за светлое будущее человечества!*

*С уважением*

*Н. Островский.*

Письмо на машинке, но подпись от руки.

Я опять сейчас его перечитываю. Кажется, что слова «*Название книги интересное*» напечатаны красными буквами. Или они так вспыхивают в моей голове.

Ведь это значит, что он в меня поверил!

## 24 декабря

После школы я показал Тасе и Роману письмо.

Роман сказал, что я написал его сам себе. На машинке, чтобы не узнали почерк. А подпись подделал. Я показал ему конверт и штампы. Он заткнулся. Тася ничего не сказала. Я не понял, как она отнеслась. Как будто ей все равно. Или она так показывает.

Потом она ушла, а Роман сказал, что я показал письмо ему и Тасе, чтобы понравиться Тасе. Умер великий человек, а я это использую для своей выгоды. Это удар для нашего народа, а я этим хвастаюсь, как предатель. И что я готов на любую подлость, чтобы понравиться Тасе.

Я не согласился, а сейчас думаю, что он сказал правду. Да, я использовал письмо в личных целях. Чтобы понравиться Тасе. Я поступил пусть не как предатель, но как гад.

Но теперь я честно пишу об этом.

И буду записывать дальше, чтобы вести контроль за собой.

Я раньше тоже записывал мысли и впечатления. Но это было детство. Я теперь совсем другой человек. Я все начинаю заново, отказываюсь от своего *подленького и мелочного прошлого\** ради другой жизни.

---

\* Цитата из романа «Как закалялась сталь».

*31 декабря 1936 г.*

Планы на год

Успеваемость только на «отлично». В крайнем случае по двум предм. «хорошо».

Нормы БГТО — на золотой значок.

Тася — ? Зависит не от меня.

Читать по 3 книги в нед.

И 4 газеты кажд. день. Плюс журналы.

Закалка.

*31 января 1937 г.*

Дорогой Павка!

Я давно уже в мыслях говорю с тобой и обращаюсь к тебе, а теперь буду делать это письменно. Чтобы, как в поговорке: написано пером — не вырубишь топором. Когда был жив Н.А. Островский, то есть ты и твой автор в одном лице, у меня было ощущение, что вы оба живы. Он геройски умер, но ты остаешься живой, и это заслуга жанра литературы. Я тоже хочу этим заняться, но сначала сделать что-то такое, чтобы об этом можно написать.

Я беру с тебя пример и хочу быть похожим на тебя. Но так получается, что у меня и без этого есть похожая на тебя история. Тебе встретила дворянская испорченная девушка Тоня Туманова, а со мной в классе учится Тася Риглер, она тоже похожа на аристократку и на всех смотрит свысока. У нее отец большой начальник. Но мы все-таки дружим с ней и с Романом Кашиным. Роман очень умный, он у нас активист, он человек хорошей внешности. Наверное, он нравится Тасе. Если это произойдет, я отойду в сторону. Но она пока ничего никому не показывает.

Я уже совершил один позорный поступок, когда показал ей письмо от Н.А. Островского, больше не повторю эту ошибку.

Я с прошлого года делаю зарядку не меньше 15 мин. и обливаюсь ведром холодной воды. Иногда болею, но все равно обливаюсь. Мне стыдно болеть, я вспоминаю, как ты работал в холодной грязи с порванным сапогом и больной и не жаловался. Наоборот, первым брался за трудные дела.

Пока не знаю, что еще написать. Все идет по плану.

### *5 февраля*

Товарищ Павка, три дня назад мой отец, Николай Тимофеевич, уехал с людьми, которые к нам пришли. Я не знаю, что об этом думать. Если он не виноват, то разберутся. А если виноват, тогда пусть будет по закону. Об этом страшно думать, но в газетах я вижу, что люди, которые всем казались честными, оказались последними врагами. Мне отец говорил всегда правильные вещи. Я сказал об этом Роману, но он сказал, что, если кто враг, он скрывается, он как раз будет говорить только правильные вещи. Он мне это сказал громко, на весь класс, чтобы все слышали. Чтобы не подумали, что у него со мной какие-то тайные разговоры.

Меня все обходят, будто я заразный. Я получаюсь виноватый, хотя ни в чем не виноват. Мне это стало так тяжело, что я никого из своего класса не хочу видеть. Я вчера пошел к директору Олегу Алексеичу и попросился в другой класс. Но он вместо этого пошел со мной в класс и всем напомнил слова товарища Сталина: *сын за отца не отвечает*. И все обрадовались. У нас же хорошие ребята, отличные товарищи. Я тоже радовался, будто куда-то уезжал, а теперь вернулся.

## *28 февраля*

Дорогой мой товарищ Павка!

Я живу у деда, Берндта Адамовича. Он уже пожилой, но работает. И бабушка Мария Фридриховна работает, дает уроки. Они хорошие люди. Но иногда мне кажется, что они, как отец, говорят правильные вещи, а думают что-то совсем другое. Тебе было легче, ты из пролетарской семьи, а вокруг меня чужие люди. Ты резко и честно со всеми поступал, а мне трудно сделать, чтобы они не обиделись. Поэтому я часто молчу. Я не могу никому ничего сказать, только тебе.

Мне часто снятся разные сны. В том числе взрослые. Ты меня понимаешь.

Из этих снов половина про Тасю.

Я после этого прихожу в школу, и мне перед ней стыдно, будто она как-то может узнать, что я ее видел во сне.

Ты тоже любил Тоню крепкой любовью, но сумел побороть себя. У меня такая же цель с Тасей. Потому что она тоже чужой человек. Я это понимаю и вижу.

## *3 марта*

Павел, может, мне попроситься в колонию к Макаренко? Я читал «Педагогическую поэму», замечательная книга. Мне там все очень понравилось. А ведь они были почти преступники. Но стали жить дружно и вместе. И работать. Я не преступник, но откуда я знаю, что у меня в голове? Почему мне иногда снится, что меня казнят расстрелом и читают приговор за измену Родине? На площади, на каком-то помосте, и весь город смотрит. Может, во мне сидит предатель, а я его не чувствую? А если я попаду в колонию, то мне не дадут стать плохим человеком.

Я уже хотел написать письмо в колонию или самому Макаренко, чтобы меня туда взяли, но вспомнил, что где-то читал, что их не берут в армию. Потому что хоть они и исправляются, но есть судимость, а с судимостью не берут. А это моя цель, так что надо потерпеть.

### *8 марта*

Павка, тебя часто заносило в мелкобуржуазную среду, но ты с ней боролся. А как быть, если это родственники и близкие люди? Вчера мы были в гостях у Риглеров, родителей Таси. Мои дедушка и бабушка, тетя Имма, мои двоюродные брат Максим и сестра Софья. Там было много людей. У Таси отец начальник, а мама врач. Все там было, как до революции, будто мы какие-то дворяне, а не граждане первого в мире Советского государства. Я был в новом костюме. Я не хотел сначала его одевать, но вспомнил, что ты тоже купил новую рубашку, когда влюбился в Тоню. То есть и у крепких людей бывают маленькие слабости.

Тася говорила со мной не так, как в школе. Будто уже взрослая женщина. Она притворялась, мне это было противно. Я отвечал ей просто и грубо, как ты отвечал, когда не хотел унижения. Она удивлялась и даже чуть не заплакала. Но я вытерпел ее слезы. Она будет меня ненавидеть. Это хорошо, потому что правильно.

### *9 марта*

Здравствуй, Павел, я продолжаю свой рассказ о моей непростой жизни в личном плане.

Сегодня она спросила, почему я так себя вел. Я спросил:



«А как?»

Она сказала:

«Будто я что-то тебе плохое сделала».

Я сказал:

«Если тебе не нравится, можешь со мной не говорить».

Она сказала:

«Спасибо».

### *11 марта*

Она не говорит со мной уже три дня. Я скучаю, но выдерживаю. Это мой характер.

Братишечка Павел! Я называю тебя так, потому что считаю старшим братом. Извини, что столько пишу про любовь. Но это честно. Я мог бы промолчать, но это было бы вранье. Но на самом деле я много делаю для будущего. Я готовлю себя и много тренируюсь. Результаты у меня уже на 3 ступень ГТО по подтягиванию и подъему переворотом. Даже больше, подтягивание 15 раз (надо 12), а переворот 5 (надо 4), прыжок в длину 2.92 м (надо 2.80), в высоту не дотягиваю, 1.25, а надо 1.30 даже для 2 ступени.

### *21 марта*

Товарищ Павел, у меня такие успехи: подтягиваюсь уже 18 раз, переворот 6. Прыжок в длину 3.05, в высоту пока только 1.28. Я как-то не так прыгаю. У нас ни у кого не получается 1.30, только у Курта Пфлюга, он очень высокий. Стоя прыгает.

Я знаю, что у меня впереди большие испытания и трудности. Время вокруг нашей страны опасное и тревожное. Будет война и защита Родины, мне надо быть готовым. Я могу оказаться так, что у меня не

будет воды и еды. Как бывает, когда окружают враги в крепости или где-то. И надо будет терпеть. С прошлого понедельника я ничего не ел, только пил. Три дня. Но это оказалось легко. Мне хотелось есть только первый день и немного второй, а на третий почти уже нет. Тогда я перестал пить. Не пил полтора дня. Но на уроке упал. Мне принесли воды, я выпил, стало легче. Надо мной смеялись, что я упал в обморок, как девчонка. А это был не обморок, а я потерял сознание от голода и жажды. Но я не стал ничего объяснять. Я понял, что умею терпеть.

Еще я ходил пешком. Во время войны, хотя все будут двигаться на технике, но возможны длинные пешие переходы по пересеченной местности. И невзирая на погоду. Я решил узнать, сколько я пройду за день. Вышел из Энгельса в 7:00 с целью дойти до Маркштадта к 18:00–19:00, учитывая среднюю скорость пешехода 5 км в час, расстояние до Маркштадта (50 км) и остановки на отдых. Сначала шел дорогой, но ведь при войне иногда нужно будет брать прямое направление, я пошел по компасу. Во многих местах еще лежал снег, как зимой. Компас у меня был плохой, школьный, из-за него я заблудился. И быстро стемнело, и я натер ногу. Чтобы не заблудиться окончательно, я начал искать стог сена, чтобы переночевать, но нигде не нашел. Тогда вырыл нору в сугробе, в овраге, постелил мешковину, постепенно согрелся и заснул. Утром пошел дальше. Переходил овраги и речки, которые еще были замерзшие, но один раз все-таки чуть не провалился. Через четыре часа оказался в селе Роледер\*. Это не на северо-востоке, где Маркштадт, а на востоке (подвел компас!), но тоже почти 50 км. Оттуда днем с попутными немецкими колхозниками вернулся в Энгельс, там уже обо мне

---

\* Ныне — село Раскатово.

беспокоились. Так я понял, что на практике все может оказаться сложнее, чем в теории. Т.е., к примеру, наступать пешим порядком получится, по моим расчетам (учитывая сопротивление противника, бои и перестрелки) не больше 20 км в день.

Я продолжил свои испытания.

Я всегда боялся боли. Пишу честно, как всё остальное. Я взял молоток и стал бить себя по пальцу. Было больно, но я обещал себе, что разобью до крови. И разбил, пошла кровь. Я перестал, но мне вдруг показалось, будто ты сказал мне: «Ты остановился, потому что было больно, но терпимо, ты обманул. А как ты вытерпишь настоящую боль?» Тогда я ударил изо всей силы. У меня оказался сломанный палец, мне его замотали в гипс вместе с другим пальцем.

Братишка Павел, это я не хвастаюсь, а даю тебе просто отчет. А то подумаешь, что это я чтобы похвалиться. Какой герой, разбил палец. Но это не геройство, а испытание. Если меня схватят враги и будут пытаться, я теперь смогу выдержать. Я буду смеяться им в лицо.

### *12 апреля*

Подтягивания — 20.

Переворот — 8.

Длина — 3.10.

Высота — 1.32. !!!

«Уд». по геогр. — забыл тетрадь. Исправить.

### *15 апреля*

Товарищ Павел, у нас есть прикрепления. Хороших учеников прикрепляют к отстающим, чтобы они их подтягивали. Меня прикрепили к Соне Ильчиной по

геометрии и алгебре. С остальными предметами у нее нормально, а по математике отстает. Соня другая, чем Тася. Тася спокойная и очень гордая, а Соня любит посмеяться. Я отказывался от нее, но меня не послушали. Я хотел с ней позаниматься после уроков в школе, но она сказала, что ее бабушка ждет дома. Мы пошли к ней домой. Бабушки там не было, она куда-то ушла. Мы пообедали и стали заниматься. Соня не давала нормально заниматься, смеялась и щекотала меня волосами по лицу. Она сказала, что на самом деле не виновата по математике, а Иван Кузьмич к ней придирается. Он старый, а она такая молодая и красивая, вот он и завидует. Это она про себя сказала, что молодая и красивая. Это правда, но разве этим хвалятся?

Дальше не знаю, как объяснить. Мы оказались очень близко лицами, и я зачем-то поцеловал ее в щеку. Даже не поцеловал, а просто дотронулся губами до щеки. И она не отодвинулась, а только повернула голову и вопросительно посмотрела на меня. Тогда я поцеловал ее в губы, а потом зачем-то спросил пастушеским голосом — будто делаю это с кем попало и не первый раз, будто хвалюсь, что я такой смелый:

«Ну как? Понравилось?»

Я сейчас вот пишу и даже начал мычать, как от зубной боли, до того мне противно вспоминать эти слова.

Она вытерла рукой губы и закричала:

«Бессовестный! Хулиган! Ты зачем сюда пришел?»

Как будто я сам пришел, а не она меня позвала.

Мне было так плохо, когда я шел домой, что я просто хотел умереть. И мычал, как сейчас.

Это было вчера. Сегодня я шел в школу и думал, что она там рассказала всем про мой позор. Но она не рассказала. Вела себя так, будто ничего не было. Я не выдержал, подошел и тихо сказал:

«Извини, я нечаянно».

А она улыбнулась и сказала:

«Ну ты и дурачок!»

Даже как-то по-доброму.

А потом, через два урока, сказала:

«Не переживай, я рассказала бабушке, она сказала, что ничего страшного. Но слишком рано. Ты понял? А еще она сказала, что вас никого не надо принимать всерьез».

Хорошо Соне, она может поговорить хоть с бабушкой. А мне не с кем, Павка, только с тобой.

Я опять с ней занимался, но в классе. Она в этот раз не смеялась. А как-то на меня смотрела. Как-то странно.

### *16 апреля*

Мы опять занимались у нее дома. Но получалось плохо, она не слушала, а я плохо объяснял. Она спросила, зачем я ее поцеловал? Просто так или потому, что она мне нравится?

Я сказал, что просто так, хотя она нравится.

Она сказала, что хочет отомстить, и тоже поцеловала меня в губы. Очень быстро, сразу отвернулась и сказала, что надо заниматься.

Но после этого мы уже не могли нормально заниматься, я ушел.

### *19 апреля*

Сегодня Соня у доски не решила задачу, совсем простую, мне сказали, что я плохо с ней занимаюсь, а она мне сказала, что придется опять взять ее на буксир.

Мы пошли к ней.

Мы все время молчали, будто знали, зачем идем, но не хотели говорить.

Бабушки опять не было.

Мы быстро поели и сели заниматься.

Она занималась серьезно. Но как-то второпях. Будто хотела скорей закончить. И я тоже почему-то торопился. Мы все решили и сделали, что было надо.

И долго сидели рядом, про что-то говорили. Потом она встала, взяла книгу и сказала, что любит слушать, когда читают вслух. И села на кровать. Я сел рядом, чтобы почитать ей вслух. Она слушала и прилегла. А потом перебила меня и сказала:

«Давай попробуем еще раз».

Я сразу догадался, что она имеет в виду. И не придумал повода отказаться. Я отложил книгу и начал над ней нагибаться. Но у кровати был пружинный матрас, прогнутый посередине, поэтому получилось, что я почти упал, но удержался одной рукой о стену, а второй рукой попал на Соню. Получилось, будто щупаю пальцами то, на что попал. Она вскрикнула, столкнула меня и прогнала.

## *23 апреля*

В школе Соня смотрела на меня как на какую-нибудь жабу и вся кривилась. И держалась подальше. А потом шла мимо по коридору и сказала, а сама глядела в сторону:

«Если кому скажешь, тебе не жить. Я тогда всем про тебя расскажу!»

Я сначала не понял. Не велит рассказывать, а сама грозит рассказать. Но потом понял, она ведь расскажет не так, как было — что она сама предложила, а так, будто я это предложил. Мне даже стало страш-

но. Ведь если мы оба скажем, то поверят не мне, а ей. Так получается, что у нас всегда верят девчонкам, если они жалуются на мальчишек. А нам не верят, если мы про них что-то говорим. Но мы про них не говорим, у нас считается позорно ябедничать.

### *25 апреля*

Павел, я оказываюсь совсем другой, чем ты. Ты относился к девушкам как к товарищам, а я так не умею. Я вижу в них анатомический театр. Так недавно сказала наша литераторша Берта Адольфовна. Она вызвала Веру Миловач, та шла к доске, а Берта Адольфовна сказала с улыбкой: «Хоть сейчас в анатомический театр». Мы не поняли, а она сказала, что это из романа «Отцы и дети» Тургенева, мы сами должны это помнить.

Я не помнил, пришел домой и нашел это место. Это про очень красивую женщину. Там Базаров еще про нее говорит: «Экое богатое тело!»

Да, это про Веру. Она высокая и очень красивая. Когда я на нее смотрю, я тоже об этом думаю, хоть и другими словами. И про других тоже думаю. Занимаюсь физкультурой, учусь, читаю, все время что-то делаю, но не помогает. Если кто-то из девчонок идет к доске, я смотрю и все вижу. У некоторых еще особо не на что смотреть, но многие у нас совсем взрослые, а них уже все, как у женщин. И мне почему-то становится очень грустно. Даже почти какая-то тоска.

И вот я смотрел на Веру и увидел, что Соня видит, как я смотрю, и улыбается. Будто все понимает. Но улыбается так, будто все простила. Это было непонятно.

После уроков она спросила:

«Тебе нравится Вера? Еще бы, анатомический театр!»

Я чуть не вздрогнул, она сказала то самое, про что я думал в последнее время. Хотя Соня тоже ведь слышала, что говорила Берта Адольфовна. Просто совпадение.

Я сказал:

«Никакой не театр, а я просто в уме решал упражнение, а тебе показалось».

Соня сказала, что она опять все запустила по математике, нужно позаниматься.

Я громко сказал, что с отстающими заниматься не умею и больше не буду.

Она обиделась.

Это еще не все, потом подошел Роман и сказал:

«Молодец. Закричал на Соню, чтобы все слышали, что к тебе девушки лезут, а ты их отбрываешь. Так держать».

Я вовсе не об этом думал, когда говорил с Соней, но тут подумал, что Роман говорит правду. Я действительно сказал слишком громко. Но я ему возразил:

«Если ты был близко, не значит, что другие слышали».

Он сказал:

«Главное, что слышала Тася. Ты же для нее все это делаешь? Правильно, она смелых любит. У них родственник недавно гостил, знаешь, что он с ней делал?»

И весь скривился в улыбке.

Я не стал слушать про родственника, я ударил Романа.

И тут такой момент, товарищ Павел. Я не хотел его бить. Я никогда еще никого не бил. Мне это не нравится. И я скажу честно, что немножко боялся. Роман высокий и сильный. Он такой не от физкультуры, а такой растет. И у меня не было злости. Но когда он сказал про Тасю нехорошее, а собирался сказать что-



то еще хуже, я понял, что надо ударить. То есть я не хотел, но подумал, что это правильно. И ударил. Он выругался и пошел от меня.

Но я не знаю, хорошо это или нет. Я ударил его по плану, а не от\*

И самое позорное то, что я видел Тасю, которая смотрела на нас. Я видел и понимал, что она увидит, как я ударю. То есть я ударил и для нее, чтобы похвастаться. И она улыбалась. И я тоже ей улыбнулся. То есть получается, что Роман кругом прав, я все делаю для Таси? В том числе ударил?

Мне от этого стало так плохо, что я подошел к Роману и сказал:

«Мне не надо это было делать при Тасе. Я сволочь. Можешь меня тоже ударить. При ней».

Он сказал:

«Да ладно. Еще ударю, не волнуйся. А что сволочь, то все сволочи».

Я удивился и сказал:

«Про кого ты говоришь?»

Он сказал:

«Про всех».

Я сказал:

«И ты сволочь?»

Он засмеялся и крикнул:

«Конечно!»

А потом еще больше засмеялся и начал хлопать меня по плечу. Сказал, что пошутил. И что я удивительный человек. Но он меня обязательно тоже ударит, только потом. Или убьет до смерти.

Он ничего не говорит серьезно. Но на собраниях все говорит серьезно. Там не пошутить.

И все равно я чувствую каким-то очень гадким человеком.

---

\* Не дописано.

И не знаю, что с этим делать. Но даю себе обещание об этом не думать. И не обращать внимания на Соню и Тасю. И на Веру. И всех остальных. Мне не до этого.

*1 мая*

Дорогой товарищ Павел!

Сейчас расскажу очень важные события.

Вчера была сдача норм БГТО перед праздником. Я получил золотой значок 2 ступени, хотя набрал баллов на 3 ступень, но она начинается с 16 лет, досрочно значки не дают. Дали золотой 2 ступени.

Но была неприятность. У нас на золотой сдали я, Роман и еще двое. Всего четверо. Физорг Сергей Матвеевич записывал результаты в тетрадь. Я не подглядывал, просто смотрел, что он пишет. Мне было приятно видеть свои цифры.

Потом пришел директор Олег Алексеевич. И еще другие. И Сергей Матвеевич стал объявлять, кто как сдал. И оказалось, что сдали БГТО все. И что на серебряный значок восемь человек, а на золотой шесть. У нас очень хороший класс. Но я видел, что не все сдали нормативы. А две девочки совсем не сдавали, они сидели. Тася и еще одна. Но Тася, оказалось, что тоже сдала БГТО. Олег Алексеевич хвалил, а у меня все было в тумане. Даже закружилась голова. Я почувствовал возмущение. Но я думал, что если что-то скажу, то все подумают, что я обиделся. Я тренировался и старался, мне дали значок. Это честно. А другой ничего не делал, ему тоже дали. Это нечестно. И мне ведь не жалко, просто несправедливо. А еще мне мешала мысль про Тасю, что я ее предаю, если скажу.

Но я вспомнил тебя, что говорить надо даже неприятную правду. Даже если на тебя обидятся. Тебя

тоже подозревали в плохих чувствах, по которым ты говорил правду. Что ты хочешь продвинуться в руководство. Но ты ведь знал про себя, что это не так.

И я выступил и сказал, что все неправильно. Олег Алексеевич спросил, как это? Все смотрели на меня с испугом. А я сказал, что видел, как Сергей Матвеевич записывал в тетрадь карандашом, а потом обводил чернилами. И что чернилами получилось не так, как карандашом, а будто все сдали. На самом деле некоторые даже вовсе не сдавали. А цифры у всех такие, что хоть на соревнования. И еще я сказал, что почему-то у нас у всех считается вторая ступень, то есть 14–15 лет, а на самом деле больше половины класса у нас уже 16 лет. Им надо сдавать на третью ступень.

Да, у нас многим исполнилось 16 лет, хотя есть весенние или летние, как я, им еще нет. Когда кончу школу, будет только 16, а 17 исполнится летом.

Сергей Матвеевич стал ругать меня за клевету, но Олег Алексеевич сказал ему успокоиться. Он объяснил, что сдача нормативов — это результат, а сдавали весь год понемножку, и что Сергей Матвеевич это учел. В том числе тех, кто сидел. То есть это общие результаты, включая те, которые были тогда, когда всем было 14–15 лет, а не 16. Я сказал, что и весь год я у некоторых не видел, чтобы они сдавали. Пусть подтянутся хотя бы три раза. Михальчук не может даже одного, он толстый.

Павел, я сказал это не для обиды Михальчука, он хороший человек, а для правды.

Но Олег Алексеевич сказал:

«Разве теперь ты у нас учитель, что весь год следишь, кто как сдает?»

И все засмеялись.

А потом Олег Алексеевич рассердился на меня и сказал, что, если Михальчук немного толще от при-

роды, это не значит его вычеркнуть из жизни и не давать ему возможностей.

«Может, его и в школу не пускать?» — спросил Олег Алексеевич.

И все засмеялись.

Я сказал:

«Тогда я не понимаю, за что дают значки. Я видел, что у Сергея Матвеевича было восемь серебряных и шесть золотых значков. Я думал, что наградят, кто сдал, а остальные значки вернут. А получилось, сколько было, столько и дали. Чтобы не возвращать».

Товарищ Павел, я говорил и видел, что все на меня злятся. Роман смотрит как на дурака. Сергей Матвеевич весь трясется. Другие или хихикают, или куда-то смотрят, будто их не касается. Или будто жалеют, что они тут оказались. Тася смотрела внимательно и как-то печально. Будто не понимала меня. Только Олег Алексеевич спокойно улыбался. То есть как-то даже грустно, как и Тася. Он улыбался, как над дурачком, мне это было обидно. И тут Сергей Матвеевич закричал:

«Все понятно, Олег Алексеевич! Смирнов у нас просто не любит родную школу и не хочет, чтобы у нас были достижения! Он провокатор и враг народа, ему БГТО не нравится! Может, ему папаша что-то набрехал, настроил его, что он так ненавидит все советское?»

Я закричал:

«Неправда, мне нравится БГТО и все советское, зачем вы врете? И я за отца не отвечаю! Олег Алексеевич, вы же сами это говорили! И вообще, у советских детей один отец — товарищ Сталин! А товарищ Сталин в газете недавно выступал, что нам нужна правда, а не бравые рапорты с мест!»

Павел, я все это сказал с чистым сердцем, потому что так и думаю. А про бравые рапорты с мест я читал

позавчера, хорошо запомнил, поэтому из меня вылетело легко, будто я выступал на собрании. И я видел, что Сергей Матвеевич вдруг испугался. И тогда я добавил, что напишу в «Комсомольскую правду». Если мне ответят, что я не прав, я у всех попрошу прощения. А если прав, пусть они тогда напечатают мое письмо. И тогда увидим.

Сергей Матвеевич опять разозлился и закричал:

«Пиши, пиши, а мы напишем, что ты тут развел клевету! Нравится ему! Если бы нравилось, ты бы радовался за товарищей, а ты злишься и всех кусаешь, как шмель навозный!»

И все опять стали смеяться.

Только правда, товарищ Павел. Только правда, как это ни тяжело. Я первый раз в жизни не удержался и почти заплакал. Но я не хотел никому показывать, как я плачу, поэтому убежал.

Дома у меня поднялась температура. Я никому не сказал и просто лежал, будто читаю. Все привыкли, что я часто сижу или лежу в своем чулане. Это моя маленькая комнатка, там сверху окошко на кирпичную стену соседнего дома. Но мне нравится.

Я почти не спал, но утром пошел на демонстрацию. Ко мне сразу подошел Олег Алексеевич и сказал, что вчера мы поговорили неправильно. Что Сергей Матвеевич погорячился, я не враг народа и не шмель. Но мне тоже надо остыть и думать про школу, а не бросаться писать жалобы в газету.

Я опять чуть не заплакал. Я ведь был на демонстрации после вчерашнего как посторонний, со мной никто не говорил. Я хотел улыбаться, но не получалось. Но сдаться и уйти не мог. Мне было обидно. Это наш общий праздник, я хочу идти плечом к плечу со всеми, а получаюсь, будто в самом деле враг. Но, когда Олег Алексеевич мне это сказал, мне

стало легче. И все после Олега Алексеевича тоже стали со мной говорить и улыбаться. И мы вместе пошли колонной. Мы чувствовали себя одним целым, было радостно от нашей общей мощи. И товарищ Сталин, который нам всем улыбался, как и в самом деле своим детям, смотрел с плаката и одобрял, а я мысленно посылал ему привет, как самому родному человеку. Я подумал, что, даже если у меня никого не останется, Сталин будет со мной всегда. Я был счастливым человеком.

Но это было днем.

Сейчас у нас гости. Сидят за столом, отмечают. Но я уже оттуда ушел. Сажу и пишу.

И вот, когда я начал тебе писать, товарищ Павел, я хотел просто все рассказать. Как я вчера поругался в школе, но как теперь все хорошо. Но когда я начал писать, я подумал по-другому. Когда просто думаешь, кажется одно, а когда пишешь — другое.

Я понял, что Олег Алексеевич все сделал нарочно. Он меня подкупил хорошими словами. А я очень хотел, чтобы у меня было хорошее настроение в этот праздник, поэтому согласился. И все это произошло для того, чтобы я не писал в «Комсомольскую правду».

Я не знаю, что делать. Если напишу, стану врагом для всей школы. Если не напишу, значит я трус. Но я не враг. И не трус. Если бы ты мне посоветовал, но я решаю все один. А с другими ни с кем не могу посоветоваться, у меня никого нет. Или с ними нельзя про это говорить.

*4 мая*

Опять болею. И написал письмо в «Комс. правду». Я написал в нем то, что написал тебе.

*16 мая*

Я хожу и учусь и все уже так, как было раньше. Никто уже ничего не помнит. Но я помню. Тася со мной почти не разговаривает, Роман тоже. Но они смотрят на меня. Я сижу, читаю или пишу, а потом вижу — они смотрят. И перекидывают друг другу записки. Соня про меня будто забыла, она теперь часто говорит с Куртом Пфлюгом. Это хорошо.

*22 мая*

Мое письмо напечатали.

Я не думал, что будет так быстро.

Когда я вынул газету и развернул, у меня даже закололо в сердце. А потом оно очень быстро заколотилось. Я даже сел, чтобы прошло.

Письмо короче, чем я писал. И много слов заменили. На этой странице еще строчки из других писем. Про то же самое. И статья «Кому нужны дутые цифры?» Про то, что в отдельных случаях имеют место завышенные показатели БГТО и ГТО. Что подавляющее большинство детей, юношей и девушек сдаёт все честно, но есть школы и коллективы, которые хотят казаться лучше. Но делают это нечестно. Я не буду пересказывать, а вложу эту страницу в тетрадь. Там все подробно\*.

*24 мая*

Со мной все ведут себя так, будто боятся. Только Ганшин смеялся и кричал, показывал всем газету. Но он

---

\* Этой страницы в тетради не оказалось.

странный. Будто немного ненормальный. Он всегда смеется и кричит. Или, наоборот, плачет. Громко, во весь рот, как маленький ребенок.

Дома со мной тоже не говорят, а смотрят издали, как на какое-то животное из Африки в зверинце. Будто никогда не видели. Они и раньше не очень со мной говорили.

Мне плохо, но я это выдержу.

### *25 мая*

Всех собрали и объявили, что будет пересдача БГТО. И что Сергей Матвеевич уволился, потому что он болеет от инвалидности, поэтому и записал все неправильно. Нормы на этот раз записывал сам Олег Алексеевич. Опять всем давали значки. Было меньше. А семь человек нормы не сдали. А я опять сдал на золотой.

Я все делаю правильно, но чувствую себя плохо. Героем быть тяжело, хотя я не герой, а хотел правды. Но правда оказалась очень тяжелая. И для всех, и для меня.

### *27 мая*

Уволили Олега Алексеевича и еще двух учителей. Сегодня в кабинете Олега Алексеевича со мной говорил человек из Москвы. Сначала с другими, а потом вызвал меня. Он не сказал, кто он, только что из Москвы. Он пожал мне руку и сказал спасибо. И спросил, что еще я знаю о деятельности Олега Алексеевича и Сергея Матвеевича. И других учителей. Но я больше ничего не знал.



**28 мая**

Подошел Роман и сказал, что понял, почему я это делаю. Из-за отца. Он мне испортил биографию, а я теперь ее делаю, чтобы она была лучше. Он меня похвалил, но я сказал, что опять его ударю, если он еще это скажет.

**29 мая**

У меня опять температура. Я не жалуясь, просто пишу, что есть. И плохо сплю.

Мне приснился сон, что в нашу школу проникли какие-то враги. Они хотят захватить пионерское знамя. А я будто стал меньше, не комсомолец, а пионер. То есть еще ребенок. Я там встал в двери и не пускал, но они лезли. Тогда я схватил знамя и куда-то побежал. И я его спас. Кому-то отдал. Но меня поймали и поставили к яме расстреливать. И расстреляли, но не до конца. Я лежал в яме и был еще живой. Но тут в спину мне выстрелила очередь. Я будто умер, но как-то это чувствовал. Будто сверху смотрел сам на себя. И мне было не страшно, а даже приятно, что меня расстреливают.

А проснулся весь мокрый. Но не от пота. У меня это и раньше было. Я не знаю, что с этим делать. Когда я днем, я себя контролирую, но во сне это невозможно.

Павел, мой старший товарищ, почему я чувствую себя таким плохим человеком? Что я сделал неправильно? Я все сделал правильно. Но почему меня вместо радости то и дело охватывает какая-то мрачность?

И мне все время снятся сны. То про женщин, то меня расстреливают. Я даже боюсь спать, потому что мне надоели эти сны.

*30 мая*

Пришло письмо из «Комсомольской правды». Там меня благодарят за принципиальную и важную заметку, которая позволила открыть дискуссию про очковтирательство. И предложили стать внештатным корреспондентом. Я сначала обрадовался, но потом подумал, что я им написал по велению сердца, а если стану корреспондентом, надо будет постоянно что-то придумывать. Или искать. На меня и так все обращают слишком много внимания, я прославился на весь город, если не больше, а если начну писать постоянно, то все время буду на виду, а я этого не хочу. Да, я хочу писать, но тогда, когда сделаю что-то действительно серьезное.

Поэтому я решил отказаться. Но ответа им не послал. Они и так поймут, когда увидят, что от меня ничего нет.

*2 июня*

Товарищ Павел, нужен твой совет.

Дед предложил на лето поехать к его двоюродной сестре в село. Это немецкое село Гейбель. А я собирался все лето читать, тренироваться. И хотел, если честно, видеть Тасю. Но тренироваться и читать можно и там.

Я не сбегаю от трудностей, все равно летом нет школы, я никого не увижу.

Еще мне предлагают лагерь, но я не хочу. Я не боюсь людей, но мне сейчас надо подумать и что-то понять. То есть в деревне тоже люди, но там другая жизнь. А в лагере я могу увидеть что-то, что мне не понравится. Будто я в самом деле какой-то враг и шпиону. А я не шпионю, просто замечаю.

Надо сделать передышку.

Я даже не возьму эту тетрадь. Я немного устал все записывать. А еще я опасаюсь, что там ее кто-то может украсть. Тут я ее прячу, где знаю только я, а там неизвестно, куда ее деть.

Мне заранее не нравится это село, но я туда поеду. Мало ли что не нравится. Служба в армии тоже будет такая, что не все понравится, но надо делать. Поэтому это даже хорошо, что не нравится, надо приучать себя делать не то, что хочешь, а то, что надо.

### *19 августа*

Товарищ Павел, мне сегодня исполнилось 16 лет. И я теперь совсем другой человек.

То, что я расскажу, ты не поверишь. Я и сам уже не верю, что это было.

Гейбель оказался хутор, а не село. Людей там мало и все сами по себе. Хотя работают в колхозе. Но больше у себя в хозяйстве.

Там речка, я там купался каждый день. Ездил на лошади. Умею теперь косить и многое другое в области сельского хозяйства.

Сестра деда, фрау Вона, совсем старуха, она живет одна. И рядом с ней женщина Фрица.

Она пришла, когда я приехал, и сказала:

«Даст мин фелаб!»

И засмеялась. И все это повторяла — мин фелаб, мин фелаб.

Я не сразу понял. Многие там говорят на своем немецком. Но на общем тоже могут. Она сказала на самом деле: «Дас ист майн ферлобтер!» Это значит: «Вот мой жених!»

И она засмеялась, а фрау Вона сказала ей что-то сердитое, но она все равно смеялась.

Фрау Вона ни разу не улыбнулась. Она только повторяла про меня: арме кинд, арме кинд. То есть несчастный ребенок. Это глупость, я не ребенок и не несчастный. Но старые люди любят вздыхать, жалеть других и жаловаться.

На другой день Фрица пришла просить меня, чтобы я помог косить. Я сказал, что не умею. Она обещала научить. Фрау Вона меня отпустила, но что-то сказала Фрице очень сердитое. Фрица опять смеялась.

Мы косили, я быстро научился, только сразу появились мозоли. Фрица мне обмотала ладонь тряпкой. Потом в кустах обедали, ели хлеб с молоком. Фрица рассказала, что она раньше жила в очень большом селе. Она красивая, поэтому к ней два раза сватались. Но она ждала, что посватается третий, Радульф. Она дружила с ним с детства. Но Радульф так и не посватался, уехал учиться в Саратов, в автомобильный институт. Тогда она тоже попросилась учиться. Поехала в Саратов, нашла Радульфа. Они стали жить вместе, но не поженились. Она никуда не поступила, не нашла работы, потом за ней приехали родители, пришлось вернуться. Радульф сказал, что закончит учебу и приедет. Она ждала от него ребенка, но он не родился. Что-то там не так получилось, она лежала в больнице и могла умереть. Но все обошлось, а ребенка уже не было, когда ее выписали. Радульф ей написал, что после учебы его посылают в Горький, на автозавод. Обязательно надо ехать. И она тогда поехала к нему в Горький. Но тут его призвали в армию на сборы или курсы. Она опять вернулась. Через год Радульф написал, что у него другая жизнь, что он уже в Ленинграде. И написал ей, чтобы она его не ждала и выходила замуж. Но она поехала в Ленинград. Там оказалось, что Радульф женат на другой женщине. Фрица вернулась и вышла замуж за взрослого мужчину. Она приехала

с ним в Гейбель, но мужчина очень сильно болел психикой, не спал ночью и боялся пожара. Один раз Фрица проснулась, а дом горит. Это он поджег дом и бегал вокруг него как сумасшедший. Его отвезли в больницу, и он там умер. Фрица осталась одна, из большого сарая сделала дом. Она его еще достраивала, когда я приехал. Я ей помогал. Она брала уцелевшие доски и бревна от сгоревшего дома, и мы переделывали сарай в дом.

Фрица сказала, что она до сих пор ждет своего жениха. То есть Радульфа. Я спросил:

«А если не приедет?»

Она сказала:

«Я все равно его жду. А ты на него немного похож. Тоже красивый».

Я помогал и фрау Воне, и Фрице. Мне понравилось работать. Но было трудно, потому что Фрица все время шутила. То щекотала, то гладила. Или срывала цветок, обрывала лепестки, смотрела на меня и говорила:

«Поцелую — не поцелую, поцелую — не поцелую».

И обрывала лепестки. Но всегда получалось, что не целовала. Я терпел и понимал, что она просто насмехается. Но один раз мне надоело, я сорвал цветок, начал обрывать лепестки.

«Поцелую — не поцелую, поцелую — не поцелую».

И закончил на лепестке, который кончился словом «поцелую».

Фрица сказала:

«Некуда деваться, целуй».

Я хотел сказать, что я давно люблю другую девушку, Тасю, но вместо этого поцеловал. И она меня тоже поцеловала. Она так поцеловала, что я чувствовал, что у меня под губами будто что-то как будто отдельное, горячее и живое. Как какое-то существо. Но я уже был как пьяный и ничего не понимал.

Павел, я, конечно, вспомнил, как в твоей книге\* девушка Христина хотела отдать тебе девичью честь, чтобы ее не забрали белоказаки, но ты вспомнил про Тоню и сумел устоять, отказался. Я поступил хуже. Я тоже вспоминал Тасю, но это не помогло. Я скажу прямо: я сдался. И нельзя оправдаться тем, что она сама заигрывала. Христина тоже сама тебе предложила, у тебя было оправдание, но ты оказался выше его. А я намного ниже.

Целый месяц я был сумасшедший, как умерший муж Фрицы. Я почти не появлялся у фрау Воны. А Фрица пела все время песню «Ду мин монма, фрока ен мидда». И смеялась. На правильном немецком это значит: “Du – mein Frühstück, Mittagessen und Abendbrot”. То есть: «Ты – мой завтрак, обед и ужин».

Так и было, но есть мы не забывали, наоборот, ели еще как. Но и работали. И на самом деле, кроме завтрака и ужина, были еще полдниги, ночники и утренники.

Фрау Вона уже не ругалась, только молчала и отворачивалась. И Фрице тоже уже ничего не говорила.

У Фрицы есть лошадь, на ней я научился ездить. Ночью мы отводили ее купать. Или оба на ней ехали. Или Фрица, а я рядом. Или, наоборот, я на лошади, а она рядом. И мы ее купали. И друг друга. Ночью вода сверкает, если брызгать. И все очень громко, но Фрица не боялась, смеялась на всю округу.

Потом приехал дед Берндт. Он не говорил со мной, только с Фрицей. Я издали слышал, но ничего не мог разобрать. Потом он пришел и сказал, что мы уезжаем. Я сказал – нет, уеду только завтра. И пошел к Фрице. Я даже не скрывался. Они смотрели, а я к ней шел. Но она меня встретила у дома и сказала, чтобы я шел обратно. И мы так стояли: она меня не пускала,

---

\* Здесь Володя немного запутался: книга все-таки не самого Павла Корчагина, а Н.А. Островского.

а они стояли и смотрели. И я между ними стоял, как дурак. И я хотел уйти, но она крикнула: «Гин аль ин хел!» — и я догадался, что она послала всех к черту на своем языке. Взяла меня за руку и увела.

Ночью она сказала:

«Неизвестно, что хуже — когда все начинается со счастья или когда все кончается. Если со счастья начинается, будешь всю жизнь ждать, чтобы повторилось. А если кончается, весь остаток жизни будешь жалеть и грустить».

Я понял, что начинается — это про меня, а кончается — про нее.

Павел, а ведь ей всего 26 лет. Я раньше думал, что это очень много, но она вела себя часто совсем как девочка. Особенно когда смеялась или обижалась. Женщины часто обижаются, как девочки. Я даже у фрау Воны это заметил. Она сжимала губы и морщила нос и была очень похожа на Варю Сивушёву из нашего класса, она тоже так сжимает губы и морщит нос, когда обижается. А она всегда обижается.

Я стал с ней спорить, что у нее ничего не кончается. Сказал, что я останусь, буду с ней работать и жить.

Она плакала. Я тоже хотел, но скрепился.

Она сказала, что мне надо учиться, а потом идти в армию.

Я пообещал, что все равно вернусь.

И мы уехали.

Дед Берндт всю дорогу молчал, а потом вдруг улыбнулся и сказал:

“Vielleicht ist es besser, den Kopf vor Liebe statt vor einer Idee bekloppt zu sein”\*.

Я сейчас вспоминаю эти слова и чувствую себя предателем. Я действительно потерял голову и забыл

---

\* Может, лучше потерять голову от любви, чем рехнуться от какой-то идеи.

свою идею. Я хотел зарыться в землю, как трусливый кулак, ничего не видеть и не слышать, а мир бушует и впереди война. Враги зашевелились со всех сторон, в том числе здесь, у нас.

### *28 августа*

Товарищ Павел, я обещал говорить тебе все, в том числе жестокую правду. И я скажу. Неделю назад арестовали деда Берндта и мужа тети Иммы Бертольда. Мне их жаль. Но я чувствую, что это не просто так. Дед, Бертольд, сама тетя Имма, да все вообще, они не очень любят Советскую власть. Они про это при мне никогда не говорили, наоборот, говорили в ее пользу. Но я много раз замечал, что, когда я вхожу, они замолкают. То говорили, а я вхожу — молчат. Но я же вижу. Я бы мог даже подслушать, но это подлость. Мне очень жаль деда, он ко мне всегда был добрым. Но это не значит, что он добрый к нашей жизни. Тут я сомневаюсь.

Я долго не писал, чтобы все обдумать. Теперь обдумал и пишу все так, как есть.

### *2 сентября*

В первый школьный день я увидел, что за лето все очень выросли и изменились. Но все равно я сам себе казался взрослее других. Тася это заметила и с интересом спрашивала, где я был и что делал. Мне даже показалось, что она о чем-то догадалась. И другие девочки смотрят не так. Уже девушки, а не девочки, всем по шестнадцать, а некоторым даже уже семнадцать, многие у нас пошли в школу с восьми лет. Или пропустили. Я тоже пропускал, но потом догонял.



Я стал спокойней. Я уже контролирую себя. Я смотрю на них, вижу анатомический театр, но меня уже не пугают мои мысли. Они обычные для растущего организма, это в порядке вещей.

Правда, сны снятся. Снится Фрица. Один раз проснулся и решил поехать в Гейбель на велосипеде, хотя туда почти 60 км. И даже поехал, но с дороги вернулся.

Или пошел на базар, там колхозники продают свои продукты. Я ходил целый час и понял, что смотрю, может, тут есть Фрица. И ушел оттуда.

Чаще всего мне снится конь, что я на нем скачу голый. С Фрицей или один.

И просыпаюсь весь мокрый. Но к этому тоже стал относиться нормально. Если раньше я на это закрывал глаза, то теперь признаю, что есть проблема. Но если она есть, если я ее от себя не прячу, значит с ней легче бороться. И все тоже, наверно, борются. Если было бы не так, люди посвятили бы себя только половому наслаждению и рожали бы детей, никто бы не работал, не делал революций и не строил новое будущее. И уж тем более не шел бы его защищать, потому что, чтобы отдать жизнь за Родину, надо сознавать, что ты отказываешься от пошлых ее сторон.

Но сны пока все равно снятся.

*17 сентября*

Послал честное письмо Фрице.

*Письмо*

*Уважаемая Фрица! Я должен тебе сказать правду. Я говорил, что кончу школу, пойду в армию, а потом вернусь. Я обманул. Я верил в это тогда, но теперь понял, что сказал*

*неправду. У меня другие цели. Я после службы останусь в армии и стану командиром. Или поступлю в училище, а после него стану командиром уже навсегда.*

*И еще то, что я должен был сказать сразу, и в этом моя подлость. Я люблю девушку Тасю. Это уже давно, крепко и навсегда. Мы создадим с ней семью, если получится, если не помешает жестокая война. Но она будет недолгой, мы победим. И тогда можно будет подумать о мирной семейной жизни.*

*Ты мне очень понравилась. Даже можно сказать, что я тебя «любил». Но это не то, что должно быть. Я боюсь, что ты будешь меня ждать, как ты ждала Радульфа. Не надо этого делать. Я этого не стою, я хуже, чем тебе кажется. Прости меня за все это и пойми.*

*С уважением*

*Владимир.*

**28 сентября**

Я не ждал, но получил письмо. Очень короткое. На обычном немецком, но с ошибками.

**Письмо Фрицы**

*Wolodja! Mein Sommerglück! Du sollte diesen Brief nicht geschrieben haben. Ich würde alles sowieso verstehen. Mach keine Sorgen, ich hab dich schon vergessen und werde auf dich nicht warten. Nur auf Radulf habe ich gewartet und warte immer noch nur auf ihn. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Tasya! Ich küsse dich, mein Junge zärtlich, wie gehabt. Deine Friza\*.*

---

\* Володя, мое летнее счастье! Зря ты написал это письмо. Я и так все поняла бы. Не беспокойся, я уже о тебе забыла. Я не буду тебя ждать. Только одного Радульфа ждала я и продолжаю ждать только его. Желаю тебе счастья с твоей Тасей! Целую нежно, мой мальчик, как всегда. Твоя Фрица.

Мне стало сначала легче, потом тяжелее.

Зря я написал, правильно она мне это заметила. И хорошо, что ждет своего Радульфа. Но мне это стало как-то грустно. И зачем она написала «Твоя Фрица», если ждет Радульфа.

Павел, я начинаю думать, что женщины не такие простые, как нам кажется.

## *26 декабря*

Совсем перестал записывать. Мне было не до этого. Я напряженно учился и работал над собой.

Я понял, что пишут дневники люди, которые в чем-то сомневаются. Как какой-нибудь Печорин. Он не понимал, какой он человек, вот и писал все время, чтобы понять. А я сейчас все понимаю, поэтому не пишу.

Я послал письма в два саратовских военных училища — войск НКВД, там учат офицеров для трудной пограничной службы, и в бронетанковое. Чтобы прислали правила приема. Из пограничного почему-то не ответили, из бронетанкового написали, что надо после окончания школы приехать и подать документы.

Бронетанковое мне нравится, я люблю технику. Но и пограничное интересно, учитывая международную обстановку.

У меня почему-то такое чувство, будто я несколько лет болел, а теперь выздоровел. И это чувствуют остальные. В классе меня уважают и любят. Я выпускаю стенгазету класса. Я делаю это с удовольствием. Еще я комсорг класса, это много работы, ты знаешь по себе, что значит относиться к делу по-настоящему, с огоньком. Но мне охотно идут навстречу и помогают.

У меня большое событие в личной жизни. При нашей школе построили и открыли интернат для школьников из тех небольших сел возле Энгельса, где нет десятилеток, а они хотят получить полное среднее образование. Я пришел к директору Дмитрию Степановичу и попросился в интернат. Сказал, что хочу жить в коллективе, а не в чужой семье, потому что у меня там нет отца и мамы. Осталась только бабушка, но у нас с ней разные интересы. А мне надо сосредоточенно готовиться для поступления в военное училище. Дмитрий Степанович пошел мне навстречу. Я теперь живу в светлой и хорошей комнате с Колей Васюхиным, Вальтером Вебером, Рихтером Кессенихом и Семеном Барбузой. Они учатся в девятом, а я в десятом, поэтому у них старший. Кессених — однофамилец родителей погибшей моей приемной мамы. Она была мама и моей сестры Кати. Катя незаметно выросла, ей исполнилось восемь 25 октября, с этого года она пошла в школу. И тоже живет в интернате, на первом этаже, где живут школьники начальных классов. Кессених, ее дед, куда-то уехал, бабушка тоже поехала, но не могла взять с собой Катю, оставила тете Имме. Я поговорил с тетей Иммой, что в интернате Кате будет лучше. Она будет среди своих, таких же детей. И не будет чувствовать себя какой-то приемной.

То есть мы с ней оба оказались в интернате в одно время. Я то и дело с ней вижусь, жаль, что раньше не уделял внимания, она растет очень умная и веселая. Ее ничем нельзя огорчить, такой характер. Иногда плачет, но быстро перестает. Когда я ей что-нибудь дарю, она даже визжит от радости. Я клею ей маленькие корзинки и кукольные ящики, она любит все раскладывать. Смешная, плачет, если что-то из ящиков пропадет. Ее соседки в комнате это поняли и начали

в шутку то и дело у нее что-то прятать. Я с ними поговорил, они перестали.

Еще у нас наладилась трудовая практика. Не без гордости сообщаю, что имею к этому отношение. У нас была только столярка, где мы пилили и строга-ли. Но только чинили парты и делали табуретки, это несерьезно. Я поставил вопрос на школьном комитете: нужны станки, как в 3-й школе. Им дали старые, но работающие, из депо. Со мной согласились, и теперь у нас не два, а четыре станка: два токарных по дереву, но можно работать и по металлу, один фрезерный по металлу и сверлильный. Я быстро их освоил, хотя они очень часто ломаются. Наверное, во мне есть рабочая косточка. Я понимаю технику. Мне еще раньше дед говорил, что у меня конструктивное мышление, когда мы с ним играли в шахматы. Сейчас мы делаем модели самолетов и танков. Мне нравятся самолеты. Получается намного лучше, чем выпиливать вручную из фанеры. Я хочу написать в Балашовскую летную школу, узнать про условия приема.

В общем, много событий, не все упомянул.

С Тасей у нас наладилась хорошая и честная дружба. Будто у меня и не было этого низменного опыта с деревенской женщиной, который чуть не испортил мне жизнь. Роман тоже дружит с Тасей и со мной. Он стал проще и прямее. Нет ощущения, что что-то скрывает.

У меня была еще инициатива, которую мы успешно осуществили: рядом с футбольным полем построили полосу препятствий, окопы и блиндаж. Там под руководством Дмитрия Степановича, воевавшего в Гражданскую и получившего ранение ноги (он хро-мает), мы осваиваем навыки начальной военной подготовки. Тир у нас был раньше, мы часто стреляем, у меня неплохие результаты, хотя, конечно, хочется

лучше. Это от многого зависит. В том числе от природных способностей. Например, Рита Смирнова, моя однофамилица, оказалась такой меткой, что выбивает максимальные результаты, ее даже хотят послать на соревнования.

Я каждый день просыпаюсь бодрым и радостным, ожидая от будущего дня новых открытий, чувствую настоящее счастье, особенно когда со своими товарищами занимаюсь чем-то полезным. Только в совместном деле можно узнать свои возможности и способности.

*5 января 1938 г.*

У нас в школе был спектакль, а потом вечер. Я играл моряка с воротником, остался в этом воротнике, мы танцевали с Тасей, она сказала, что ей нравится мой воротник. Роман смотрел на нас с такой усмешкой, что опять хотелось его ударить. Когда он смотрит с такой усмешкой, мне кажется, будто я делаю что-то нехорошее.

А потом у нас с Тасей начался странный разговор.

Она сказала:

«Не беспокойся, ты отличный юноша, только много про себя придумываешь».

Она сказала «юноша», хотя они нас до сих пор называют мальчиками. То есть дала понять, что я для нее не мальчик.

И как-то так оказалось, что мы ушли из зала и пошли в наш класс. И я почувствовал, что она чего-то от меня ждет. Я ее поцеловал и понял, что она как раз этого ждала. Мы целовались, но я почувствовал, что она ждет чего-то еще. Мне показалось, что она такая же взрослая, как Фрица, хотя этого не может быть.

И тут мой позор, моя очередная подлость. Я не мог разобраться в своем состоянии и вдруг начал рассказывать про Фрицу. Не для того, чтобы понравиться Тасе. Как раз наоборот – чтобы она поняла, какой я негодяй. Но Тася только улыбалась. Как будто я не рассказывал ничего особенного. И я, хотя опытный человек, почувствовал, будто я младше Таси, несмотря на весь свой опыт. Мое самолюбие было задето, мне показалось, что она не верит. Тогда я ее обнял так, как обнимал Фрицу. И делал вид, что ничего не стесняюсь, хотя на самом деле стеснялся. И мы начали опять целоваться. Она делала это так, будто все понимала и умела. Может быть, Роман рассказывал правду о ее родственнике, с которым у нее будто бы что-то было? И я совершил еще одну подлость, начал ее спрашивать про этого родственника. Она спросила, откуда я это знаю, я не признался. Она сказала, что это все выдумки. А то, что я имею в виду, у нее произойдет только тогда, когда она выйдет замуж.

Я спросил:

«За кого?»

Она лукаво улыбнулась и сказала:

«Может, и за тебя».

А потом сказала:

«Мне Роман все время говорит, что ты в меня влюбился. Это правда?»

Я сказал:

«Да, правда. И очень давно».

Она сказала:

«Ты мне тоже очень нравишься. Но я еще не поняла, какой ты человек. И не знаю про себя, какой я человек. Давай подождем, подумаем и посмотрим. А пока нам нужно все внимание уделить учебе. Я хочу учиться на врача, чтобы стать, как мама, это очень серьезно. Давай проверим наши чувства до восем-

надцати лет, а до этого времени не будем говорить ни про какую любовь. Будет просто нормальная дружба».

Я согласился. Когда дружба, я понимаю, как себя вести. Если бы мы признались друг другу в любви — что дальше? После этого надо уже вести себя как-то не так, как раньше, она умная девушка, она поняла это быстрее меня. Мы к этому не готовы, все произошло слишком рано.

### *6 января*

Прошел день после этого вечера, а мне все хуже и хуже. Я ее люблю. Мне хочется все время ей это говорить: я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я очень тебя люблю.

### *7 января*

Тасечка, я очень тебя люблю, но ты просила об этом не говорить, поэтому я пишу здесь. Тася, я люблю тебя, люблю, люблю, люблю.

### *8 января*

Тася, я не могу без тебя жить. Я видел тебя половину дня, а сейчас вечер, после школы я тебя не видел и уже скучаю и тоскую.

### *9 января*

Я попросил ее принести какую-нибудь свою фотографию.



*10 января*

*Тасия Риглер\**.

*11 января*

Я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Так, что мне страшно. Но я думаю, что завтра тебя увижу, и мне становится горячо от радости.

*12 января*

В мире и в стране происходят важные и серьезные события, а я счастлив, как будто везде настал коммунизм. Мне надо пересмотреть отношение к своим личным переживаниям. По крайней мере, не все записывать, потому что то, что я чувствую, не имеет отношения к моей главной цели. А то будет похоже на дневник какой-нибудь девушки.

*17 января*

Многих ребят из нашего класса вызвали на приписную комиссию в военкомат. Постановка на учет в связи с будущей армией. Я ждал, что пойду со всеми, но меня не было в списках. Я решил выяснить, в чем дело. Могли напутать возраст или что-то еще. Я пошел в клуб\*\*, но там было очень много молодежи

---

\* Это подпись под четырехугольником, обведенным рамкой, с желтыми пятнами от клея; здесь, надо полагать, была фотография Таси. Она не сохранилась.

\*\* Медицинские призывные комиссии часто устраивались в клубах, Дворцах культуры, кинотеатрах, т.к. в военкоматах для этого не хватало места. Видимо, такой клуб и имеется в виду.

жи, военных, врачей из медкомиссии, я не мог ничего узнать. Ходил каждый день целую неделю, но всем было некогда. Потом там стало меньше людей, я сумел поговорить с человеком, который заведует документами. Он сказал, что, если в списках меня нет, я должен ждать до следующей приписки. А еще сказал, что на самом деле ставят на учет не всех подряд. Может быть, я не подлежу. Я спросил, что это значит — «не подлежу». Он не объяснил. Во мне появились какие-то сомнения, но я себя успокоил. Приписка еще не призыв на службу, еще есть время.

### *6 февраля*

Я учусь и тренируюсь, не происходит ничего особенного. Почему-то бывает иногда очень грустно. При максимальной занятости это странно. Я иду к Кате, разговариваю с ней, помогаю решать уроки. Меня там зовут «брат-папа». Она этого не стесняется, только смеется.

### *14 февраля*

Вчера мы с Тасей и Романом были в кино, а потом пошли вместе к ее дому. По дороге говорили про кино, а потом про гибель дирижабля «Осоaviaхим». Роман сказал, что дирижабли — вчерашний день, летать нужно только на самолетах. И что он обязательно станет летчиком. Я удивился, потому что раньше он этого не говорил.

Было уже поздно, Роману идти домой близко, а мне в школу, в интернат, это дальше. Тася сказала, что я могу переночевать в комнате старшего брата, тот

уехал. Я согласился. Роман смотрел со своей усмешкой, но ничего не сказал.

Я потом сказал Тасе, что Роман может обидеться.

Она спросила: «На что?»

Я растерялся. Она засмеялась.

Оказалось, что уехал не только брат, но и родители. Никого не было. Я хотел поскорей лечь спать, чтобы не думать о каких-то лишних вещах. Я лег, но не мог заснуть. Там не стена, а перегородка, Тася спросила из-за перегородки:

«Ты не спишь?»

Я сказал, что нет.

«Тогда давай поговорим».

Она пришла в комнату и легла рядом. Но ничего не говорила, а только лежала. Потом спросила, как у нас началось с Фрицей. Я напомнил, что уже рассказывал. Она сказала, что в общих чертах, а она хочет знать подробно. Я рассказал о цветках, о том, как мы срывали лепестки. Ей это понравилось. Она встала и взяла откуда-то бумажный цветок. И начала обрывать лепестки: «Поцелую, не поцелую, поцелую, не поцелую». И смеялась, что так интересней. Потому что решаешь не ты, а судьба. Я возразил, что человек должен решать сам. Она сказала: «Но ведь эта Фрица решила все за тебя, ты согласился». А сама все обрывала лепестки. Кончилось все на слове «не поцелую». Она сказала: «Глупости». И начала меня целовать. И шептала, что после моего рассказа о Фрице она не может спать и нормально жить, она все время об этом думает. Но пусть я не воображаю чего-то, она не хочет нарушать свое обещание, ничего не будет до 18 лет. Она просто хочет полежать со мной, как жена с мужем. То есть без одежды. И немного обняться.

Когда я первый раз обнял Фрицу, я не боялся. Я тогда ничего не помнил. А тут я испугался. Мы раз-

делись, она сильно меня обхватила, вся дрожала и была холодная. В комнате было холодно, они топят дровами, а мы, когда пришли, не топили. Но мы были под одеялом.

Я испугался за наше будущее, что мы его испортим. Поэтому на этот раз я сумел сдержаться. Я просто лежал и ничего не делал.

Она вдруг сказала: «Ты меня не любишь».

Я догадался, что это провокация. Она уже не управляет собой, поэтому делает все, чтобы совершилось непоправимое, она потеряла контроль. Надо было нести ответственность за двоих. И я это сумел. Я сказал, что она потом пожалеет и будет меня ненавидеть, а я этого не хочу. Поэтому оделся и пошел пешком в интернат.

А сегодня она с утра очень нервничала. Не говорила со мной, только посматривала с какой-то тревогой. Я на перемене подошел и тихо сказал:

«Тася, я очень тебя люблю, но давай больше не подходить к этой опасной черте». Она вдруг рассмеялась и сказала, что проверяла меня. И что я молодец, выдержал проверку.

После этого мне стало легче. И ей, кажется, тоже.

Все это очень отвлекает.

## *22 февраля*

Впереди экзамены. Еще рано, но я уже настроился на отличный аттестат. С осени я организовал в классе соревнование под лозунгом «Нет “неудам”!» Я распределил, кто кого возьмет на буксир. Удивила Соня Ильчина, которая занималась с неуспевающим Степой Кравченко, и тот вдруг стал хорошистом. У них, кажется, начались дружеские отношения. Это многим понравилось, наши ребята тоже начали старать-

ся. И так получилось, что мы все учились лучше и лучше. Начался какой-то азарт, все сидят и зубрят, и дома и в школе.

И вот на прошлой неделе нам сказали, что у нас будет комиссия из-за того, что по результатам мы получаемся лучшим классом в масштабе всего Поволжья, и это хотят проверить. То есть понять, как это у нас случилось.

Приехало много людей, на каждом уроке сидело столько же взрослых, сколько учеников, если не больше. По всем стенам на стульях, а некоторые за партами, рядом с нами, где было свободно. Было сочинение, потом контрольные по всем предметам. Были каждый день устные опросы, в том числе со стороны членов комиссии. С учениками также беседовали отдельно. Меня спросили, какую личную цель я преследую такой упорной учебой и зачем организовал в классе движение за учебу. Я сказал, что хочу поступить в военное училище, а движение организовал не только я, нас инициативная группа. Меня спросил про состав группы, я назвал. Потом еще спросили, в какое училище я хочу поступить, я ответил, что еще выбираю, написал во многие, но нет ответа или отвечают, что нужно ждать до окончания школы и приехать лично, чтобы подать документы. Вообще-то мне хотелось бы стать пограничником. Для того, чтобы первым встретить врага, если он осмелится напасть на нас. Их было трое, две женщины и мужчина. Они все время кивали, улыбались, но все время переглядывались, будто я говорил что-то не то. Какая-то неприятная была обстановка.

Потом комиссия уехала. Дмитрий Степанович пришел к нам в класс, хвалил нас, но потом сказал, что учиться надо не для того, чтобы похвастаться своими знаниями и стать лучше всех, а чтобы пригото-

вить себя к труду на благо Родины. А в этом труде участвует весь народ. И не очень красиво быть выскочками. Он сказал, что мы учимся так, будто соревнуемся, как спортсмены, будто бьем какие-то рекорды. А в нашей стране хоть и ориентируются на лучших, на передовиков, но главная идея — идея равенства, выставлять себя напоказ некрасиво, особенно не поодиночке, а всем классом.

«Вы устроили какую-то игру наперегонки, а мне это отзывается вот тут», — сказал он и похлопал себя по шее, и мы поняли, что почему-то наши старания не всем понравились.

Я мог бы промолчать, но ты, товарищ Павел, как всегда, незримо возник передо мной и поставил вопрос, имею ли я право молчать, когда чувствую, что происходит несправедливость? Поэтому я поднял руку и спросил:

«Дмитрий Степанович, я верно понимаю, что нам предлагают учиться хуже?»

Он очень рассердился, покраснел и сердито сказал, что я понял неверно.

«Хуже не надо, а надо по-человечески!»

Все рассмеялись.

Он отругал нас и ушел.

Я сказал, что он просто боится лишнего внимания и проверок. И что надо гнуть свою линию. И наоборот, учиться еще лучше. Чтобы все стали отличниками.

## *2 марта*

Наш план выполняется почти на 100%, не все стали отличниками, хотя все учат с утра до вечера и читают дополнительную литературу, научные журналы и т.п., но все-таки не у всех одинаковые способности. И учи-

теля нас сбивают, задают дополнительные вопросы. То есть они задавали их сначала, а когда мы стали отвечать так, что видно было, что сами учителя этого не знают, они растерялись.

Дмитрий Степанович собрал нас и родителей, у кого они есть и кто сумел приехать (то есть родители интернатских), и говорил на тему, что в классе под видом хорошей учебы налицо издевательский заговор против учителей. С неизвестной целью мы насмеемся над ними, выхваляемся, будто хотим доказать, что наши педагоги хуже, чем ученики. И что он знает, кто организовал этот заговор, хотя пока не будет называть имен. Но при этом посмотрел на меня и еще на некоторых.

Родители начали спрашивать, какие из этого конкретные сделать выводы, но Дмитрий Степанович сказал, что выводы они должны сделать сами.

### *20 марта*

История с нашей слишком хорошей учебой кончилась сама собой. Многие просто устали, многие этой весной болеют и пропускают, из-за этого успеваемость снизилась.

У меня остался неприятный осадок, хотя я учусь, как и учился, только на «отлично». Роман сказал: «Пусть попробуют ему снизить отметки, он тут же напишет в “Комсомольскую правду”!» Я не собирался никуда писать, о чем сказал ему в резкой форме. Он так же резко ответил, что у меня все родственники враги народа, поэтому я так стараюсь. Чтобы меня не раскусили. Я сказал, что меня нечего раскусывать, я весь на виду.

Отношения у нас с ним все хуже и хуже, но с остальными нормальные.

А с Тасей как-то странно. Мы не ссоримся и не ругаемся, но перестали ходить в кино или куда-нибудь еще. То есть мы видимся только на уроках.

Может, и к лучшему. Любовь не должна мешать жизни.

### *15 апреля*

Усиленно занимаюсь. Мне нужен только отличный аттестат. Во многие вузы с отличным аттестатом принимают без экзаменов. В военные училища тоже, если пройдешь комиссию. Это сказал Степа, он тоже собирается в училище.

### *22 апреля*

Вчера я встретил Фрицу. Она сказала, что приезжала продавать свинину и возвращается обратно. Вечером едет с кем-то, кто едет в направлении ее села, а пока собирается пойти в кино. И предложила мне тоже пойти. Я честно сказал, что у меня нет денег на билет. Она засмеялась и сказала, что угощает.

Я не хотел ее обидеть, это же поход в кино, а не что-то. Тем более что мы пошли на фильм «Арсен» про революционера-разбойника, а не про любовь. Перед фильмом была хроника, в том числе про День рождения В.И. Ленина. А в фильме многое оказалось все-таки про любовь. И героиня очень похожа на Фрицу. Очень красивая, темноволосая, но все равно похожа, хотя у Фрицы волосы светлее. И еще Фрица немного располнела, пока я ее не видел. Мы сидели на заднем ряду, потому что других билетов не было. С самого края. Фрица спрашивала меня про то, как



я живу. Я думал, что она спросит про Тасю, но она не спросила.

Про то, что случилось дальше, я должен рассказать честно.

Она сначала взяла меня за руку, а потом начала рукой меня обшаривать. Вокруг были люди, и я не мог возразить. И тут она очень тихо сказала, что уезжает в Германию. И что мы никогда не увидимся.

После кино мы пошли в какой-то дом, она там оставила свои вещи. Мы вошли в комнату, где у нее были эти вещи. Она накинула на дверь крючок и стала меня обнимать. И шептала, что это в последний раз.

И это произошло.

Я читал, что это называется помутнение рассудка. У меня было это помутнение, потому что я говорил ей, что поеду с ней в Гейбель, а потом в Германию. И что никогда больше с ней не расстанусь. Но она сказала, что меня никто не отпустит. Потом я не хотел уходить, но она меня прогоняла. Закричала, что я много о себе думаю, а на самом деле я для нее карамелька, леденец, вот я растаял у нее во рту, и вот меня нет, и больше ей не хочется. Я видел, что она нарочно меня обижает, чтобы я рассердился. И сказал ей об этом. Она сказала, что я слишком умный для своего возраста, но Ende gut – alles gut, то есть все хорошо, что хорошо кончается, поэтому надо кончить, пока все хорошо, дальше будет только хуже.

Но все-таки она оставила меня на ночь. А утром проснулся, и ее уже не было.

Сейчас я пришел в себя.

Плохо я поступил? Да, конечно. Но не я один в этом виноват.

Предал ли я Тасю? Кажется, что да. Но, если подумать, я с Фрицей перебил в себе те желания, которые

у меня были по отношению к Тасе. Не окончательно, но намного. Получается, я это сделал в какой-то степени и для Таси.

Я слишком запутался. Я себя чувствую то очень взрослым человеком, то ребенком, который хочет кому-то на что-то пожаловаться.

Иногда хочется куда-то уехать, где меня никто не знает.

### *25 апреля*

Бабушка Мария дала мне тетрадь. Она сказала, что уезжает вместе с тетей Иммой. К сыну тети Иммы, тот где-то устроился на хорошую работу. А тетрадь ей оставил мой отец, чтобы она не читала, а просто сохранила. И она ее где-то прятала. Сказала, что не читала, но мне кажется, это не так. Иначе она не сказала бы мне, чтобы тоже не читал. Вернее, она сослалась на то, что отец просил сохранить тетрадь до его возвращения и не читать, а если почему-то не вернется, то отдать мне в 18 лет. Но она не может ждать, потому что ей надо уехать.

### *27 апреля*

Два дня лежит тетрадь, а я не знаю, читать или нет. До восемнадцати мне еще год с лишним. И возраст ничего не значит. Я сдаю нормы на взрослую ступень ГТО, мне даже по виду все дают больше, чем 16.

### *28 апреля*

Начал читать.

*29 апреля*

Прочитал за вечер и половину ночи.

Товарищ Павел, у меня поднялась буря мыслей, и я обязан поделиться с тобой, ничего не скрывая, хотя тебе не все понравится.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\*

*2 сентября 1939 года*

Товарищ Павел, я дал себе (и тебе) слово ничего больше не записывать до моего 18-летия.

Когда я прочитал дневник отца, во мне возникли сложные мысли и чувства, о которых я тебе написал\*\*. Но я подумал, что мой дневник ведь тоже кто-то может прочитать. И не все пойдет на пользу тем, кто читает. Я решил на время прекратить вести его.

У меня ощущение, что я освободился от шелухи, слишком забивавшей мою голову. В частности, от постоянных личных переживаний. Мне теперь не до них.

На Халхин-Голе идут победоносные бои с японскими империалистами. Я мог бы уже быть там, сражаться, но меня там нет.

---

\* До конца страницы все густо зачеркнуто. И еще две страницы вырваны из тетради.

\*\* Наверное, на тех самых страницах, что вырваны.

Фашизм шагает по Европе, немецкие войска вторглись в Польшу и скоро могут оказаться у наших границ. И опять я останусь в стороне?

И я ведь не для того, чтобы сделать военную карьеру, я этого хотел всегда. Бороться, воевать. В том числе чтобы последовать твоему примеру. Но не только. Еще причина: я не знаю, насколько виноват отец. Есть возможность, что что-то напутали слишком бойкие исполнители приказов. И я бы хотел службой Родине не искупить его вину, я в ней не уверен, но доказать за себя и за него, что мы готовы пролить кровь за наши идеи, что *я сын трудового народа*, как назвал свою книгу писатель Катаев, я прочитал ее с большим интересом.

Эту мысль я впервые четко сформулировал в прошлом году, в декабре. Тогда открылся новый кинотеатр «Родина». Мы шли после фильма «Митька Лелюк» — Тася, Роман и я. Тася приехала к родителям, она училась (и учится) в медицинском, а Роман остался в Энгельсе на комсомольской работе, а учится заочно.

В этом фильме рассказывается о мальчике, который поступил на службу к польским военным, захватившим село, чтобы выведывать секреты и кормить раненого красного командира. Но его считают предателем. Когда я видел эти кадры, у меня ком волнения стоял в горле.

Мы шли, обсуждали, Роман смеялся и говорил, что это детское кино. Я сказал, что показать мужество человека, который вынужден скрывать свое лицо, это не детское кино, это серьезно.

Тася согласилась. А Роман со свойственной ему усмешкой стал намекать, что мне близок герой, потому что я тоже скрываю свое лицо. Я рвусь в военные училища и в армию, чтобы выбиться в люди, чтобы меня перестали упрекать отцом.

Вот тут я и сказал, что, во-первых, мне не надо выбиваться в люди, я и так человек, а во-вторых, что

плохого, если я хочу за себя и отца доказать свою преданность нашим идеям и Родине, которая у меня искренняя? В отличие от некоторых.

Он это «некоторых» принял на свой счет и стал уверять обратное.

Но я немного ушел в сторону.

Итак, в прошлом году, после окончания школы, я хотел поступить в пограничное училище. У меня был аттестат с отличием, грамоты за учебу и спортивные достижения. Но документы мне вернули. Я добился, чтобы меня принял ответственный товарищ и объяснил. Он сказал, что хотя в армию теперь иногда в виде исключения берут детей кулаков, бывших дворян, врагов народа и других, кто сомнителен по классовому принципу, но в военные училища отбор строгий, только сыновья рабочих и крестьян. Особенно в пограничное училище.

Я не стал спорить, но не сдался и подал документы в бронетанковое училище, еще было время. Тоже не приняли. И даже не стали ничего объяснять.

Я пошел в военкомат, чтобы узнать, можно ли записаться на какие-то курсы или пойти в Красную Армию добровольцем на вспомогательную службу, если такие есть. Мне сказали, что до восемнадцати лет могу не беспокоиться.

Я пошел в депо и там работал в слесарном цеху вплоть до последнего времени.

Весь этот год я иногда виделся с Тасей и мы переписывались. Она очень увлечена учебой.

И вот теперь главное, Павел. Только что принят закон о всеобщей воинской обязанности. Призывной возраст теперь с 19 лет, а для окончивших среднюю школу — 18. После средней школы и раньше можно было, но в училища или добровольцами, а теперь обязательно всем.

Я узнал, что во дворце культуры железнодорожников сегодня открылся призывной пункт. Пошел туда,

меня записали, но только на очередь, сегодня всех не принять. Сказали прийти завтра.

#### *4 сентября*

Вчера тоже не приняли, пошел сегодня. Взяли документы, направили на медкомиссию. Всю не прошел, осталось на завтра.

Англия и Франция объявили войну Германии.

#### *5 сентября*

Оказалось, что у меня проблемы со зрением. Теперь я понимаю, почему стрелял не очень хорошо, хотя много тренировался. Эти проблемы небольшие для мирной жизни, но врач сказал, что для военной службы я непригоден.

«Радуйся, ты получишь белый билет».

Я даже закричал на него. Я не дезертир, чтобы радоваться. Как он смеет думать про меня такое? Он испугался, потому что стали заглядывать другие, успокоил меня, взял мои бумаги и куда-то пошел.

Я взял лист, карандаш и быстро записал таблицу.

Он вернулся с другим врачом. Наверное, главным. Седой, в очках. Тот сказал, что правила есть правила. Я негоден.

#### *6 сентября*

Вчера весь день учил таблицу. Она у меня перед глазами. Вот я пишу по памяти, с учетом масштаба:

Ш Б

М Н К

Ы М Б Ш

Б Ы Н К М

И Н Ш М К

Н Ш Ы И К Б

Ш И Н Б К Ы

К Н Ш М Ы Б И

Б К Ш М Ы И Н

Н К И Б М Ш Ы Б

Ш И Н К М И Ы Б

И М Ш Ы Н Б М К

Сверяю — все точно. Я никогда не забуду эту таблицу.

*7 сентября*

С утра пошел на призывной пункт. Но меня не пустили дальше учетно-контрольного стола, дали конверт, в нем документы и тот самый белый билет, на самом деле обычная справка. Не годен. Я потребовал провести меня к главврачу комиссии. Это был не тот старик, на которого я подумал, а пожилой человек в военной форме. Я сказал ему, что нервничал, поэтому не прошел по зрению, готов повторить. Он позвал сначала старика, потом окулиста. Меня повели в кабинет. Окулист в присутствии старика и военного главврача показывал мне буквы. Он показывал указкой, я ошибся только два раза в нижней строчке, не разглядел, где кончик указки.

Сказали прийти завтра.

*8 сентября*

Я – годен!

Но мне не выдали документы, велели прийти 11-го в военкомат.

*11 сентября*

В военкомате со мной говорил человек, который не представился, но я по форме понял, что он из НКВД. Он знает про меня все. Про отца, про деда. Еще он сказал, что моя мать, Олка Берндтовна Штильман-Люсина, осуждена и отбывает срок по делу пособничества мужу Люсину, расстрелянному еще в 37-м году. Я сказал, что ничего про это не знаю, мать давно меня не навещала. Но она мать формальная. Да, она меня родила, но я ее почти не видел, а моя мама, которая меня воспитала, погибла.



Я спросил, какое это имеет значение, я напомнил (уже в который раз) слова Сталина: *сын за отца не отвечает*. Он сказал, что помнит эти великие слова, но речь не об этом. Начал спрашивать (не он первый), почему я хотел поступить в пограничное училище. И почему я так рвусь в армию. Я сказал, что это странные вопросы для любого советского молодого человека. Кто не хочет в армию?

Тогда он зачем-то начал вспоминать школу, опять задавал странные вопросы: зачем я организовал соревнование учащихся, зачем написал в «Комсомольскую правду», зачем мне такие успехи в ГТО и почему я так стремлюсь куда-то наверх?

«Какая твоя цель, вот что я хочу понять?» — он спрашивал меня и так смотрел, будто знал больше, чем я сам.

Но я понял смысл его вопросов. И задал ему тоже вопрос, но прямой:

«Вы меня подозреваете, что я хочу пробиться, чтобы стать диверсантом? А какие у вас для этого основания? Что в моей жизни было такого, хоть один раз, за что меня можно подозревать? Если вы не скажете этого, я ведь тоже могу вас обвинить в том, что вы на пустом месте делаете из меня чуть ли не врага народа!»

Он был спокойным и сказал:

«Хоть один раз? Пожалуйста. Половая связь с немкой Фрицей Келлерман. Нам все известно».

Я даже не сразу понял, о чем он.

А когда понял, удивился и спросил:

«А какое отношение имеет половая жизнь призванного к его службе в Красной Армии? И почему вы уточняете, что она немка, она полноправная гражданка СССР, а в СССР все народы имеют равные права!»

Он засмеялся и сказал:

«Да ты с юмором!»

И стал со мной прощаться.

Но я не хотел неопределенного результата.

Я применил не совсем честный, но вынужденный прием. Я сказал:

«Комсомольская правда» приглашала меня в сотрудники. Мне было некогда, но теперь у меня будет время, если не возьмут в армию, и я напишу и попрошу через газету ответить мне и всем, кто хочет служить, почему нам ставят такие препятствия».

«Ты еще и не дурак, — сказал он. — Ладно. Учти, органы не спускают глаз с таких, как ты».

Кончилось тем, что он сказал идти и ждать повестки.

### *18 сентября*

Красная Армия перешла польскую границу для освобождения украинцев и белорусов и недопущения вторжения на эти территории немецких войск.

А я сижу дома. То есть в комнате в общежитии. Конечно, днем я опять хожу на работу, а вечером сижу и читаю газеты. Больше ничего не могу делать. Давно не писал Тасе в Саратов. Нет настроения. А она приезжает все реже.

Сижу и жду.

### *1 декабря*

Боевые действия с Финляндией. А я все жду.

### *8 декабря*

Получил повестку. С вещами на сборный пункт в военкомат, 9-го в 12:00.

Из нашего цеха ездят грузовые машины в Саратов через Волгу, по льду, я попросился к знакомому, поехал. Хотел увидеть Тасю. Но у нее была практика в военном госпитале, меня туда не пустили. Жаль, не успел попрощаться.

Вернулся. Дневник отца упаковал, этот сейчас тоже упакую и отдам Кате. Ей 10 лет, а умная, будто ей 12 или 13. Она сказала, что у нее есть место, про которое никто не знает и никогда не найдет. Пусть спрячет. На службе вряд ли мне разрешат вести дневник. Да это и неуместно. Буду писать Тасе.

*18.12.1939\**

Моя хорошая Тася!

Я сейчас довольно далеко. Мы на карантине.

Мы ехали трое суток с остановками. Ехали в теплушках. Некоторые ставили в укор, что там грязно и холодно, но я напомнил, что страна должна экономить ради будущих побед.

Кое-что меня удивило. Я привык к культурной среде, в нашем классе, как ты знаешь, никто не ругался нецензурно. А в теплушке говорили только матом и очень громко. Я объясняю это радостным возбуждением перед новой жизнью. И немного страхом.

Еще странность: пели не революционные песни или песни из фильмов, не патриотические, как можно было ожидать, а кто-то начал и другие подхватили песню, которую я слышал раньше, но не знал, что она такая популярная. Я даже приведу тут один куплет, извини, если это тебя покоробит.

---

\* Стопка писем, завернутая в целлофан и перевязанная шпагатом, хранилась вместе с тетрадь-дневником В. Смирнова.

Стучат колеса, я еду скорым,  
И позади мелькают города.  
Я был мальчишка, а стал я вором,  
И уезжаю отсюда навсегда.

Пели во весь голос, умолкали и начинали заново. Я попробовал начать песню из «Трех танкистов», кто-то подхватил, но тут же чей-то голос перебил и спел:

Три танкиста выпили по триста,  
А четвертый выпил восемьсот.

И опять начали петь про мальчишку-вора. При этом у многих, как я узнал, за плечами тоже десятилетка, а некоторые даже поучились в институте.

Но это детали.

Настроение у меня и у других сейчас отличное, несмотря на то что нас всех остригли и обули в ботинки с длинными обмотками. Я думал, что таких уже нет. Может, это временная форма, для карантина. И еще буденовки.

Кормят нас великолепно. Много занимаемся строевой подготовкой, проводят политинформации.

Нас уже распределили, я стал вторым номером пулеметного расчета. Это вовсе не хуже первого, во вторые берут тех, кто крепче, потому что надо носить на плечах станок пулемета весом в 32 килограмма.

Ну вот, пока и все, за исключением того, что не написал, как я думаю о тебе. Но это и так ясно.

Не удивляйся, что получишь письмо не через военную почту. У нас письма сдают в штаб, но я заранее купил несколько конвертов с марками и, когда оказываемся в городе, я бросаю их в обычный почтовый ящик. Это не для какой-то секретности, у меня нет никаких секретов. Просто в штабе, мне сказали, почту

отправляют раз в неделю, а мне хочется, чтобы ушло в тот же день.

Прости, я забыл сказать самое главное: мы приняли присягу.

В.С.

**25.12.1939**

Родная Тася! Тебя не смущает, что я так к тебе обращаюсь? Напиши об этом прямо.

Наш полк участвовал в выборах в местный Совет депутатов трудящихся. Мы опускали листки с фамилиями кандидата в депутаты. Я спросил одного из командиров, кто этот кандидат. Все-таки это не совсем правильно, если мы не знаем ничего про этого человека. Он резко ответил, что, если его выдвинули, уже это значит, что он достоин. Какие могут быть вопросы? Наверное, он прав.

Мы ждем, что нас отправят на финский фронт. Я усиленно занимаюсь, как и все. В наш город, в том числе в госпиталь при нашем полку, прибывают раненые с финского фронта. Нас позавчера послали туда помочь с уборкой и разгрузкой продуктов. Меня назначили старшим. Мы говорили с ранеными, хотели узнать, что на финском фронте, но они хранили военную тайну и отвечали нам грубо. Проще сказать, «посылали». Когда возвращались, я увидел, что один из наших будто забеременел. Оказалось, он набил полную гимнастерку картошки. Я сделал ему замечание и велел отнести картошку назад. Он спорил и не хотел этого делать. Но надо отдать должное остальным товарищам. Они поддержали меня, стыдили этого солдата, и он понес картошку назад.

У тебя скоро начнется сессия, придется туго, но ты умница, ты все сдашь на отлично. Я желаю тебе успе-

хов! Постараюсь быть тебя достойным. У меня все хорошо, только жду, не дождусь когда нас отправят.

В.С.

*15.1.1940*

Родная Тася, не удивляйся, что получишь письмо, где я ничего не напишу. У меня служба, учеба, все то же самое. Я просто очень хотел послать это письмо. Мне нравится представлять, как ты его получаешь, смотришь на рисунок, на марку (или не смотришь?), а потом вскрываешь и читаешь.

Вот и все.

Извини, если это неудачная шутка.

Такой я странный,

Владимир Смирнов.

*2.2.1940*

Родная Тася!

Мы переместились. Теперь мы уже не запасной полк, а настоящий.

На новом месте устроились хорошо, в казармах. Все отлично, но почему-то перебои с водой. То есть она есть для питья (баки в казармах), в столовой в виде чая, а умыться можно только в банный день. Но я придумал — я выбегаю голый по пояс, растираюсь и умываюсь снегом. Сержант Ващенко похвалил мою инициативу и приказал всем это делать. Некоторые из-за этого на меня обиделись. Я убеждал их, что это полезно для здоровья. Но один указал мне на красноту на лице — какая-то реакция на снег, второй показал фурункулы, и так далее, у многих нашлись причины. Я засомневался и сказал Ващенко, что растира-

ния снегом можно делать в виде личной инициативы и желания, а получилось, что теперь это происходит в приказном порядке. Вряд ли это правильно. Ващенко рассердился, я получил наряд вне очереди. А Ващенко тех, кто жаловался, заставил не только мыться снегом, но ползти по-пластунски.

Тася, я обиделся на него, но потом стал размышлять. И понял, что он прав. Во-первых, надо привыкать к тяготам войны. Во-вторых, пусть даже Ващенко не совсем прав, пусть он грубоват (Витя Малышкин, например, обижается, что он всем тыкает, а его презрительно называет студентом, Витя действительно успел побыть студентом), у него всего три класса образования, он говорит неграмотно, он, прямо скажем, по уму не академик, но приказ есть приказ. Смешно представить, если на передовой такой же сержант скажет: «Будьте любезны, товарищ Малышкин, не хотите ли подняться в атаку?» Он крикнет: «В атаку!» Да еще добавит пару русских слов, как у нас тут принято. Потому что нет времени на другие слова.

Мы ждем отправки на фронт. Я выполняю все нормативы по сборке-разборке винтовки и пулемета, по стрельбе (не блестяще, сказываются 0,2% близорукости, которая у меня, увы, имеется), но вполне нормально.

Уверен, что ты хорошо сдала сессию.

До встречи!

В.С.

**14.2.1940**

Родная Тася, все ощутимее приближение настоящих боев. Совсем не занимаемся строевой подготовкой, зато много стрельбы и тактики.

Полк объявлен на военном положении. Никаких увольнительных, все личные вещи при выходе на полевые занятия иметь в ранце. Потому что могут отправить прямо с поля.

Пишу наскоро.

Кончаются конверты, а купить их тут почему-то нельзя. В части есть безмарочные для красноармейских писем, если что, пошлю в таком конверте.

Нас переодели: теперь каски вместо буденовок и сапоги.

Все предвкушают, что будет впереди.

Мы второй раз приняли присягу, потому что прежние документы то ли остались в том городе, где мы были, то ли как-то затерялись. Малышкин начал шутить по этому поводу, Ващенко дал ему наряд. И правильно: в таком лихорадочном ритме жизни все может случиться. И с такими вещами не шутят.

В.С.

**28.2.1940**

Дорогая Тася, мы каждую ночь тренируемся, погружаемся в вагоны по тревоге. А потом выгружаемся. И так уже почти неделю, а отправки все нет.

Пишу, как видишь, совсем мало, времени нет.

Обнимаю тебя (извини за наглость, но это только образное выражение).

В.С.

**2.3.1940**

Родная Тася, уже вовсю отправляют эшелоны. Мы на очереди.



Спасибо, что простила мне мою письменную (ведь не на самом же деле) наглость. Теперь с полным правом пишу: обнимаю тебя.

А ты — как хочешь, это твое право.

Если тебе кто-то понравится, я это пойму.

Я стал понимать намного больше, в том числе в отношениях людей.

Например, Котусов, тоже, как и Малышкин, студент и москвич, начал тут бегать к какой-то женщине. И всем про это рассказывал. Я не вытерпел и сказал ему:

«Заткнись! Ты не имеешь права рассказывать про женщину такие вещи!»

А он ответил:

«Это такая женщина, что про нее все можно рассказывать, она обслуживает полгорода!»

Тася, разве это правильно? Зачем ходить к женщине, если ты ее не уважаешь?

Обнимаю и целую тебя (очередная наглость с моей стороны!)

Вл. Смирнов

*13.3.1940*

Родная Тася, пишу тебе из нового места.

Во-первых, ты зря вспомнила Фрицу в своем предыдущем письме. Да, там тоже не было полного уважения с моей стороны, но она, кроме меня, ни с кем больше в это время не была, не надо сравнивать. Я ее не защищаю, просто не хочу, чтобы о человеке судили меньше, чем он является на самом деле.

Мы два дня назад прибыли с эшелоном. Уже не пели песен, были все немного притихшие. Думали, что ждет впереди. Я тоже думал. Я не боюсь смерти, я боюсь одного: что она придет преждевременно, ког-

да я еще ничего не успею сделать. Я поделился мыслями со своим первым номером Сашей Свиноаренко. Он старше меня, но не закончил школу, работал на заводе. И очень умный от природы человек. Он сказал: «Самое лучшее — совсем не думать о смерти. Ты попал на линию фронта, тебе дали цели, ты должен по ним попасть. Все, больше ни о чем думать не надо».

Он прав. Я часто чувствую, как мои мысли мне мешают. То есть я осознанно не боюсь смерти, а тот, кто совсем о смерти не думает, а просто готов выполнить задачу, они на самом деле умнее.

Но все это оказалось напрасно.

Мы опоздали.

Война кончилась нашей победой.

И я рад, что это так, но гнетет ощущение, что мне не хватило какого-то дня, чтобы успеть, как говорится, понюхать пороха. Это немного обидно.

Но наша победа превыше всего.

Обнимаю и целую тебя!

Твой (опять наглость!) Володя.

*18.3.1940*

Уважаемая Таисия, здравствуйте!

Я не нарочно называю Вас на Вы, просто теперь не имею другого права.

Не расстраивайтесь, я не обижаюсь, что Вы начали серьезные отношения с Романом Кашиным. Но меня удивило то, что у Вас это началось еще зимой, а Вы мне не написали об этом ни слова. Вы разрешили письменно обнимать и даже целовать себя, а сами в это время... Но — замнем.

Про то, что Кашин с зимы в Саратове, я тоже не знал.

В общем, я не знал ничего.

Почему?

Вы считали, что нельзя меня беспокоить, когда я мог погибнуть на фронте? Это благородно с Вашей стороны, но неправильно. Я достаточно мужественный человек. Я бы не полез под пули из-за этого. То есть я пошел бы под пули, но совсем по другим причинам.

Я желаю Вам счастья. Не передаю привет Кашину, это будет лицемерием, я не хочу врать. Да, отношение у меня к нему плохое, и я этого не скрываю.

Последняя просьба: пожалуйста, уничтожь мои письма.

Или передай их Кате, моей сестре, упаковав и попросив не читать, пока я не вернусь. Твои письма, которые у меня сохранились (а сохранились не все по понятным причинам), могу выслать в любой момент по твоему желанию.

Извини, по привычке перешел на ты.

Всего Вам доброго, Таисия, счастья в личной жизни и успехов в учебе.

И это не злая ирония, я пишу это от чистого сердца.

Не Ваш теперь (да и никогда им не был),

Владимир Смирнов.

**4.5.1940**

Катюша, сестренка!

Меня огорчило, что ты обиделась на то, что я писал посторонней девушке, а не тебе. Пойми, мой сестреныш, ты хотя и очень у меня умненькая, но есть вещи, которые тебе знать рановато. Поэтому я присылал тебе только открытки.

Прости, моя родненькая, я исправлюсь.

У нас недавно был Первомайский парад. Было много техники, людей, в том числе военных. Катя, когда такая масса орудий, танков, другого транспорта и вооруженных солдат идет по площади и земля аж дрожит, когда чеканят шаг тысячи ног, тогда понимаешь, как сильна наша Родина, как трудно нас победить.

А сегодня нас отправляют по новому назначению. Погода прекрасная и ехать будет очень хорошо.

Обнимаю тебя, моя сестреночка, скучаю по твоим голубым глазкам.

### 16.5.1940

Сестра Екатерина! Прости глупого старого брата, что он тебя задел. Но я вовсе не считаю тебя ребенком. Если назвал, как ты пишешь, «сестреныш», «умненькая» (если честно, я этого не помню), то не для того, чтобы поиздеваться (как тебе это пришло в голову???), а просто от теплых чувств к тебе.

И что плохого в слове «умненькая»? Считаешь, что это мало умная? Нет, ты умная много. И я этим горжусь.

Ну вот, сестра Екатерина, теперь докладываю.

Мы теперь в летнем лагере, в палатках. Каждый день много занимаемся.

Бываем и в городе. Это довольно большой город. Мы с моим другом Сашей вчера там были, ели мороженое и катались на трамвае.

Ты еще обиделась, что я твои глаза назвал голубыми, а они серые. Катя, человек иногда сам себя неправильно видит. Я всегда считал, что у меня как раз серые глаза, пока одна женщина не сказала, что они голубые. Я после этого посмотрел в зеркало и с удивлением увидел: да, в самом деле, голубые!

Такие вот бывают дела, сестра Екатерина.

Твой брат Владимир.

12.6.1940

Катя (если тебе только так нравится), ты меня запутала. И так тебе плохо, и так не нравится. Попытался написать серьезно, а ты решила, что я еще больше издеваюсь. Даже когда написал, что мы с другом катались на трамвае. Как дети. Но дело в том, что у нас мало развлечений, и прокатиться на трамвае после напряженных занятий — огромное удовольствие. Так что, как видишь, никаких издевательств.

Может, я немного шутил, но, если ты не велишь, не буду.

Буду писать максимально серьезно. С условием, если позволишь себя называть хотя бы Катюшкой. Идет?

Ты требуешь, чтобы я подробно описывал тебе, где я нахожусь и к чему мы готовимся. Но это ведь секретные данные. Хотя, если честно, мне кажется, они всем известны.

Я отправлю это письмо обычной почтой, в обычном конверте, когда найду почтовый ящик. На обратный адрес не обращай внимания, меня там уже не будет.

Мы сейчас выдвигаемся к границе с Румынией. Мы собираемся освободить Бессарабию, которая входила раньше в СССР, а до революции была частью России. Румын там нет, только молдаване, украинцы, русские, евреи и другие. Нам это говорят на политзанятиях, но я и так об этом знаю из газет. И ты, наверно, уже знаешь.

Мы совершаем длительные пешие переходы, устает, поэтому пишу коротко (а то и на это обидишься).

Обнимаю тебя (это-то можно?), твой любящий брат.

Жаль, что ты пока не можешь мне ответить: неизвестно, куда писать.

Владимир.

**24.7.1940**

Родная Катюшка, я не мог тебе написать раньше. Вернее, мог, но трудно было отправить письмо.

То, что я мог бы тебе сообщить о важных событиях, ты и так знаешь из газет и радио. Я горжусь тем, что освобождал Бессарабию. Нас встречали цветами, хлебом, молоком и фруктами. Румынские пособники империалистов испугались нашей мощи и капитулировали. Я опять не принял участия в боевых действиях, хотя был к этому готов. Но я чувствую, что все еще впереди.

Я учился в полковой школе (это уже третья учеба), мне присвоено звание сержант. Можешь гордиться.

Я сейчас первый номер пулеметного расчета, много веду политической работы по поручению командира, который оценил мое умение объяснять. Мне это действительно удается.

Твой любящий брат Владимир.

**12.8.1940**

Катюшка, привет!

Я уже далеко от прежнего места службы. Но зато ближе к центру нашей Родины.

На мое знание немецкого языка никто раньше не обращал внимания. Я писал в анкетах, что владею свободно, но это пока не пригодились. И вот меня вызвали в штаб и сказали, что направляют на курсы переводчиков.

Я здесь уже две недели.

Оказалось, что мой немецкий лучше, чем у многих. В Энгельсе никого не удивишь, если русский че-

ловец на немецком говорит, как на родном, да еще при этом различает разные диалекты. Кстати, очень немногие знают, что такое наша республика, где она находится (только слышали, что где-то на Волге), я им рассказываю.

Мы занимаемся каждый день, но при этом продолжаем нести воинскую службу: строевые занятия, караулы, наряды и т.д.

Но главное: я узнал, что эти курсы приравниваются к училищу, то есть я становлюсь лейтенантом и продолжаю службу без угрозы увольнения в запас, как я и хотел.

Катя, я, как и ты, ничего не знаю про папу. Послать запрос не могу, зря ты считаешь, что мне это легче. Наоборот, труднее. И тебе я этого не советую. Давай надеяться, что он скоро вернется. Сейчас как никогда нужны хорошие производственники-специалисты, а он у нас таким и был.

Обнимаю тебя, сестренш.

Я нарочно так тебя назвал, потому что ты сердишься, а мне нравится, как ты сердишься.

Твой брат В.С.

**12.9.1940**

*(открытка)*

Катя, некоторое время ты не будешь получать от меня писем. Я не знаю сколько.

Крепко обнимаю, целую.

Больше ничего написать не успеваю.

Не забывай меня, а я тебя помню каждый день. Смотрю на твою фотографию.

Крепко обнимаю и целую, моя Катюшка!

Твой навсегда брат В. Смирнов.

24.3.1941\*

Здравствуй, Павел, мой дорогой товарищ!  
Как видишь, я вернулся к своему дневнику.

Кажется, немного времени прошло, но до чего же смешно читать то, что я писал школьником! Правда, многое изменилось в жизни страны и в моей жизни. Время движется все быстрее, за месяц происходит всего столько, сколько в каком-нибудь XIX веке случилось за год.

Я опять живу в Энгельсе, продолжаю службу в новом качестве\*\*. Может быть, это не совсем то, что я предполагал, то есть участие в боевых операциях, но это еще не исключено, а пока я не имею права чураться никакой работы.

Преыдуший период жизни показал мне, что во многих людях есть двойное дно, которое не сразу удастся увидеть. Тысячу раз прав товарищ Сталин: *Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут накопить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обреченных. В тылу советского государства буржуазные государства должны посылать вдвое, втрое*

---

\* Продолжение записей в дневнике В. Смирнова

\*\* В. Смирнов в сентябре 1940 г. был направлен в Латвию, в Ригу, где вскоре началась вторая волна репатриации прибалтийских немцев (первая была в 1939 г.). Есть сведения, что он проживал там под фамилией матери — Штильман. Кем и где работал, чем занимался, об этом ничего неизвестно, а в дневнике В. Смирнова никак не отражено. В марте 1941-го отозван из Прибалтики и откомандирован в родной Энгельс. К этому времени был сержантом госбезопасности, что соответствовало армейскому званию лейтенанта.



*больше шпионов, вредителей, диверсантов, убийц. Вредительская и диверсионная шпионажная работа агентов иностранных государств задела в той или иной степени все или почти все наши организации как хозяйственные, так и административные\*.*

Это и есть теперь мое руководство к действию.

И неправда, что советская власть действует не глядя, исходя только из происхождения человека или, тем более, из национальности. Я наполовину немец, мой отец осужден, но мне доверили очень ответственную работу, выдвинули кандидатом в ВКП(б). И я этим горжусь. И если даже бывают отдельные ошибки (не исключаю, что так произошло с моим отцом), то при таком масштабе и объеме работы они практически неизбежны.

#### 8.4.1941

Зверски устаю, товарищ Павел, работаю и днем и ночью. Но иначе нельзя.

Вчера имел беседу со священником-пастором из дальнего немецкого села. Он притворялся, что почти совсем не знает русского языка. И ничем не интересуется, кроме своей религии. Я предоставил ему записи его проповедей на немецком. И спросил:

«Может, вы этого не говорили?»

Он прочитал и сказал, что говорил, но не так.

«Как — не так? Молиться за невинно убитых, за несчастных, покинувших свой дом не по своей воле, вы так говорили?»

«Примерно так».

«И что вы имели в виду?»

---

\* «Правда», 29 марта 1937 г. (После этого публиковалось и цитировалось неоднократно.)

Он начал бормотать, что невинно убитые — от рук разбойников. В разное время.

На этом я его подловил:

«Какие разбойники, в какое разное время? Давайте по фактам: из вашего села было схвачено и уличено в антисоветской пропаганде и деятельности, а потом расстреляно четыре человека. Кто это сделал? Это сделано именем Советской власти. Значит, вы считаете, что Советская власть — разбойники?»

Он понял, что проболтался, начал оправдываться, но я его тут же добил:

«А покинувшие свой дом, как я понимаю, это сосланные кулаки и контрреволюционеры? Вы их называете несчастными?»

Он понял, что вилить бесполезно, и заявил:

«Да, они несчастные, потому что им не дали возможности оправдаться и исправиться! Наказание должно соответствовать деянию».

А потом понес уже откровенно антисоветскую ахинею, я едва успевал записывать.

И полностью во всем сознался.

Это уже третий признавшийся за неделю. Даже новый наш нарком ВНС\* заглянул ко мне в кабинет и лично поблагодарил.

У нас бывают и другие методы. Мне не нравится, как работает Ю.Ш.\*\* Он с самого начала кричит, а потом применяет физическое воздействие, в том числе опасное для здоровья. Я считаю, что во всем должна соблюдаться законность: если мы преследуем людей за нарушение советских законов, то первые должны соблюдать их во всем. Одно дело работа агентурного ха-

---

\* Инициалы легко расшифровываются: это Великанов Николай Сергеевич, старший лейтенант ГБ, в период с 26 февраля по 31 июля 1941 г. — нарком НКВД АССР Немцев Поволжья.

\*\* Не удалось узнать, кто это. Да не очень и хотелось.

рактера, там бывают всякие ситуации, в том числе когда невозможно обойтись без физического воздействия и даже уничтожения вероятного врага, другое — когда ты официальное лицо, в официальной обстановке.

Надо поднять этот вопрос на совещании у ВНС.

#### 10.4.

Вопрос поднял. ВНС поддержал меня. Ю.Ш. раздраженно сказал, что у него выше процент раскрываемости. ВНС обратил его внимание на то, что его подследственные потом начинают писать апелляции и жалобы, а у Смирнова (то есть у меня) не пишут.

«Пусть пишут!» — ответил Ю.Ш.

К сожалению, разговор ничем не кончился.

Меня это не удовлетворило, я подошел к Ю.Ш. и сказал, что теперь, пользуясь поддержкой ВНС, буду контролировать его действия.

Он ответил нецензурно. Послал меня. И сказал, что никакой поддержки не было.

Я удивился:

«Разве ты не слышал, как ВНС поддержал меня?»

Ю.Ш. сказал:

«Он не поддержал, он не стал спорить. Потому что все знают — ты дурачок. А с дурачками не спорят».

Ю.Ш. хотел меня обидеть, нарываться на ссору, но я не стал углублять конфликт.

Завтра едем по районам.

#### 23.4.

Почти две недели мотались по районам.

Порадовало, что очень много здоровой молодежи. Верят в новую жизнь, презирают старую, охотно

рассказывают о тех, кто живет с отсталыми настроениями.

Большую роль, как я понял, в поддержании этих отсталых настроений играют служители культа. Хотя атеистическая пропаганда везде развернута, есть кружки, настенная печать, агитация, культовые сооружения переделаны в клубы и тоже служат рассадником атеизма, но люди старшего поколения все втайне соблюдают обряды.

Есть и секты, они и раньше обходились без церквей, а теперь совсем ушли в подполье. Но оттуда тянут свои щупальца к молодежи.

Я становлюсь специалистом по религиозной тематике.

Попросил найти для меня библию, только с новой орфографией. Сказали, что с новой нет, кому она нужна? Нашли церковнославянскую, ее разбирать трудно. Тогда я взял немецкую. И с самого начала начал спотыкаться.

Вот написано:

*Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.*

*Und die Erde war w st und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser\*.*

Если ничего не было, над какой водой носился дух?

Идем дальше. Бог создал свет и отделил ночь от дня. Потом создал твердь. Но потом началась какая-то ерунда: зачем-то еще раз создал землю, потом светила. А без светил откуда свет-то брался?

Читаю дальше.

*Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib.*

---

\* В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. (Нем.)

Сначала опять все просто: бог создал человека. И тут же: они создали мужчину и женщину. Кто они? Или это путаница из-за того, что библия на старонемецком языке?

Но во второй главе он ОПЯТЬ создает человека (а что до этого создал???), а дальше того хлеще — создает ему жену. А раньше кто был? Любовница, что ли? И куда подевалась?

В общем, младенцу ясно, что это нелепый дурман. Но удивительно другое, как этому дурману верят люди уже несколько тысяч лет? Ответ — идет внедрение через других людей через других людей\*. Они вбивают, втолковывают, втемяшивают. Следовательно, с людьми и надо работать.

Был неподалеку от хутора Г.\*\* Спросил людей, живет ли там такая-то женщина, назвал ее имя. Сказали: да, живет. Хотела уехать, но передумала. Живет одна с ребенком. Ребенок совсем маленький.

Наверно, кого-то нашла на время. Как когда-то нашла меня. И родила. Я хотел сначала поехать и узнать, но был не один, да и не имел права использовать в личных целях служебную командировку.

#### 28.4.

Взял выходные, съездил.

Новости такие: у меня есть сын Антон. Родился 27 марта 1938 года. Сейчас ему три с хвостиком и понемногу говорит. Но только на том языке, что и мама.

---

\* Дважды написана одна и та же фраза — сперва в конце страницы, а потом в начале следующей. Вряд ли стоит искать в этом какой-то особый смысл.

\*\* Видимо, Гейбель.

Получается, она в конце апреля 38-го виделась со мной через месяц после рождения сына. Она подтвердила: да, оставила его бабушке Воне и поехала повидаться со мной.

«Но мы же встретились случайно».

«Это ты так думал. Ты совсем молодой. Ты даже не заметил, что я после родов изменилась. Молоко из меня текло, как кровь, я сказала тебе, что у женщин это бывает, когда у нее женские, а ты, глупенький, и поверил».

Оказывается, она меня специально искала и нашла. Хотела решить, сказать мне про сына или нет. И решила не в мою пользу.

Я спросил почему, но отказалась назвать причины. Сказала только:

«У тебя своя жизнь».

Я возразил:

«Этот вопрос касается нас двоих, ты не имела права решать его одна. А сейчас что происходит? Он растет тут в навозе, как трава, и даже не понимает русского языка! Я этого не могу допустить».

Разговор был долгий, пришлось остаться на ночь.

Ночью мы помирились, и это понятно.

Но утром опять спорили. Я понял, что это зашло в тупик, взял ребенка, сел в бричку и спросил:

«Едешь со мной или остаешься?»

Она заплакала и согласилась.

#### 29.4.

Не откладывая, зарегистрировали брак. После посидели вдвоем, никого не стали приглашать.

30.4.

Меня вызвал ВНС, расспрашивал про обстоятельства моей женитьбы. Я все честно рассказал. Неприятно, что при разговоре был Ю.Ш. и другие. Но это у нас часто, ВНС не любит шептаться, все вопросы решает в присутствии сотрудников, за исключением отдельных секретных, служебных.

Ю.Ш., услышав, во сколько лет я стал отцом ребенка, начал сально шутить и глумиться, я предупредил, что за такие шутки могу в нерабочее время набить морду. И пусть наложат взыскание. ВНС сделал замечание Ю.Ш. Но сказал и мне, что мой брак на немке, учитывая окружающую обстановку, может осложнить мою работу.

Я спросил:

«Каким образом?»

Он сказал:

«Сам понимаешь».

Да, я понимаю. Не дурачок, как считает Ю.Ш. Но что бы вы хотели? Чтобы я отказался от своего сына? Или чтобы жил с его матерью внебрачно?

Примерно так я им сказал.

На этом и кончили.

Нет времени углубляться в личное: впереди демонстрация и связанное с ней огромное количество мероприятий.

Человек, товарищ Павел, существо непредсказуемое. Я был уверен, что люблю Тасю, но, как выяснилось, даже не вспоминаю о ней. Виделись один раз на улице в Саратове, я улыбнулся, пожал ей руку. Она глядела как-то испуганно, будто боялась упреков и не верила моей улыбке. А я видел в ней бывшую одноклассницу, только и всего. Без всякой обиды.

А к этой женщине всегда тянуло. Может, я и без ребенка взял бы ее.

Конечно, ее надо образовывать, найти ей работу, чтобы была в коллективе, а няню в Энгельсе подыскать нетрудно.

#### 4.5.

Выявлена группа сектантов, которые пришли под видом демонстрации, но обратили на себя внимание тем, что смотрели не на трибуны руководства, а в небо, будто просили дождя. Их задержали, у каждого оказались под одеждой кресты и иконки. Они не к Советской власти пришли на демонстрацию, а к богу.

Оказались старообрядцы.

Кого у нас только нет.

#### 10.5.

Прошу Фаину (мы поменяли ей имя при оформлении брака — уж заодно), чтобы говорила с Антоном только на русском. Нашли няню, но она оказалась украинка, говорит с сильным акцентом. Будем искать другую. Язык для человека — очень важная вещь.

#### 14.5.

Товарищ Павел, я забываю иногда обращаться к тебе, но на самом деле постоянно сравниваю мысленно твою жизнь со своей. Ты не обзаводился долго семьей, весь отдавался делу революции, но сейчас другие условия. Семья — важная часть общества. И многое



зависит от направления, в котором воспитываются дети. Тут нужно единство целей и понимание, ради чего мы живем. А я недавно встретился со случаем, когда в семье все наперекосяк. Дед — темный немец, меннонит, не скрывает, что против службы в армии и в целом государства. Внук атеист и стремится в армию, и сейчас его вполне могут взять, изменились правила (раньше могли и притормозить, хотя в целом наши немцы считаются крепко советскими). А отец, похоже, не верит ни в бога, ни в советскую власть и вообще ни во что. Так и сказал:

«Я утром просыпаюсь — спасибо. Работаю — спасибо. Ем — спасибо. Жив-здоров — спасибо. Больше меня ничего не интересует».

Взял их Ю.Ш. по информации, что дед организовал религиозное подполье. Взял, по своей привычке, сразу всю семью. Я вмешался с разрешения ВНС. Чтобы, как говорится, отделить зерна от плевел. Тогда и понял, что внук толковый парень, отец — безобидный крестьянин, а вот с дедом пришлось разбираться.

Удивил он меня, если честно.

Я упрекал его, что он, как все верующие, уперся в этот тупик и не хочет видеть жизни. Вера, со своим учением о загробной жизни, лишает людей интереса к жизни настоящей. Показал ему библию, привел примеры махровой путаницы, которую нормальному человеку понять невозможно. Если только не стучать книгой по голове, что у вас и делают. А попробуй усомниться, что решения вашей этой самой внесудебной тройки, то есть бога-отца, бога-сына и какого-то там еще святого духа, могут быть неправильные или что-то они не так постановили, тут же у вас расправа, инквизиция, костры, мы историю изучали, знаем. Коммунизм предлагает человеку свободу воли и действий, а вы тянете его назад. Какая это свобода, если вы де-

тей грудных крестите, когда они еще ничего не сообщают? Все равно как если бы мы грудничков в партию принимали!

Он слушал, а потом начал возражать. Оказывается (я этого не знал), эти меннониты крестят только взрослых. И вера в загробную жизнь не мешает строить жизнь земную, хорошую и правильную. И любить ее. И свободу воли, выбора бог человеку будто бы оставляет, это не только меннониты считают, а все христиане. Долго еще он говорил. А в конце провокационно заявил:

«Мы-то как раз свободны понимать наши символы веры так, как это может осилить ум отдельного человека, и ничего за это никому не будет, а попробуй кто из вас заяви, что он сомневается в учении вашей троицы, Маркса-Ленина-Сталина, тут же полетит вверх тормашками. Как и я, скорее всего, полечу, но я не пропаду, моя троица со мной, а кому вы будете молиться, если прищучат? Марксу-Энгельсу-Сталину?»

Я пытался объяснить, что сравнивать тут нельзя: с одной стороны — сказки, неизвестно кем сочиненные, а с другой — учение реальных людей. И это учение всесильно, потому что оно верно, как сказал Ленин. С какой стати я буду заявлять о том, что сомневаюсь в верном учении, если я не сомневаюсь? Да и другой тоже. А если кто сомневается, то на самом деле не в учении, а в деле коммунизма, и тут уже речь о вреде для страны, идущей выбранным народом путем.

Мы еще говорили, но потом он неожиданно все прекратил, попросил бумаги и написал признательные показания.

Мутный человек. Запутавшийся в своих заблуждениях. Если бы другое время, его можно бы исправить, но времени нет. Да и возраст.

## 16.5.

Я пропустил Ветхий Завет, в котором сплошная путаница и несуразица. Читаю Евангелия. Но тоже выдумка на выдумке, невероятные чудеса.

Допускаю даже, что Христос был на самом деле, а потом напридумывали всякой ерунды. Наша учительница истории Генриетта Вильгельмовна рассказывала, что, когда не было письменности, многое передавалось устно и перевиралось. Взять былинного Илью Муромца. Конечно, нельзя верить тому, что про него сложил народ, но, возможно, в Муроме жил какой-то очень сильный человек, герой, а ему приписали все остальное. Я думаю, так же произошло с Христом.

И даже такая мысль возникла, товарищ Павел, опять обращаюсь к тебе. Может быть, тогда, в то темное и зверское время, был человек, чем-то похожий на тебя. Он хотел освобождения бедняков, говорил, что царство небесное для нищих, а богатых торговцев выгонял из храма. То есть он был революционер, он боролся за правду и равенство, за светлое будущее. Но понимал его в извращенном виде. Или так поняли те, кто потом это все описал. И он отдал жизнь за людей, это достойно уважения. Он, как и ты, в своей борьбе чурался женщин и всего, что отвлекало, был принципиальным. Мне кажется, сходства много. Но он не сумел организовать восстания, стать тем, кем впоследствии стал Спартак или еще позже Гарибальди. Наверно, общество было еще не готово.

Я поделился этими мыслями с Фаиной (уже привык к ее новому имени), она сказала, что не хочет говорить на эту тему. Сказала, что просто верит в бога и царство небесное.

«Как ты можешь верить в то, чего никогда никто не видел?»

Она сказала:

«Но ты же веришь в коммунизм, хотя тоже его никогда не видел?»

«Я не верю, я в нем убежден на основе логики».

«И я убеждена на основе логики».

«Откуда логика в слепой вере?»

«Она не слепая, а зрячая. Я вот молилась, чтобы ты вернулся. И смотрела богу прямо в глаза, то есть в небо. И ты вернулся. Разве это не логика?»

Попробуйте поспорить с женщиной ночью. Чем кончается, всем известно.

При этом я согласен: да, человека ведет судьба. Но перед этим человек выбирает судьбу. Вот вам и логика.

## 18.6.

Немного обидно за то, что случилось.

Я в последнее время чувствовал себя счастливым человеком. Растет замечательный сын, да и Фаина растет на глазах во всех смыслах, очень хваткая. И не скажешь, что из крестьянок, были с ней в концерте, она так оделась и причесалась, что все на нее оглядывались. Она, к тому же, моложе выглядит, иногда совсем как девочка. А я кажусь старше и у меня уже лоб лысеет. Так что смотримся ровесниками.

А в концерте был Немецкий госхор. Человек сто на сцене, и так поют, что заслушаешься.

Немного отвлекаюсь, не хочется рассказывать о неприятности.

Иногда попадают не просто вредители или заблудившиеся, а агрессивные и злобные враги. Такой мне достался от Ю.Ш., его опять куда-то командировали. Ю.Ш. остался верен своим привычкам, подследственный был в синяках. И нервно дергался. Я его успокоил и начал обычный разговор. Но он дергался все больше. Потом закричал:

«Хватит меня дурачить, хватит притворяться, ты хуже прежнего, тот сразу по роже, а ты из меня душу тянешь! Бей сразу, сволочь!»

Я сказал, что не собираюсь его бить.

«Будешь!» – крикнул он и бросился на меня.

Он был худой, но сильный, с разлета ударил очень больно, мне пришлось защищаться. Но он не унимался. Получилась настоящая драка. И до тех пор, пока я не привел его на полу в неподвижное состояние, он не мог успокоиться.

А я обнаружил в себе неприятный азарт. Так, наверно, бывает на фронте: ты начинаешь бой, бежишь к вражескому окопу, схватываешься врукопашную, бьешь и чувствуешь, что получаешь удовольствие. Но ведь не от мучений врага, а от того, что ты его одолел.

Но все равно неприятно.

В воскресенье поедem с Фaeй, Антоном и Катей на Сазанку\*, развеeмся. Вода там, говорят, такая теплая, что можно купаться.

Катя у нас с начала лета и проведет с нами все каникулы, с Фaeй у них отношения хорошие, а Антона не спускает с рук, хотя тот уже довольно тяжелый. Я вижу, что ей нравится быть старшей сестрой. Она очень повзрослела. Задаёт серьёзные вопросы, я как могу отвечаю.

Так что я все-таки счастливый человек, несмотря ни на что.

### *29 августа 1941 года\*\**

Ну, вот так, товарищ Павел...

Лихая година, которую я предчувствовал, настала для нашей Родины.

---

\* Озеро в окрестностях г. Энгельса.

\*\* Запись в новой тетради – тонкой, ученической, в клетку.

Перерыв в моих писаниях объясняется следующим.

22 июня мы поехали купаться, были на озере весь день, вернулись в город вечером и узнали, что началась война.

Я хотел записать свои мысли по этому поводу и не нашел дневника. Смотрю, а тетради отца тоже нет. Спросил Фаю, она сначала отнекивалась, потом призналась, что давно хотела посмотреть, что я все время пишу, но сдерживалась, а три дня назад не сдержалась, прочитала. И тетрадь отца. Не все подряд, потому что читает по-русски медленно, но ей хватило, чтобы испугаться. Хотела даже сжечь, а потом спрятала. И не скажет куда.

Я начал ее убеждать в глупости ее поступка, но она плакала и говорила:

«Эти тетради погубят тебя и нас с Антоном. Началась война, теперь все будет по-другому».

«Не отговаривайся, ты спрятала, когда еще не было войны».

«И без войны нельзя этим заниматься. Ты же все записываешь».

«Не все, а некоторые факты».

«Вот и я о том же, факты. А факты нельзя записывать. Если бы было можно, это было бы в газетах, а там ничего такого нет. В жизни одно, а в газетах совсем другое. Вот зимой поезд сошел с рельсов под Анисовкой, люди погибли, все об этом знают, но ни одна газета не написала».

Я объяснил, что она и раньше должна была понимать, а особенно теперь, когда пришла война, что газеты не имеют права отражать наши отдельные недостатки и давать козыри врагам. Об этом надо не писать, а конкретно разбираться, что, кстати, и было сделано, и я тоже принимал участие. Но об этом, меж-

ду прочим, не стал писать, хотя мог бы, потому что газеты одно, а личный дневник — только для себя. И, может быть, для потомства.

«Еще хуже. Значит, наш Тоша прочитает, как у нас с тобой было. Думаешь, ему будет приятно? И про меня, и про Тасю твою, и все эти твои истории? Да еще смеяться начнет, что ты пишешь человеку, которого и на свете не было!»

«Его не было, а его автор был. Он про себя писал. И обращаться можно к кому угодно, в литературе это сплошь и рядом, а я, когда придет время, буду заниматься литературой, как Островский, так что для меня моя тетрадь — материал! Ты сама-то вот к богу обращаешься, которого уж точно нет, и ничего?»

«Я не для литературы обращаюсь, а для жизни. А бог и так мои мысли знает. А твои мысли, если узнают, кому не надо, сделают неправильные выводы, ты этого не боишься?»

«Бояться должен, кто врет и лукавит, а мне бояться нечего!»

«Как раз кто врет и лукавит, ему нечего бояться, странно, Володя, что ты такой умный, а этого не понимаешь».

«Ну, спасибо, что дураком не назвала».

«Ты умный, да. Auch gescheite Nähne frisst der Fuch\*», — сказала она по-немецки.

Я рассердился:

«Кого ты лисой считаешь, советскую власть, что ли?»

Я не запомнил других подробностей, но ругались и ссорились мы долго. Стыдно было, что в такой день занимаемся такими вещами. Но отдать тетради она отказалась наотрез. И обидела напоследок:

---

\* Умных петухов лиса тоже ест.

«Может, ты меня на допрос вызовешь в вашу контору? И какие-нибудь особые меры применишь? Или давай в ссылку меня — как твоего отца!»

Тут мы окончательно разругались.

Спали врозь.

На другой день у военкомата была огромная очередь добровольцев, желающих отправиться на фронт. Я пришел к ВНС и сказал, что хочу попасть на фронт и прошу мне в этом посодействовать. Но он ответил, что это не в его компетенции, нужно подать рапорт по начальству. А начальство — он, то есть через него. Он перешлет, и мы будем ждать решения. А пока много текущей работы. Может быть, никакого дополнительного призыва и не будет, нападение отобьют наши кадровые регулярные войска, без помощи запасников.

Но мобилизация все-таки была объявлена. Много молодых немцев, в том числе уже служивших, хотели воевать, но военкомат тормозил и ждал каких-то указаний. Была некоторая неразбериха. Кого-то отправили, а потом вдруг вернули, кому-то сразу же приказали разойтись по месту жительства. Некоторых направляли к нам для беседы и выяснения причин такого желания воевать. Большинство, по моему, были патриотами нашей общей Родины, я давал им благожелательные характеристики. Но у военкоматов свои предписания.

Характерно, что у многих было настроение радости. Мы были уверены, что война быстро и победоносно кончится. Я и сейчас считаю, что долго это не продлится и временное отступление — для концентрации наших сил. И то, что завтра отправляюсь на фронт, как и другие, тому подтверждение: свежие силы навалятся и покончат с войной.

Но я забежал вперед.



Пока я ждал решения, у нас начались передвижки. В конце июля прибыл ГВВ\*, теперь он нарком, а ВНС перешел в его заместители. Приехали и другие сотрудники НКВД. Меня перевели на архив, привлекали быть переводчиком.

С Фаей отношения выровнялись, хоть и не до конца. Будто черная кошка пробежала между нами. Грустно было сознавать, что близкий человек что-то от тебя таит, ушел в какие-то свои мысли.

С этими неопределенными настроениями мы прожили июль и почти весь август, напряженно следя за обстановкой на фронте. Я просил ГВВ передать повторно запрос насчет отправки меня на фронт, но он посоветовал обратиться самому. Что я и сделал.

Тут пришло секретное Постановление ЦК ВКП(б) и СНК о переселении немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей. С ним ознакомили партийный и советский актив и, конечно, нас, сотрудников НКВД.

У меня поднялась буря чувств и мыслей, я не знал, что думать. Я даже не мог посоветоваться с Фаей, не имея права разглашать документ с красным грифом\*\*.

С одной стороны, я знаю по опыту своей работы, что антисоветские настроения у наших немцев есть. С другой, много немцев, рожденных после революции, как и я, преданных советской власти, готовых ее защищать до последней капли крови. Объяснение одно: наше государство подстраховывается, опасаясь диверсий изнутри. И ведь будут не ссылать, а пе-

---

\* Губин Владимир Владимирович, майор госбезопасности, нарком НКВД Республики Немцев Поволжья с 31 июля по 28 августа 1941 г.

\*\* Красный гриф — так называли (возможно, называют и теперь) тиснение или надпись красным шрифтом «Совершенно секретно».

реселять туда, где они и так издавна живут, — на Северный Кавказ или в Сибирь. Главное сделать это по-человечески, дать возможность взять скот и инвентарь, чтобы устроиться на новом месте. И как быть со смешанными семьями? К примеру, эта проблема не коснется меня — и в силу моей службы, и в силу того, что я русский по отцу и я глава семьи. А если муж и отец — немец, а жена русская, а дети полукровки?

Я задавал эти вопросы ГВВ, он ответил нервно, что его это уже не касается, он отбывает к новому месту службы.

Одновременно с постановлением прибыл войска НКВД.

28 августа вышел Указ Президиума Верх. Совета СССР о переселении. Уже официально. Я в этот день был на улице, на базаре, в других местах, и меня неприятно удивило, что многие энгельсцы открыто радуются, говорят: «Давно пора прогнать проклятую немчуру». Некоторые и раньше недолюбливали немцев, живущих в общей массе обеспеченнее и опрятнее. Они не понимают, что это из-за того, что у колонистов всегда были спаянные религиозные общины, а община дает людям хороший положительный настрой и ориентировку на примерных своих членов. Жаль, конечно, что за этим стоит религия, но сам коллективизм, который при этом проявляется, доказательство пользы коллективизма как такового. Если бы их объединяли идеи социализма, а не выдуманные, цены бы им не было. Но они уже начали этот путь, образовав колхозы, и, я думаю, сумеют его продолжить в любых условиях.

Фая меня удивила. Она разложила по всей комнате газеты. И которые мы выписываем, и которые купила. И во всех газетах читала одно и то же — указ.

«Думаешь, они отличаются?» — спросил я.

«А вдруг ошибка? Вот и смотрю, может, где-то есть настоящий указ, а в этих при печати что-то напутали».

Я объяснил, что такие вещи не могут напутать даже в дурном сне.

Она сказала:

«Тогда нам конец».

И плакала не переставая. Я ее успокаивал, Катя, спасибо ей, мне помогала.

И так получилось, что в тот же вечер мне принесли повестку.

30-го с вещами.

И это 30-е уже завтра.

Фас стало совсем плохо, мы даже хотел вызвать врача. Она упала на пол и билась, мы с Катей поили ее водой, Антон плакал.

Она кричала:

«Теперь нам точно конец!»

Потом кое-как пришла в себя и стала уговаривать меня что-то придумать, чтобы остаться дома.

Я сказал, что об этом не может быть и речи.

А она опять свое.

А я свое.

И никак не могли закончить этот бесполезный разговор. Но потом она сама сказала:

«Все, хватит. Мне пора тебя собирать».

И стала собирать мне белье и кое-какие продукты.

Катя, умница, меня поддерживала, смотрела на меня с гордостью и радостью. Сказала:

«Ну вот, когда погоним их назад, когда будем добивать их в Германии, ты заодно посмотришь родину наших предков по нашей маме. Все запоминай, потом мне расскажешь».

Она считает, что простые немцы не виноваты, как не были виноваты и простые испанцы, что у них появились фашисты. Им надо помочь уничтожить

своих фашистов, и тогда они тоже станут советской страной.

Мне захотелось взять с собой что-то почитать. Конечно, я бы взял любимую книгу «Как закалялась сталь», но я и так знаю ее наизусть. И я принял неоднозначное решение: аккуратно вырвал из библии «Новый Завет», прикрепил из картона обложку. Меня не интересует религия, но я хочу понять, почему эта книга для людей имеет значение вот уже почти 2 тысячи лет. Ведь не просто же так.

Фая моя, моя Фрица, увидела это, поцеловала книгу, поцеловала меня, перекрестила. Я не сопротивлялся, принимая это как обряд, за которым стоят больше не религиозные, а родственные чувства.

Хочется еще что-то писать, но нет уже времени.

Оставляю эту тетрадку Фае, пусть будет с теми, которые она спрятала.

Вернусь и продолжу.

*Владимир Николаевич Смирнов не продолжил, не вернулся с фронта. Как он погиб, неизвестно. Может быть, даже и не доехал, такое случалось, разбомбили, например, эшелон. Может, отбиваясь со своим подразделением от врагов, вскочил, закричал: «В атаку!» – так, как это сделал вымышленный Санчо из его рассказа, но Смирнов сделал это по-настоящему, а вот заслонить его от вражеской пули оказалось некому, он пал сраженным. Может, был контужен и взят в плен, а такие в плену редко выживают...*

*Можно только гадать.*

*Непреложно одно: через две недели его жена получила извещение: «Ваш муж, сержант г.б. Смирнов Владимир Николаевич, 6 сентября 1941 г., находясь на фронте, пропал без вести».*

*Часть III*

**Интервью  
Ани Смирновой**

*с участием ее бабушки  
Екатерины Николаевны,  
отца Виктора  
и матери Ирины*

**1941 – 1959; 2016**

ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ  
Аня и бабушка \*

А н я. Я уже включила.

Б а б у ш к а. Это диктофон?

А н я. Диктофон, плеер, всё сразу.

Б а б у ш к а. А с чего вдруг такой интерес?

А н я. Маргарита Сергеевна на лето сочинение дала. Она продвинутая, поэтому: «Как ваш папа встретил вашу маму».

Б а б у ш к а. В чем продвинутость?

А н я. Сериал такой есть молодежный, «Как я встретил вашу маму». Ну, и она типа: я такие же сериалы смотрю, как и вы. Под нас работает.

Б а б у ш к а. Но вам же про папу с мамой.

А н я. Не обязательно. У некоторых у нас пап нет. Не вообще, а в семье. Им, наверно, неприятно про это писать, поэтому Маргарита сказала, что можно и про бабушек, если живые, про дедушек. Да хоть про соседей, неважно. Чтобы была история.

Б а б у ш к а. У тебя папа с мамой есть, пусть и рассказывают. Витя, слышишь? Помог бы Анечке!

---

\* Разговор записан летом 2016 г., за полгода до смерти Екатерины Николаевны Смирновой.

*Отдаленный голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Не поняла, извини!

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а (*негромко, себе*). Опять не поняла. Или он тихо, или я глухая.

А н я. Я уже пробовала, им то некогда, то не хотят. И вообще.

Б а б у ш к а. Что вообще?

А н я. Всё вообще. Ну, давай. (*Повествовательно.*) Мы встретились в филармонии. Или в библиотеке. Или где? Ты несла желтые цветы, он тебя увидел, и любовь вас поразила, как финский нож!

Б а б у ш к а. Какой еще финский нож?

А н я. Неважно, начинай.

Б а б у ш к а. Тяжело дышится сегодня. Жарко. Хотя все-таки терпимо, а в Москве ужас. У кого нет дачи, вот несчастные люди.

А н я. Не отвлекайся. Давай, первая любовь, все дела. Или не первая? До дедушки был кто-то?

Б а б у ш к а. Первая любовь у меня была — летчица. Великая летчица Валентина Гризодубова. Не слышала, конечно?

А н я. Ба, не пугай меня! Ты влюбилась в женщину? Пап, ты слышал? У нас бабушка — лесбиянка!

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Вот именно, не смешно. Она была первая женщина — Герой Советского Союза. Красавица — исключительная! Глаза — что-то невероятное!

*Постукивание пальцев.*

А н я. Гри-за?

Б а б у ш к а. Гри-зо. Гри-зо-дубова.

А н я. Уже нашла.

Б а б у ш к а. Надо все-таки освоить эту технику... Да, она. Видишь какая? Таких глаз сейчас не делают. Лучистые, веселые, полные жизни! Куда ты?

А н я. Тут ссылки интересные. Вот тоже летчица. Ханна Рейч. И тоже глаза веселые. Они чем-то даже похожи. А вот, смотри какая красotka. Ирма Грезе. Фамилия, да? Грезе! И тоже улыбается. Вы тогда все улыбались, что ли? Она тоже летчица? *(Читает вслух.)* «Надзирательница нацистских лагерей смерти... Забивала насмерть женщин, наслаждалась произвольным отстрелом заключенных».

Б а б у ш к а. Закрой это!

А н я. Уже, уже! Ты что, обиделась?

Б а б у ш к а. Анечка, я давно уже не обижаюсь. Я ко всему привыкла. Ты сравниваешь нашу летчицу с гитлеровской садисткой, и они тебе кажутся похожими. Ты даже смеешься.

А н я. Я от ужаса смеюсь.

Б а б у ш к а. Ага. Прикольно, да?

А н я. Да нет. На эту садистку я случайно попала, а эта вот не садистка, Ханна Рейч, тоже летчица. Немецкая. Но ведь даже похожи чем-то. И улыбаются одинаково.

Б а б у ш к а. Аня, ты посмотри, у Вали — глаза и улыбка одухотворенного человека!

А н я. А я против? Только у этой Ханны Рейч, ты будь уж честной, если уж так, тоже сплошная одухотворенность. Если не знаешь, кто она, сроду не подумаешь, что фашистка.

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. При чем тут эстетика? Эстетики без этики нет!



*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Знаешь, это очень спорно!

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. И что? Не довод!

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Витя, прости, но мне это неинтересно, я не хочу об этом говорить! Имею право? Неинтересно, вот и все!

А н я. Все, я закрыла. Оставила Гризодубову. Рассказывай.

Б а б у ш к а. Не хочу. Немного вырастешь, поумнеешь, тогда.

А н я. Ты как родители. Когда им надо, я взрослая, а когда не надо — вырасти еще. Все, я выросла, мне скоро шестнадцать. Совершеннолетняя почти.

Б а б у ш к а. У нас что, снизили совершеннолетие до шестнадцати?

А н я. Нет. Возраст согласия.

Б а б у ш к а. Согласия на что?

А н я. На секс. Ну, то есть, если мужчина что-то захочет с девушкой, а ей шестнадцать, то его не посадят в тюрьму, потому что считается, что в этом возрасте она уже сознательно соглашается. Тупо вообще-то. А если кто-то уже в четырнадцать сознательно соглашается?

Б а б у ш к а. Ты меня нарочно дразнишь?

А н я. Просто рассказываю, как сейчас жизнь устроена. Значит — Валентина Гризодубова? И что?

Б а б у ш к а. Мне даже ее имя нравилось. Как у моей мамы, твоей прабабушки.

А н я. Которая Вальтрауд?

Б а б у ш к а. Да. Вальтрауд, но все-таки Валентина, Валя.

А н я. Которую женщины убили?

Б а б у ш к а. Да. На моих глазах. К счастью, мои глаза этого не помнят.

А н я. Тоже одухотворенные тетеньки, наверно, были.

Б а б у ш к а. Кто?

А н я. Всё, молчу!

Б а б у ш к а. Аня, если тебе кажется, что я старая идиотка и со мной можно... Зачем ты... Не понимаю.

А н я. Ба, ты же знаешь, как я тебя обожаю!

*Какие-то звуки.*

Б а б у ш к а. Ну все, все, не подлизывайся. В общем, она и была моя первая любовь. Я собирала газеты, открытки, марки. Раньше на марках были герои, а сейчас кто? Модели?

А н я. Я марок сто лет не видела. Только у тебя в альбоме.

Б а б у ш к а. Сейчас не собирают?

А н я. Понятия не имею.

Б а б у ш к а. А что собирают?

А н я. По возрасту. У Лики вон девочки-пони, штук двенадцать, куклы такие, все разные. Зато я без проблем, что ей дарить на день рождения.

Б а б у ш к а. Лика — это кто?

А н я. Девочка. Гликерия.

*Голос Виктора.*

А н я. Я не болтаю, а говорю! И пока ничего такого не сказала!

Б а б у ш к а. Какая Гликерия? Что-то вы темните!

А н я. Ба, никто ничего не темнит. Есть такая девочка знакомая, вот и все. Собирает этих самых пони-девочек. Куклы, игры, одежда. Значит, ты хотела с ней встретиться? С летчицей?

Б а б у ш к а. Да. Мечтала об этом. Но это же непросто, надо как-то попасть в Москву. И что-то такое сделать, имеющее отношение к авиации. И я поставила себе цель тоже стать летчицей.

А н я. Ты так рассказываешь, будто вслух книгу пишешь. Скучно.

Б а б у ш к а. Как умею. Не нравится — до свидания.

А н я. Да я слушаю, нормально. Давай.

Б а б у ш к а. Пришел страшный сорок первый год, когда погиб мой старший брат Володя. Вернее, пропал без вести, но это тогда значило то же, что погиб, хотя бывали исключения. Его жену выслали в неизвестном направлении вместе с маленьким сыном. Она была немка, а тогда шла поголовная депортация. И это несмотря на то, что Володя служил в НКВД. Куда их отправили и что с ними стало, я не знаю до сих пор\*. А я жила тогда в интернате, и мне тоже сказали, что тоже отправят на том основании, что я наполовину немка. Со мной говорили какие-то люди, я сначала плакала, а потом стала возмущаться, что у меня погиб брат, а меня считают неизвестно кем, буду жаловаться, если на то пошло! Ну, и подействовало, наверно.

А н я. А почему с его женой не подействовало?

Б а б у ш к а. Не знаю, Аня...

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Не слышу!

---

\* О судьбе Антоны, сына В. Смирнова, см. в части IV.

**А н я.** Он говорит, в нашей стране за одно и то же могут и казнить, и помиловать.

**Б а б у ш к а.** При чем тут страна? Все зависит от людей.

*Голос Виктора.*

**А н я.** А люди от страны. Я что у вас, переводчица? Что дальше?

**Б а б у ш к а.** Дальше? Дальше я попала в детдом под Саратовом. И до конца войны, до своих почти шестнадцати лет, я была в детдоме. Иногда было страшно, потому что, хотя там не было боевых действий, но был железнодорожный мост через Волгу, его бомбили. И заводы в Саратове бомбили. Во время тревоги мы забирались в подвал. Смешно вспомнить: в подвале хранилась картошка и другие продукты. И нас обыскивали, когда мы выходили после тревоги, чтобы мы не унесли продукты. А мы с подружкой один раз разбили банку с тушенкой. В темноте. Почему-то лампы в тот раз не было или керосин кончился. Кромешная тьма была. И мы разбили. Она шепчет: давай съедим, все равно разбили. И мы съели. А ведь стекло, порезались в темноте. Что делать, голодно было. Вся страна голодала ради победы.

*Голос Виктора.*

**Б а б у ш к а.** Витя, Германию кормил весь мир! А Европа Советский Союз предала! И Америка твоя!

*Голос Виктора.*

**Б а б у ш к а.** Хочешь поспорить — иди сюда! Так и будем через стенку?

*Молчание.*

Б а б у ш к а. Так, о чем я?

А н я. О том, как встретила дедушку.

Б а б у ш к а. Не гони. Значит, детдом. Один раз мы с Олей Демиденко сорвались, поехали в аэроклуб, тот самый, где потом учился и летал Гагарин. Нам сказали: приезжайте, когда подрастете. А учиться поступайте по технической специальности. И мы решили в авиационный техникум. Сходили туда, узнали, оказалось, что он к авиации имеет косвенное отношение, вернее, производственное, готовят технологов, мастеров, ну, и так далее. Девочек там было очень мало. Но мы все равно решили, что поступим. И жили в детдоме с этой мечтой, то и дело сойдемся, говорим, как оно будет... Война, а мы мечтаем... Я о войне помню две вещи — что всегда хотелось есть и всегда было весело. Нет, что горе кругом, что люди гибнут, это я понимала. И все равно, знаешь, было такое, как бы сказать, было обязательное ощущение, что вырасту и стану очень счастливым человеком. Не просто счастливым, а очень. Заранее была счастлива. Но есть очень хотелось. Я даже думала, что больная, почему я так ужасно хочу есть? Но всем тоже голодно было. С одной стороны, не привыкать, но как-то совсем уж плохо кормили. И тут одна девочка нашла бумажку, калькуляция, что в столовой должны готовить и нам выдавать. Ну, хлеба, допустим, двести граммов или триста, не помню, каши сто, мяса пятьдесят. Мы читаем, а сами: какое мясо, мы его в глаза не видели! Кости какие-то. Иногда рыбу давали жареную, мы ее вместе со шкуркой ели. А у нас была химичка очень увлеченная, Дарья Тимофеевна, у нее лаборатория была, реактивы, колбочки, реторты. И весы. Мы их взяли и в столовой, когда ели, потихоньку взвесили всю еду. И хлеб, и кашу. Тарелки отдельно, а с едой от-

дельно. И везде недовес! Нас возмущение взяло. Позвали повариху, показываем ей, а она была женщина такая шумная, нецензурно выражалась, она нас обругала, сказала: раз так, ничего не получите! Мы к директору. Директор был Павел Дмитриевич, пожилой, строгий. В детдоме иначе нельзя, но он как-то уж слишком. Как начал на нас кричать. Вы кто, комиссия? Кто вам позволил весы брать? Оскорблял как попало. Мы обиделись и поехали — я, Оля, еще кто-то... Целой группой поехали в райком партии. То есть пошли, ездить не на чем было. Район у нас считался сельский, а райком был в Саратове. Долго шли, до ночи, переночевали где-то на окраине, в каком-то сарае. Пришли, добились приема, все рассказали. И что ты думаешь, они обратно нас на машине отвезли. И проверка тут же. И у директора находят в подвале бочку с солониной, всякие консервы, хлеб в сухарях, у поварихи тоже всего полно оказалось. Даже сливочное масло было, я до сих пор помню, это просто удивительно, какое масло, просто мягкое золото, я после никогда такого не ела.

А н я. Значит, они воровали?

Б а б у ш к а. Ну да. У директора две дочери взрослые, а у дочерей дети маленькие, понять можно. Но оправдать нельзя. После этого нам чуть-чуть лучше стало. Но все равно голодно... Аня, если тебе неинтересно, ты оставь тут свою штучку и иди. А я буду в воздух рассказывать.

А н я. Да нет, интересно. Только давай наоборот, сначала про дедушку, потом про войну.

Б а б у ш к а. Я про войну и не собиралась. Про войну рассказать нельзя. Она была общая, но у каждого своя. Вот если представить, что каждый бы рассказал, включая погибших, тогда было бы объективно. Главное, война — это ужас.

А н я. Но тебе же было весело.

Б а б у ш к а. Да. И все равно — ужас. Я просто еще не понимала. Кто не понимает, ему всегда легче.

А н я. Про дедушку, ба, про дедушку!

Б а б у ш к а. Хорошо. Начнем с того, что дедушка у тебя мог быть другой.

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Витя, хочешь послушать — иди сюда. Но ты и так почти все знаешь.

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Почти — значит почти. Тебя подробности интересуют?

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. А Аню интересуют. И про любовь, и про секс.

А н я. Ты и про это можешь?

Б а б у ш к а. Да запросто! На сон грядущий. А лучше сказать — на смерть грядущую. Ну вот, Анечка, представь: сорок восьмой год. Лето. Мне, значит, семнадцать, почти девятнадцать, учусь в техникуме, начала в аэроклуб ходить уже. Олю не взяли по здоровью, а я... Все в порядке! С парашютом прыгала, устройство самолета осваивала. Без этого даже близко к полетам не допускали. И был там инструктор Владислав. И вот на танцах... Там клуб был, танцевали каждый вечер почти... Я там, само собой, тоже, но все очень скромно, очень скромно, без всяких. И вот этот Владислав. Такой галантный, одет прекрасно. Фронтвик, в форме, все выглаженное, сапоги сверкают. Ну, победитель. Все девушки хотели с ним танцевать, конечно, а я чувствую, он как-то на меня, ну...

А н я. Запал?

Б а б у ш к а. Видела интерес с его стороны, так скажем. Но я девушка взыскательная была, цену себе знала.

А н я. Ты была потрясающая. С тобой сравнить, я уродка.

Б а б у ш к а. Перестань. Но ничего была, да, ничего. А про него говорили всякие вещи. Какая-то связь с замужней женщиной, еще что-то. И характер такой резкий, взрывной такой. Но со мной он мягкий был, вежливый, гуляли несколько раз вечером, он стихи читал. И ничего такого ни разу. Даже не пытался. Разговаривали на разнообразные темы. Был очень эрудированный. И вдруг бах, предлагает за него замуж. Я даже испугалась. Мне не до этого, какое замуж, мне учиться, летать, я с Гризодубовой мечтаю познакомиться, куча планов, а тут нате вам, замуж. Я ему это все честно сказала. Он обиделся, перестал даже со мной разговаривать. А там была такая Ангелина, Геля, ну, и он стал все время с ней... Та самая, замужняя. Муж большой военный начальник, генерал, у них там дача, что ли, была, но он все время в городе, а она тут, значит, веселилась. Такая полноватая немного, высокая, и такая... Ну, заманчивая, что ли...

А н я. Сексуальная?

Б а б у ш к а. Наверно, да. Он и раньше с ней был, потом со мной подружился. И вот опять, значит, к ней. Я на танцы пришла – он на меня даже не смотрит. Я с другими потанцевала и ушла. Догоняет. Говорит, ладно, про женитьбу больше не буду, давай просто дружить. И мы опять встречались. А тут приехал его друг. Они вместе воевали. И Владислав меня позвал с ними посидеть.

А н я. Хотел тобой похвастаться? Перед другом?

Б а б у ш к а. Ну, не знаю. Скорее, он им хвастался. Леонид его звали, такой кудрявый, легкий, веселый.



Я даже удивлялась: про войну вспоминают, а какие-то у них сплошные смешные случаи, будто и боев не было, а одни приключения. Потом погрузили, товарищей погибших вспомнили, спели... Пошли на танцы. Я с ними пошла, а сама их отговариваю. Какое-то у меня предчувствие было. И они же выпили все-таки. Отговаривала, даже заплакала, они не слушают. Пришли. Леонид кого-то из местных девушек сразу нашел, а Владислав со мной танцевал, а я вижу, Геля эта смотрит так... Не по-доброму. Говорю ему: знаешь, потанцуй с ней разок, а то злиться будет, а я не люблю, когда на меня злятся. Он пошел. Танцуют. И тут ее муж. Ворвался пьяный, да не один, с солдатами, будто воевать собрался. И без всяких разговоров бьет Владислава по лицу. Тот хотел ответить, а солдаты его схватили. И тут Леонид подскочил и как начал их всех. И генерала, и солдат. Может, учился этому. Как-то очень ловко, прямо как в кино. Генерал упал, потом вскочил, весь в крови... Вскочил, пистолет выхватил, выстрелил. В воздух. Солдаты их схватили. И все, больше я Владислава не видела. Слышала: обоих посадили в тюрьму. Вот, Аня. И вся на этом моя история.

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Витя, при чем тут фронтовики, при чем награда за Победу? Если фронтовики, можно генерала бить?

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. А я и не оправдываю никого! И никого не обвиняю! (*Тише.*) А Владислава было страшно жаль. Но вот так вот вышло. А нравился он мне очень. Может, потом никто так больше не нравился.

А н я. А дедушка?

Б а б у ш к а. Нравился, конечно. Но по-другому.

А н я. А первый секс — с дедушкой был?

Б а б у ш к а. Господи, тебе только это интересно?

А н я. Нет. Но все-таки, это же важно. Пап, ты не слушай!

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Не буду я про это рассказывать. Ничего интересного.

А н я. Ба, самое интересное в жизни — это секс. Спроси у папы, он знает. Он рекламой полжизни занимался, а реклама вся на сексе строится.

Б а б у ш к а. У него была такая работа, вот и все. А сейчас он другим делом занимается. И мне оно нравится, кстати, гораздо больше. Книги — это святое!

А н я. Ну, книги тоже разные бывают. И он не по работе это знал, по жизни тоже. Думаешь, с мамой они из-за чего разводятся?

Б а б у ш к а. Кто разводится?

А н я. А ты не знала? Все, отрежу себе язык!

Б а б у ш к а. Витя! Виктор, ты слышал? Какой развод, о чем она?

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Если не развод, то что?

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Ты хотя бы сейчас можешь отвлечься и объяснить?

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Ну, так. Веселимся! А я думаю, что это у нас Ирочка работает с утра до ночи и в Москве остается...

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Я не обижаюсь... Но... Я не говорю, чтобы посоветоваться или как-то... Это ваша жизнь. Но у тебя дочь, она имеет право знать!

А н я. А я и знаю. И про эту женщину, и про Лику. Уже год знаю.

Б а б у ш к а. Лика? Которой ты куклы даришь?

А н я. Да, папина дочка. Гликерия. Ей пять лет.

Б а б у ш к а. Виктор, ты не считаешь, что это слишком? Одна семья в прошлом и целых две в настоящем, это не чересчур?

*Голос Виктора.*

Б а б у ш к а. Как же одна, если... Знаешь, Аня, ты не расстраивайся, в жизни всякое бывает, но...

А н я. Ты меня успокаиваешь, что ли? Я нормально всё! Ну, есть у него еще одна семья, и что? Кто хочет, тот может!

Б а б у ш к а. Тебе все равно?

А н я. А в чем проблема? Даже если они разведутся, они же для меня останутся. Ну, отдельно, да, и чего? Мама меня любить даже больше будет. А папа подарками завалит. Типа комплекс вины. Пап, да? Машинку подаришь на восемнадцать лет? С мамой напополам?

*Голос Виктора.*

А н я. Ну, она купит, а ты еще что-нибудь. Ба, ты куда?

Б а б у ш к а. Поздно уже.

А н я. Даже еще не темно! Но завтра закончим, ладно? Про секс спрашивать не буду! Ладно? Ба?

*Слышны шаги. Потом неразборчивые голоса бабушки и Виктора.  
Обрыв записи.*

## ВТОРАЯ ЗАПИСЬ

Аня и отец

А н я. Бабушка болеет, мамы нет, придется тебе. Я же не прошу каких-то подробностей. Просто — как встретил, как что. Чтобы хватило на три страницы. С одним интервалом.

В и к т о р. Плохо мы воспитываем нашу молодежь.

А н я. Не поняла.

В и к т о р. Спросила бы для вежливости, может, я занят.

А н я. Извини. Ты занят?

В и к т о р. Могу отвлечься, но зачем? Придумай про нас сама что хочешь. Проверять ведь все равно никто не будет.

А н я. Я придумывать не умею. Не хочешь про маму, давай про Лизу. Пригласил бы ее к нам вместе с Ликой. Лика смешная, хорошая. Нет, правда. Вдруг Лиза с мамой подружится? И будет у тебя две жены. У мусульман вот бывает, значит, что-то в этом есть. Нет, я бы так не хотела, но им-то, наверно, нравится, если они... Чего ты смотришь, я серьезно. В ислам заодно перейдешь. Какая разница, говорят, Бог у нас один.

В и к т о р. Анечка...

А н я. Ладно, ладно, ладно, не буду. Тогда давай про первую семью. Почему она с твоим сыном к нам ни разу не приехали? Сыну сколько?

В и к т о р. Тридцать пять.

А н я. А он очень больной?

В и к т о р. Нет. Просто... Ну, некоторые особенности.

А н я. У него с детства было? А то вдруг у меня тоже особенности появятся. От наследственности.

В и к т о р. Не появятся.

А н я. А что ты пишешь?

В и к т о р. Так. Вроде книги.

А н я. Не детскую?

В и к т о р. Почему детскую?

А н я. Ну ты же иллюстрации к детским книгам рисуешь, вот я и...

В и к т о р. Нет. Не детскую.

*Тишина.*

А н я. Нет, я могу сама, вы же что-то мне рассказывали, но вдруг навру? Считаю, что тоже книгу пишешь, только устно. Потренируешься.

В и к т о р. Я не об этом пишу.

А н я. Или давай так, я журналистка и пришла брать интервью. Тук-тук-тук, можно? Я из журнала... Какие сейчас журналы хорошими считаются?

В и к т о р. Понятия не имею.

А н я. Давай из «Космополитен».

В и к т о р. Это хороший журнал?

А н я. Популярный. Начнем. Виктор Алексеевич, а как вы познакомились с вашей будущей женой?

В и к т о р. На личные вопросы публично не отвечаю. Да и не будет журнал «Космополитен» брать интервью у издательского художника-фрилансера.

А н я. Тогда как у просто художника.

В и к т о р. Как просто художника меня никто не знает.

А н я. Почему? Ты же в выставках участвовал, у тебя покупали что-то.

**В и к т о р.** Ты вот что скажи, зачем бабушке проболталась? Она мне тут такой допрос устроила, что...

**А н я.** Я не проболталась, а рассказала. Нарочно. Потому что вы к ней как к старухе относитесь. У нее голова отлично работает, она все понимает. Вы сами рано или поздно проговорились бы, было бы хуже. Так что я вам облегчила.

**В и к т о р.** Мы не как к старухе, мы ее просто бережем. И пока не разводимся, так что... Аня, честное слово, давай потом, а?

**А н я.** Хорошо, я сама расскажу, как помню, а ты поправишь. Значит, она работала в издательстве, а ты пришел устраиваться на работу?

**В и к т о р.** Нет. У меня уже была своя фирма, я предлагал рекламные услуги. Слушай, это неинтересно.

**А н я.** А самый первый раз – как было? Не просто знакомство, а уже – ну, свидание или... Пригласил ее куда-то или как?

**В и к т о р.** Пригласил или как.

**А н я.** Да ну тебя. Мне же интересно, я с собой сравниваю. У меня, например, в голове просто реально сканер, я человека вижу и сразу понимаю: или никогда, или может быть. Независимо от ситуации. Всякое же бывает. Идешь, машина останавливается: «Девушка, вас подвезти?»

**В и к т о р.** Часто предлагают?

**А н я.** Постоянно. Думаешь, для чего девушки машины покупают? Чтобы вот так вот не приставали на улице. А в метро знаешь как иногда смотрят? Ладно бы молодые, а то стоит дедушка, лет шестьдесят, и просто слюной весь течет, аж пол прожигает! В машине девушка как в танке, ее не достанешь!

**В и к т о р.** Интересно. Я об этом не думал.

**А н я.** А ты подумай. В любом случае зависит, какой человек. Тагир вот тоже на машине ехал, что-то

там крикнул, я на него ноль, само собой, он тогда выбежал...

В и к т о р. Тагир?

А н я. Чего это ты так насторожился? Расист, да?

В и к т о р. Не говори ерунды. Какой еще Тагир, объясни.

А н я. Человек. Выскочил, чуть под другие машины не попал, и говорит: я понимаю, это ужасно выглядит, когда незнакомый мужчина девушку из машины зовет, я сам таких презираю, но что делать, не мог удержаться. Он говорит, а там пробка сразу, все гудят, ругаются на него, а он такой спокойный, улыбается.

В и к т о р. Хамство. Типичное их хамство!

А н я. Ты все-таки расист?

В и к т о р. И что дальше? Познакомилась с ним? Зачем?

А н я. Кто кому рассказывает?

В и к т о р. Я вопрос задал!

А н я. Чего ты волнуешься? Ну да, познакомилась. У него глаза умные. Для меня это важно. Он говорит: сейчас вся Москва встанет, давайте отъедем.

В и к т о р. И ты села в его машину?

А н я. В виде исключения. Я же вижу, нормальный человек, просто его перемкнуло на мне. И вся улица стояла, в самом деле. Пошли к машине, на него какой-то псих бросился с битой, представляешь? А он на него так посмотрел, так спокойно, улыбнулся так и говорит: все уже в порядке, я уезжаю.

В и к т о р. И ты с ним встречаешься?

А н я. Иногда.

В и к т о р. Он кто?

А н я. Занимается бизнесом, ремонт и дизайн квартир. Кстати, тоже художник по образованию.

В и к т о р. Ты меня нарочно дразнишь?

А н я. Чем это?

**В и к т о р.** Кто он по национальности? И да, я расист.

**А н я.** Он аварец, и что? Это такой народ в Дагестане...

**В и к т о р** Я знаю! И часто вы встречаетесь?

**А н я.** Сейчас не видимся, я же тут.

**В и к т о р.** А до этого? Какие у тебя с ним отношения?

**А н я.** Будет восемнадцать лет — скажу.

**В и к т о р.** Не понял!

**А н я.** Ну, вы же мне все время: вот будет восемнадцать лет, тогда. То есть я тогда человек, а сейчас не совсем. Вот и я тоже: будет восемнадцать, все расскажу.

**В и к т о р.** А есть что?

**А н я.** Конечно.

*Молчание. Шаги. Щелчок, а потом бурление — электрический чайник. Льет вода. Постукивает ложечка. Шаги.*

*Скрип кресла.*

**В и к т о р.** Вопрос можно?

**А н я.** Отвечаю сразу: группового секса у нас не было. Пап, чего ты так смотришь? Вот не надо только делать вид, что ты не знаешь, что это такое. Ты больше меня знаешь в сто раз!

**В и к т о р.** Ничего не путаешь? Ты с отцом говоришь, и ты не журналистка, Анечка. Что у тебя было с этим... Как его?

**А н я.** Тагир.

**В и к т о р.** Я слушаю.

**А н я.** Давай так. Я рассказываю, что было. И как было. Или как не было. А ты рассказываешь, как ты ухаживал за мамой. На три страницы.

**В и к т о р.** Хорошо, начинай.

**А н я.** Нечестно, ты первый.



*Пауза. Какое-то поскрипывание.*

**В и к т о р.** У нас все было хорошо и просто. Встретились два человека одного круга, что важно. Быстро поняли, что подходят друг другу. Все. Твоя очередь.

**А н я.** Мама говорила, ты ей полгода покоя не давал.

**В и к т о р.** Ну, в общем, да. Не давал покоя. Она сомневалась, потому что, ты знаешь, она человек... Она все взвешивает. И правильно делает.

**А н я.** А секс у вас когда был, до свадьбы или после?

**В и к т о р.** Мы были взрослые люди.

**А н я.** Намек, что я не взрослая? Что мне нельзя?

**В и к т о р.** Аня, давай без этих... Просто расскажи, что и как!

**А н я.** В смысле?

**В и к т о р.** Сама знаешь, в каком смысле. Ну?

**А н я.** Что?

**В и к т о р.** Я жду ответа.

**А н я.** Какого?

**В и к т о р.** Чего ты дурочку-то из себя строишь? Трахалась ты с ним или нет?

**А н я.** Я на грубые вопросы не отвечаю.

**В и к т о р.** Я тебя хоть раз пальцем трогал?

**А н я.** А хочется?

**В и к т о р.** Очень. Прямо вlepил бы... Ладно. В конце концов, захочешь рассказать — придешь. Я из тебя тянуть не буду.

**А н я.** Боишься?

**В и к т о р.** Я ничего не боюсь.

**А н я.** Ты всего боишься. Ты и смелый такой бываешь — от трусости. Ты боишься испугаться, вот и смелый.

В и к т о р. Умно сказала.

А н я. Так в тебя же!

*Молчание. Звуки – Виктор отхлебывает чай.*

В и к т о р. Аня... Жизнь – преимущественно печальная штука. Вернее, не простая. Думаешь, я не хотел любить только одну женщину и умереть с нею в один день?

А н я. Никто не хочет.

В и к т о р. Жаль, если ты так считаешь.

А н я. Да никак я не считаю. Ладно, работай.

*Шаги.*

В и к т о р. Постой. Я не буду лезть в подробности. Просто скажи, ты уже... Ну, понимаешь?

А н я. Девственница я или нет? У мамы спроси.

В и к т о р. А она знает?

А н я. Нет. Но должна догадываться. Типа материнское сердце.

В и к т о р. Аня, я понимаю, у тебя такой возраст...

А н я. А что возраст? Мэрилин Монро вон в тридцать шесть лет отравилась. Считается, что чаще девочки-подростки травятся, а она была взрослая тетенька, но дура. Так что – от возраста не зависит. Тагиру тоже тридцать шесть, а иногда совсем как мальчик, я даже себя старше чувствую. Правда, даже смешно. Они с друзьями на машинах катаются, как пацаны на велосипедах. Кто быстрее.

В и к т о р. Ты дружишь с мужчиной, которому тридцать шесть лет? И с его друзьями?

А н я. Да. И что? Ладно, извини, если помешала.

В и к т о р. Куда ты? Постой, Аня! Аня, иди сюда, я сказал! Аня! Аня!

*Шаги.*

А н я (*тихо*). Мудак.

*Щелчок. Тишина.*

ТРЕТЬЯ ЗАПИСЬ

Аня и бабушка

А н я. Ба, ты обещала.

Б а б у ш к а. Ничего я не обещала.

А н я. Ты хорошо себя чувствуешь?

Б а б у ш к а. Более-менее. Значит, ты знала?

А н я. Про что?

Б а б у ш к а. Все знали! Кроме меня. У моего сына другая семья, дочери пять лет... Берегли вы меня, что ли?

А н я. Я сама только недавно...

Б а б у ш к а. Боялись, разволнуюсь? Милые вы мои, что мне еще делать? Поволновалась бы — все-таки занятие. Нет, я все понимаю. Кроме одного, как можно — одновременно? И там и там? Это даже противно как-то, мне кажется. Или нет, ничего?

А н я. Ладно, потом поговорим.

Б а б у ш к а. А сочинение? Как дедушка трахнул бабушку. Вы так говорите?

А н я. Перестань!

Б а б у ш к а. Сядь и слушай! И вы все, праправнуки, слушайте. Тут меня моя внучка Аня, которая вам тоже уже бабушка, спрашивает про первый секс. Вам тоже интересно, да?

А н я. Уже нет.

Б а б у ш к а. А я расскажу. Мне тогда шестнадцати еще не было, как вашей бабушке, когда я ей про это

рассказывала. И была, наверно, такая же дурочка, как она.

А н я. Ба...

Б а б у ш к а. Не перебивай! Как было? Я уже вышла из детдома, но паспорт еще не получила, у меня в октябре же день рождения, а вышла из детдома летом сорок пятого. И поступила в техникум. Это было круто, как выражалась ваша бабушка.

А н я. Хватит бабушкой меня называть, смешно же!

Б а б у ш к а. Я и хочу насмешить. Я прикалываюсь. Так вот, я поступила, а занятия только через месяц. Ночевала в детдоме, разрешали, а кормить — извините, в списках не значусь. Стала худая, синяя, кожа шелушилась, ужас! А у нас в детдоме была завхоз Салихова Рената Руслановна, она говорит: хочешь помогать мне по хозяйству? Я согласилась. У нее с мужем был дом большой, две коровы, свиньи, кур полон двор. И сын женатый с ними, шофером работал, в отъезде все время, а жена беременная, по хозяйству не очень может работать. И другой сын, младше, Рома, не женатый. В город ездил на велосипеде, учился там в институте. Исключительно красивый мальчик был. И начитанный такой, культурный. Отец и мать простые, а он, можно сказать, интеллигент в первом поколении. Ну, и начал вокруг меня кружить. А я уже отъелась, вошла в формы. А он, наоборот, просто сохнет на глазах. И вот признался в любви. Мало того, позвал замуж.

А н я. То есть Владислав был уже второй, кто замуж звал?

Б а б у ш к а. Да. А у меня те же мысли, что с Владиславом: рано, не хочу. И ведь нравился мне Рома — очень. Но сказала: нет, давай подождем. Он даже заплакал, бедный. И тут мне его мама говорит: вот что, Катя, или давай-ка иди на все четыре стороны, или

соглашайся. Я ей, как и ему: замуж не хочу. А она: при чем тут замуж, я сама этого не хочу, а ты просто — пожалей мне сына, я за него боюсь, он весь больной ходит. Как бы чего с собой не сделал.

А н я. Я правильно понимаю: она просила тебя с ним... Ну...

Б а б у ш к а. Да. Переспать. Заняться любовью. Отдаться. Что тебе больше нравится?

А н я. Все! Ты классная, ба! Ты себя не видишь, ты сейчас такая молодая стала! Ну, и что?

Б а б у ш к а. А то. Я говорю: вы с ума сошли, такие вещи предлагать? И ушла от них. Началась учеба, тут он меня находит и говорит: ладно, подождем, но пока хотя бы будем гулять, встречаться. Я согласилась. Встречались всю осень. Он меня подкармливал, в кино водил... А я вижу, он, хоть и радуется, а все равно ему плохо.

А н я. Спермотоксикоз.

Б а б у ш к а. Что?

А н я. Слово такое. Означает...

Б а б у ш к а. Не объясняй, догадалась. Да, может быть. На самом деле у него был такой вид, будто безумно влюблен. Просто до смерти. И... И мне стало его жалко. Нет, не то чтобы жалко... Знаешь, такая вдруг мысль возникла: а вдруг война опять? Тогда же многие боялись, что война с кем-нибудь опять начнется. И отношение к мужчинам было такое... Кто воевал — благодарное. И к другим тоже заодно. Ну, и они тоже осмелели. Наверстывали, можно сказать. А Роман, хоть и совсем молодой, а мысли-то у меня такие же: вдруг его убьют? И он погибнет и не узнает, как я его люблю. Ну, и... Ну и вот. Остальное вообрази сама.

А н я. Предохранялись?

Б а б у ш к а. Аня, мы даже не знали, как это и что это! Правда, у нас в детдоме была одна девочка... Огонь и воду прошла. Много чего рассказывала, в том

числе про то, как она береглась. Потом я, конечно, поняла, что это полная чушь.

А н я. А как, какие способы? Просто интересно.

Б а б у ш к а. Даже не хочу, это каменный век! Хотя нет, в каменном веке аспирин и борной кислоты не было. Но лимоны были, наверно.

А н я. Хочешь сказать...

Б а б у ш к а. Не хочу! В общем, я пошла навстречу Роме. Он получил, что хотел.

А н я. И?

Б а б у ш к а. И потом постоянно интересовался, как у меня с регулярными женскими явлениями. Тогда это называлось – пришли. Он спрашивал: пришли? Я говорю: да. Он радуется, ура, можно дальше веселиться... И веселились... А к лету все у Ромы сошло на нет. Я переживала. Мне-то казалось, все серьезно, ведь он жениться сначала хотел.

А н я. А потом уже нет?

Б а б у ш к а. Нет. О господи, как вспомню... У нас медосмотр был в техникуме обязательный. Раз в год комиссия и – с головы до ног. В том числе гинеколог для девушек. Я увильнуть хотела, будто бы болею, потребовали справку, я не достала. Осмотрели меня, а потом вызывают на разборку. Директор техникума, педагоги, от комитета комсомола, от парткома. И мне прямо в глаза без всякой деликатности: как это ты, Смирнова, в таком возрасте уже оказалась не девушка? Не рано?

А н я. Вот так вот при всех? И постой, есть же врачебная тайна, получается, врачи рассказали?

Б а б у ш к а. Какая тайна, Аня?! У советского человека тайн нет и быть не может! Думаешь, я считала, что они неправильно делают? Ничего подобного, мне казалось, они имеют полное право! А я рыдала от стыда и позора. Часа полтора они меня терзали, подробности выпрашивали – да кто, да как, да где... Я совра-

ла, сказала, что еще в детдоме случилось. Ну, про детдом многие слышали, что там всякое бывает, хотя, между прочим, на самом деле у нас девочки очень были порядочные... Но ничего, скушали за правду. А потом директор мне отдельно сказал: окажешься беременной — вон из техникума. Я, говорит, такой славы в наших стенах не потерплю. И не будет у тебя ни образования, ни летного клуба. А он знал про мою мечту, да и все знали. Ничего не будет, говорит. Вот...

*Молчание. Щелчок. Звук закипающего чайника.*

А н я. Если не хочешь, не рассказывай.

Б а б у ш к а. Да чего уж... Скоро обнаружилось, что... Не пришли. Я через одну девушку узнала про женщину, которая на дому принимала. Она подтвердила: да, беременность. И согласилась подпольно аборт сделать.

А н я. Почему подпольно?

Б а б у ш к а. Потому что, Аня, аборт был запрещен законом. В тюрьму за это можно было сесть.

А н я. Ничего себе!

*Тишина. Постукивание пальцев.*

А н я. Нашла. Точно. Закон от тридцать шестого года. Уголовная ответственность. И как же вы?

Б а б у ш к а. По-разному. Хорошо, если врачи-гинекологи рисковали, делали это на дому, а чаще — всякие шарлатанки, старухи... Сколько женщин погибло от заражения крови, никто не считал, конечно. Нет, я понимаю, я знаю, это нехорошо, это даже грех, если с точки зрения религии... Но так тоже нельзя. Ради блага женщин их же и калечить? Нелогично как-то.

А н я. Статистика тут страшная. За сорок пятый не наша, а вот за шестидесятый — четыре миллиона

с лишним аборт. Четыре миллиона людей страна не получила! И много раз ты...

Б а б у ш к а. Сейчас праправнуки меня презирают. Три аборта.

*Двойной свист Ани.*

Б а б у ш к а. Вот именно!

*Свист бабушки. Громче и резче.*

Б а б у ш к а. На самом деле это еще мало. Как-то в санатории сошлись женщины, выпили немного, начали о наших делах, в том числе про это, одна пожаловалась: восемь раз от мужа аборт делала, просила его меры принимать, мужчинам же легче, были уже тогда средства...

А н я. Презервативы?

Б а б у ш к а. Ну да. Но он ни в какую: я мужик, я в своем праве, а ты как хочешь, так и берегись. Она рассказала, а другая ей: восемь? У меня — пятнадцать! И пошли хвастаться. У всех — от пяти до тридцати. Как я понимаю, пять-шесть было почти у каждой замужней женщины в наше время. Да и у незамужних тоже. Если не больше.

А н я. Кошмар!

Б а б у ш к а. Еще бы. С Владиславом, кстати, история такая же повторилась, я не все тебе рассказала. Он мне как? Женюсь, люблю, сил нет. А сам руками-то работал, достигал цели. Я держалась, держалась — и... На те же грабли. Опять у меня эти мысли появились: вдруг война, вдруг погибнет? И я...

А н я. Получается, ты для них это делала? А самой-то нравилось? Не аборт, а...

Б а б у ш к а. Ох, Аня, зря я с тобой про это...

А н я. Ба, поверь, я очень взрослая. Очень.



Б а б у ш к а. Это ты о чем?  
А н я. О том же, о чем и ты.

*Молчание.*

А н я. Тебе плохо?

Б а б у ш к а. Да нет. Я догадывалась.

А н я. Если ты про аборты, то успокойся.

Б а б у ш к а. Да нет... Аня, это, конечно, не катастрофа, но... Кроме этого, то есть этих вот неприятных вещей, у меня было... У меня была насыщенная жизнь. Была мечта.

А н я. Летать?

Б а б у ш к а. Летать, трудиться, учиться... Но это вот наше проклятие родовое: не можем никого обидеть, всем хотим нравиться, во всем быть первыми. Я в детстве была тоже такая. Дежурство вне очереди — пожалуйста, помочь кому-то — пожалуйста, окна мыть в феврале, инспекция какая-то за окна отругала, детям света не видно — пожалуйста! Вот и с Владиславом — не хотела обидеть, хотела для него быть доброй. И любила, конечно, это тоже... Если бы не этот его несчастный случай с генералом, может, и поженились бы...

*Молчание.*

А н я. Устала?

Б а б у ш к а. Ты только в сочинении про это не пиши.

А н я. Я что, дура? Ты говоришь — проклятие. Это про всех? И про меня?

Б а б у ш к а. Не знаю, Аня. Ты будь осторожна, ладно?

А н я. Да я и так. Уж аборт у меня точно не будет.

*Молчание.*

А н я. Я выключаю?

Б а б у ш к а. А что, еще работает?

#### ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПИСЬ

Аня и мама

*Периодически слышно, как открывается и закрывается  
холодильник, хлопают дверки кухонных шкафов, шуршат  
пакеты и обертки: Ирина привезла продукты  
и раскладывает их.*

И р и н а. Зачем это надо вашей Маргарите Сергеевне? Она замужем?

А н я. Не знаю, а что?

И р и н а. Пусть папа расскажет.

А н я. Ему некогда, книгу пишет.

И р и н а. Какую еще книгу?

А н я. Ты не знала?

И р и н а. Аня, он пишет, я тоже хочу отдохнуть. Имею право?

А н я. Ты отдыхай и говори, трудно, что ли?

И р и н а. Я все время говорю. С утра до вечера говорю, только и делаю, что говорю! Работа у меня такая. В холодильник положи. В морозилку. Значит, книгу? О чем?

А н я. Я не книгу, я сочинение.

И р и н а. Это сколько тут лежит? Ведь пахнет уже, неужели не чувствуете?

А н я. Я думала, так надо.

И р и н а. Гнилье хранить?.. Сочинение — летом?

А н я. Да, такое задание.

И р и н а. Напиши про природу. Или: мой любимый фильм.

А н я. Тема одна у всех: как папа и мама познакомились.

И р и н а. Полная ерунда. А если мама и папа в разводе? А если папы никогда не было? То есть был, но... (Громко.) Витя, есть не хочешь? Я тут привезла кое-что.

*Голос Виктора.*

И р и н а. Ладно. (Громко.) Екатерина Николаевна, попьем чайку?

А н я. Она спит. Часто по вечерам спать стала. А ночью по дому ходит. Я и так все про вас знаю, мне нужно... Ну, детали какие-нибудь. Вы познакомились и сразу влюбились?

И р и н а. Витя, ты чего ей нарасказывал?

*Голос Виктора.*

А н я. Что, не так было?

И р и н а. Какая теперь разница? Каждый вспоминает, как хочет. Нет, странные вам темы дают.

А н я. Она просто посмотрела сериал «Как я встретил вашу маму», и вдохновилась. И говорит...

*Голос Виктора.*

И р и н а. Сейчас принесу!

*Удаляющиеся шаги. Голоса Виктора и Ирины.*

А н я (вздых, переходящий в смех). Ну, понеслось...

*Запись обрывается.*

*Запись возобновляется. Голос матери – громкий и нервный.*

И р и н а. ...думаешь, мне это трудно сделать? Ты же понимаешь, какие у меня знакомства? Очень серьезные люди! Я завтра же узнаю, кто этот Багир!

А н я. Тагир.

И р и н а. Узнаю – и приму меры! Ему известно, сколько тебе лет?

А н я. Конечно.

*Голос Виктора.*

И р и н а. Вот именно! Я потребую, чтобы он к тебе на километр не приближался!

А н я. Я и сама приближусь.

И р и н а. Ты нарочно?

А н я. Конечно. Я тебя дразню. Издеваюсь над тобой.

И р и н а. Не смей со мной так разговаривать!

А н я. А ты не ори!

И р и н а. Витя, ты слышишь?

*Голос Виктора.*

И р и н а. Безумие какое-то. Что, нет нормальных мальчиков? Мужчина, тридцать шесть, да еще дагестанец. Он кто вообще?

А н я. Дагестанец.

И р и н а. Анька, щас получишь! Говори нормально!

А н я. Дагестанец, аварец, я же сказала. Бизнесом занимается.

И р и н а. Они все бизнесом занимаются. Конкретно?

*Голос Виктора.*

И р и н а. Действительно, вопрос не в этом. Вопрос в том, что ты с ним встречаться не будешь. Нравится тебе это или нет. Я все для этого сделаю. Ясно?

А н я. Буду. А у тебя во сколько был первый секс?

И р и н а. Рано, успокойся. Но это было по-человечески, по любви.

А н я. А почему ты считаешь, что у меня не по-человечески и не по любви?

И р и н а. Значит, уже все было?

А н я. Я этого не сказала. Не хочешь про папу, давай про свою первую любовь. До папы.

*Молчание. Какие-то звуки. Ирина что-то ест, что-то пьет.*

И р и н а (*негромко и сдержанно*). Аня, я все понимаю. Это твоя реакция на то, что у нас с папой... Не все гладко.

А н я. Слушай, не надо во мне копать, ты что, психотерапевт, что ли? И нет у меня никакой реакции!

И р и н а. Ты переживаешь, я знаю, но...

А н я. Да не переживаю я! Если из-за чего переживаю, то из-за того, что вы с папой вместе до сих пор. Зачем?

И р и н а. Ты хотела бы, чтобы мы окончательно расстались?

А н я. А вы не хотите?

И р и н а. Нет.

А н я. Ну, хоть что-то понятно у вас. То есть он с этой Лизой ничего не собирается?

И р и н а. Он помогает, навещает, там его ребенок. Это нормально.

А н я. А ты с кем?

И р и н а. Аня, прекрати!

А н я. Расскажи, как с папой познакомилась, тогда отстану. Всем будет легче, я сочинение напишу, Маргарита меня похвалит.

И р и н а. Знаешь, ты не думай, что замнешь тему. Или сама рассказываешь про этого Багира...

А н я. Тагира! (*Перестук пальцев по планшету.*) «Тагир, происхождение и значение имени. Распространено в мусульманском мире. Означает “чистый”, “непорочный”».

И р и н а. Мне неинтересно!

А н я. «Черты характера. Тагир — человек жесткий, немногословный, самоуверенный». Точно! Он очень жесткий, его все слушаются. «Для него не существует страха и препятствий на пути к цели». Опять точно, он даже меня не испугался. «Вместе с тем, он обладает врожденной порядочностью и скромностью». И это правда, то очень такой жесткий, серьезный, то такой застенчивый, даже краснеет.

И р и н а. Прекрати!

*Голос Виктора.*

И р и н а. Иди сюда и сам ей скажи!

*Слышны шаги.*

В и к т о р. Уже говорил.

А н я. «Тагир нацелен на создание материального достатка и независимости. Во всем стремится быть первым». Опять в точку. «При этом умеет не наживать врагов, а, наоборот, умножать количество поклонников. Его уважают, боятся его хитрости. Она проявляется не в коварстве, а в принудительной дипломатии». Надо же, как бывает, просто один в один! Что еще... Успехи в бизнесе, да, спорт, да, лучший выбор профессии — полицейский или тренер. Нет, полицейским и тренером он не был.

В и к т о р. Аня, хватит. Это не смешно.

А н я. Тут самое интересное! «Секс и любовь! Тагир — темпераментный мужчина!»

И р и н а. Анька!

А н я. «Он не терпит грубых, волевых, сильных женщин. Умеет ухаживать за юными девушками. Беспорядочных отношений избегает, но не чурается чувственных наслаждений!»

В и к т о р. Дай сюда!

А н я (*голос удаляется*). «Все время ищет настоящую взаимную любовь!» Вы слышите? Он ищет — и он нашел!

## ПЯТАЯ ЗАПИСЬ

Аня и бабушка

Б а б у ш к а. Мама что, весь день дома была?

А н я. Со вчерашнего вечера. Воскресенье же.

Б а б у ш к а. О чем вы тут говорили? Я слышала что-то. И она, и Виктор что-то такое... Не ругались?

А н я. Нет.

Б а б у ш к а. Пытали тебя?

А н я. Само собой.

Б а б у ш к а. Такая разница в возрасте с этим мужчиной — не многовато?

А н я. Я тебе скажу, но ты никому не говори: у меня ничего с ним не было. Но, может, еще будет. Я еще подумаю. Он очень интересный. Я его изучаю. Я вообще изучаю людей. Хобби такое.

Б а б у ш к а. Может, и меня изучаешь?

А н я. Нет. Хотя тоже, да. Ты же целую эпоху представляешь, вот и отдувайся. Ну, поехали? Про дедушку. Нет, до него ведь еще кто-то был? Между этим летчиком, напомни...

Б а б у ш к а. Владислав.

А н я. Да. Между ним и дедушкой. Кто-то был?

Б а б у ш к а. Был. И это, на самом деле... Это, может, самая главная моя история. Летать, как ты знаешь, я не стала из-за перелома ноги, срослось неудачно, а Гризодубову все-таки увидела, но по другому поводу. Я тогда уже на авиационном заводе работала. В цеху, а потом в конструкторское бюро взяли, разглядели способности. И вот осенью пятьдесят второ-

го мы в Москве показывали новый вертолет. Там я и встретила с Гризодубовой, она локационным оборудованием занималась, тоже они что-то там представляли. И она подошла к вертолету, а я там как раз стою. Подходит, задает мне какой-то вопрос. Причем так уважительно, как взрослой, а я стою, дура-дурой, улыбаюсь только... Она поняла, тоже улыбнулась. Ну, тут я взяла себя в руки, ответила, как могла... Вернулась счастливая, и тут же новое счастье, квартиру дали. Это отдельная история, как я ее получила. Был у нас такой Сергей Степанович, большой человек, начальник цеха. Я ему понравилась...

А н я. Ага, начинается!

Б а б у ш к а. Еще нет, дослушай. Я ему понравилась, он заходил к нам то и дело, знаки внимания оказывал... А я жила в общежитии, на виду, ему было неудобно, вот он и выхлопотал для меня квартиру, как для молодого перспективного специалиста. Это все равно, что сейчас... Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, как самолет девушке купить. Или дом в Испании на берегу моря. А я и не знала, что это он устроил, думала, дурочка наивная, что действительно как специалисту... Ну, и вот. И тут он все карты и выложил. Пришел с бутылкой вина, выпил и говорит: Катя, у меня трагедия жизни. Женился, говорит, по ошибке, быстро это понял, встретил другую женщину, думал: вот она, настоящая любовь, я ведь, говорит, к жене никогда таких чувств не имел. Но, говорит, только теперь, когда встретил тебя, понял и сравнил, что такое действительно настоящая любовь. Только, говорит, теперь я понимаю, что это такое — так любить женщину, что жить не можешь. Хоть травись.

А н я. Что-то они все одинаково — смертью грозят.

Б а б у ш к а. А кто еще?

А н я. Ну, Роман тоже собирался умереть.



Б а б у ш к а. А, ну да. Нет, это... Там был мальчик, а это взрослый мужчина, тридцать два года. Я, конечно, говорю: Сергей Степанович, спасибо, но при вашей живой жене, да еще какой-то другой женщине... Это, знаете, не для меня. А он говорит: думаешь, я тебе просто так квартиру выбил? Я развожусь с женой, бросаю эту другую женщину и прихожу жить к тебе.

А н я. Опа!

Б а б у ш к а. Вот именно, опа.

А н я. Да нет, я просто удивилась, как совпадает. Тагир мне то же самое говорит. Что с женой разводится и бросает Ирму, это у него девушка. Правда, квартиру мне не купил, но снимает. *(После паузы.)* Чего?

Б а б у ш к а. Что значит — снимает? Для тебя?

А н я. Ты закончи сначала. Он развелся, этот Сергей Семенович?

Б а б у ш к а. Степанович. Ничего не расскажу, пока ты не расскажешь.

А н я. А я не расскажу, пока ты.

Б а б у ш к а. Шантаж, что ли?

А н я. Считай, что так.

Б а б у ш к а. Вот и выросла моя внучка... Хорошо. Нет, не развелся. Потому что я ему категорически: Сергей Степанович, ваши дела — это ваши дела, а я-то тут при чем? Собираетесь ко мне уйти, а меня спросили? Я не хочу замуж ни за вас, ни за кого! Он говорит: не обязательно замуж, можно так. Я ему: вот оно что! Идите-ка вы, Сергей Степанович, куда сами знаете! Он разозлился: могу ведь и так сделать, что отдадут твою квартирку многодетной семье, у нас очередь на жилье на километр! Я говорю: на здоровье, только учтите, что я буду защищаться! И сообщу куда надо про ваше предложение!

*Тишина.*

А н я. И что?

Б а б у ш к а. Да ничего. Не стал он квартиру отбирать. Приходил еще несколько раз... И просил, и грозил... А потом понемногу успокоился. Все, давай, говори, что это за дела такие — жена у него, квартиру снимает!

А н я. Квартиру он снимает для себя. У него для семьи — дом, там он с женой и с ее родителями живет, из-за них, кстати, не разводится, проклянут, у них это строго, а для Ирмы у него квартира в тихом месте... Она проститутка, но такая... Ну, гламурная такая, дорогая, за ночь чуть не тысячу долларов берет. Вип-проститутка, короче. Но сейчас она только с ним. Если не врет.

Б а б у ш к а. Я не знаю... Дикость какая-то! Ты — соперница проститутки?

А н я. А она что, не женщина? И я не соперница, у нас совсем другие отношения.

Б а б у ш к а. Какие?

А н я. Никакие. Значит, это твоя главная история? А что в ней особенного?

Б а б у ш к а. Это предыстория. А история такая... Приехали немцы из ГДР... У тебя точно с этим Тагиром ничего серьезного?

А н я. Нет. Давай про немцев.

Б а б у ш к а. Приехали немцы. Уникальное дело, город закрытый, полно военной промышленности, никаких иностранцев. Но этих пустили, пять человек их было, молодые инженеры, по обмену опытом. Ну, социалистические немцы же, поэтому, наверно, и... И меня к ним приставили. Немецкий знаю как родной, в вопросах разбираюсь, так что... И был там такой Курт Элерт, добродушный такой, немного полноватый, негромкий... И я впервые после Владислава почувствовала интерес.

А н я. Сколько ему было?

Б а б у ш к а. Да ровесник, двадцать три тоже. И мы с ним нашли общий язык. Очень был вдумчивый. И печальный немного. У него отец в войну погиб.

А н я. Фашист?

Б а б у ш к а. Аня, он был немецкий солдат... Всеобщая мобилизация, фашист ты или нет, все равно в армию возьмут. Курт об этом не любил говорить, стеснялся... Ну, и довольно быстро он сделал мне предложение. И я согласилась. Такое тогда ощущение было, что... Что жизнь улыбается на каждом шагу. И мечта сбылась, с Гризодубовой познакомилась, и любовь у меня появилась, и все получается... Как в тумане ходила. То есть, наоборот, все казалось ясно и просто. Единственное, сказала: Курт, прости, но я с тобой в ГДР не поеду. А он говорит: давай так, проживем год тут, а потом год — там. И решим, где больше нравится. Стали мы узнавать, как все это оформить. Тут-то и началось. Я думала: ну, немец, да, но наш же немец, эфдэйотовец...

А н я. Эф-дэ... Что за слово?

Б а б у ш к а. Эф-дэ-йот, Фрайе Дойче Югенд, немецкий комсомол. Он там был на хорошем счету, активист... И ведь меня до этого вызывали уже в Первый отдел\*, беседовали, что нехорошо дружить с иностранцем, но я всерьез не приняла, наивная дурочка. А Курта — бац! — и в двадцать четыре часа убрали. А меня — на расправу в обком комсомола. Не в заводской, не в районный и даже не в городской, в обком сразу. На бюро, к самым главным людям. И на повестку дня вопрос — исключить из комсомола. Я рассердилась, говорю: за что? Где, в каком зако-

---

\* Существовавшее при каждом более или менее крупном предприятии (а также при учреждениях, вузах и т.д.) подразделение, собиравшее информацию о сотрудниках, их политических взглядах, связях с иностранцами и т.п.

не написано, что нельзя выходить замуж за человека из другой страны, тем более из социалистической? А они говорят: при чем тут закон, если ты комсомолка и должна руководствоваться идеей верности Родине. Я говорю: как это при чем тут закон? То есть вам все равно, что в наших советских законах написано? Ну, то есть, тоже решила их поддеть, очень уж разозлилась. Их аж взорвало всех. Кричали — ужас. Что я провокаторша, что уже где-то чего-то нахваталась... Одна там была особенно... Говорит: он бы тебя рано или поздно увез в другую страну, пусть она социалистическая, но там, между прочим, еще фашисты недобитые живы, и ты для нашей страны будешь потерянная, и дети твои, если будут, тоже будут потерянные. Они будут немцы!.. И вот это на меня подействовало. Стою, плачу... А потом сознание потеряла.

А н я. Упала в обморок?

Б а б у ш к а. Ну да. И пожалели, выговор только вклеили в учетную карточку. Ведь если подумать, Аня, это же правда — что он мог бы меня увезти. И я бы уехала. Понимаешь теперь, почему я тебе это рассказываю? Вот давай представим, не дай Бог, что ты за этого своего, опять забыла...

А н я. Тагир.

Б а б у ш к а. Да. Захочешь за него замуж. Это же в другую культуру перейти. И даже религию. Не боишься?

А н я. Он не религиозный.

Б а б у ш к а. Все равно — другой мир!

А н я. Хорошо, поняла. До бабушки дойдем когда-нибудь?

Б а б у ш к а. Дойдем... Значит, он уехал — и с концами. Больше никогда не виделись. Я пробовала писать, ответа ни разу не получила. Может, письма не доходили.

А н я. А потом не пробовала найти? Когда стало можно?

Б а б у ш к а. Зачем? Наверняка у него уже какая-то своя жизнь, семья... Значит, он уехал, а я скоро поняла, что беременная.

А н я. Ого. Папой?

Б а б у ш к а. Аня, это начало пятьдесят третьего, а папа с какого?

А н я. Дай посчитать... С пятьдесят девятого. То есть у тебя аборт опять был?

Б а б у ш к а. Да. И неудачный, в больницу попала. Что было! Жутко рассказывать. Чистили... Не надо тебе этого...

А н я. Надо! Хочу знать историческую правду. Чистили — последствия аборта, что ли?

Б а б у ш к а. Да. Без анестезии, по живому. Я кричу, очень больно, а гинеколог злая такая... Почему-то женщины по отношению к женщинам как-то злее, не замечала?

А н я. Давно знаю. Мы конкурентки по полу. Ругалась?

Б а б у ш к а. Еще как! Говорит: будешь орать, перестану тебя скоблить, пусть у тебя все там сгниет, и ты сама сгниешь. А в следующий раз подумаешь, как на мужиков прыгать. В общем... Помереть ведь могла, без шуток. Но обошлось. Лежу, никто не навещает, будто я преступница. Выписалась еле живая, тут меня из комсомола и вышибли окончательно. За моральное разложение.

А н я. Они же сами тебя на это толкнули, разве нет?

Б а б у ш к а. Почему? Они не знали ничего. Нет, какую-то роль сыграло... Все неоднозначно, Аня... А потом перевели меня в транспортный цех на подсобные работы. Грузчицей.

А н я. После аборта?

Б а б у ш к а. А кого это интересовало? Исключение из комсомола — почти гражданская смерть,

тебе, считай, ни в чем ходу нет. Портнягин Илья Васильевич, был такой у нас золотой человек, руководитель отдела, попробовал меня отбить. У меня же десяток рацпредложений, заявки на изобретения. Нет, не вернули. Но потом поставили за станок, а потом помаленьку до мастера доросла. Все-таки специалист, да не из последних, они это тоже понимали.

*Молчание.*

А н я. И встретила дедушку?

Б а б у ш к а. Не сегодня. Устала.

А н я. Ладно. Хочешь чего-нибудь? Чай с лимоном?

Б а б у ш к а. Да, это хорошо.

А н я. Сейчас сделаю.

## ШЕСТАЯ ЗАПИСЬ

Виктор и Ирина

И р и н а. Витя, посмотри там.

В и к т о р. Смотрю. Не вижу.

И р и н а. Сейчас.

*Шаги.*

И р и н а. Вот.

*Хлопает дверца какого-то шкафа.*

В и к т о р. Надо же. Прямо на нее смотрел.

И р и н а. Аня где?

В и к т о р. Только что уехала с бабушкой. Ей на осмотр надо, она с ней.

И р и н а. На электричке?

В и к т о р. Ты же знаешь. Хочу, говорит, побыть с народом!

И р и н а. Я бы отвезла. Ночевать там останутся?

В и к т о р. Да. Если у тебя там что-то... Ну, что нежелательно, чтобы кто-то видел...

И р и н а. Ничего у меня такого нет. Нет, почему не сказали, я отвезла бы, в чем проблема?

В и к т о р. Я же говорю — с народом хочет...

И р и н а. Или не хочет быть со мной наедине.

В и к т о р. Почему?

И р и н а. Ее спроси. Наверно, считает меня виноватой.

В и к т о р. В чем?

И р и н а. А я знаю?

*Тишина. Потом — голос Виктора.*

В и к т о р. Аня, привет, вы где? Ясно. Все нормально? Дай бабушку. *(После паузы.)* Привет, что сказали? *(Пауза.)* Ясно... Ясно.... Ясно... Видишь, не все так плохо. Да. Останетесь там или... А то такси возьмите или Ира за вами... Хорошо. Понял. Ну, смотри, как скажешь... Ира считает, что ты не хочешь одалживаться.

И р и н а *(громко)*. Я этого не сказала!

В и к т о р. Ладно, понял. Хорошо. Целую. Пока.

И р и н а. Я этого не говорила.

В и к т о р. Какая разница?

И р и н а. Большая! Я сказала, что мне кажется, что она меня избегает. И могу повторить. Это мои слова, я за них отвечаю. А ты что? Одалживаться! Как будто я приживалкой ее считаю!

В и к т о р. Ир, хватит.

И р и н а. Я просто хочу, чтобы из меня не делали я не знаю что.

В и к т о р. Никто не делает. Все, успокойся.

И р и н а. Я не волнуюсь. Я просто...

*Молчание.*

И р и н а. Будешь?

В и к т о р. Что? Да, наверно.

И р и н а. Наверно — или да?

В и к т о р. Нет. Не хочется.

*Молчание. Звук работающего телевизора. Неразборчиво.*

И р и н а. Опять!

В и к т о р. Да.

И р и н а. Никогда так не было. Ощущение — везде началось.

В и к т о р. Давно.

И р и н а. В смысле?

В и к т о р. Давно началось.

И р и н а. Ты про что?

В и к т о р. А ты?

*Молчание.*

В и к т о р. Я что хотел сказать...

И р и н а. Ой, не надо!

В и к т о р. Что?

И р и н а. Когда ты так начинаешь, ничего хорошего. «Я что хотел сказать — у меня женщина, а от нее ребенок!»

В и к т о р. Еще?

И р и н а. Что?

В и к т о р. Примеры?

И р и н а. Говори уже, что ты хотел.

В и к т о р. Если ты со мной остаешься ради Ани, чтобы она подумала, что у нас все в порядке... Не надо. Она все видит и понимает. Хуже всего — неопределенность. Если ты хочешь развестись, давай разводиться. И она сразу успокоится.



И р и н а. То есть тебе важней всего Аня в этой ситуации?

В и к т о р. А тебе?

И р и н а. Мне-то как раз Аня важна. В первую очередь. Но не думала, что ты...

В и к т о р. Вот я и говорю, если мы думаем о ее благополучии, надо перестать морочить голову друг другу. И ей заодно.

И р и н а. Морочить голову — это о чем?

В и к т о р. О нашей ситуации.

И р и н а. А какая ситуация? У тебя две жены и две дочери. Плюс жена и сын в Саратове.

В и к т о р. У меня одна жена. Ты.

И р и н а. Как сказал!

*Тишина.*

И р и н а. Значит, ты хочешь определенности? Развестись?

В и к т о р. Насколько я понимаю — ты этого хочешь.

И р и н а. Меня все устраивает. То есть не все, но с формальной стороны — да. И Ане на самом деле лучше так. Какие там отношения у отца и матери, дети не очень вникают, им важно, чтобы они были вместе. По себе сужу.

В и к т о р. Отец ушел, тебе сколько было?

И р и н а. Школу заканчивала. Кто этот Тагир, вот где настоящая проблема. Нормальный отец давно бы его отыскал и оторвал ему голову.

В и к т о р. Хорошо, найду и оторву.

И р и н а. Когда?

В и к т о р. Тебе точно? День, число, час?

И р и н а. Ты ничего не будешь делать, поняла. Ладно, все выясню сама.

В и к т о р. Мы не знаем, как она к нему относится. Вдруг у нее это серьезно?

И р и н а. Ей пятнадцать, ему тридцать шесть. Какое тут серьезно, ты о чем?

В и к т о р. Ей почти шестнадцать. И я соображаю. Но она тоже соображает. По-своему. И это надо учитывать. Я не хочу найти дочь в ванной с перерезанными венами.

И р и н а. С ума сошел? Хорошо, как тогда? Ничего не делать? Какой-то Тагир, с ума сойти. Не хватало нам зятя-чеченца.

В и к т о р. Дагестанец. Ты расистка?

И р и н а. Все мы расисты, если честно. Я больше всего боюсь, что она сделает какую-то непоправимую ошибку. Она считает себя взрослой, а на самом деле еще ребенок. Я не переживу, если... Меня это страшно беспокоит. И надо как-то разобраться. Потому что каждый день чего-то ждать...

В и к т о р. Разберусь.

И р и н а. Тут сидеть — не разберешься. А что ты пишешь?

В и к т о р. Да так. Для себя. Просто пробую.

И р и н а. Не покажешь?

В и к т о р. А тебе интересно?

И р и н а. Вот представь себе, да.

*Молчание. Какие-то звуки.*

И р и н а. Ты что?

В и к т о р. А что?

И р и н а. Здесь?

В и к т о р. Ну да.

И р и н а. Постой. С ума сошел?

*Что-то упало.*

И р и н а. Это твое?

В и к т о р. Что?

И р и н а. Плеер, вроде.

В и к т о р. Это Анин. С диктофоном. Может, оставила нас записать?

И р и н а. Вроде, не работает... Кнопки какие-то...

*Щелчок. Тишина.*

## СЕДЬМАЯ ЗАПИСЬ Аня, бабушка и Тагир

*Какие-то голоса, музыка: это ресторан или кафе.*

А н я. Пока ждем, давай уже про дедушку. И ты всю правду обещала.

Б а б у ш к а. В обмен на знакомство с твоим Тагиром. Он точно придет?

А н я. Абсолютно.

Б а б у ш к а. А он знает, что ты со мной?

А н я. Нет.

Б а б у ш к а. Надо было сказать. Увидит и сразу уйдет.

А н я. Не уйдет. А уйдет — значит, все ясно.

Б а б у ш к а. Что ясно? Что не хочет серьезных отношений?

А н я. Ба, нет такого понятия — серьезные отношения. Все отношения — серьезные. Они или есть, или их нет.

Б а б у ш к а. Нет, но есть же нюансы.

А н я. Итак, дедушка.

Б а б у ш к а. Ты так запомнишь? Где твоя штучка?

А н я. Дома забыла. Я на телефон. На час его хватит, но мы уложимся, да? Значит — дедушка.

Б а б у ш к а. Дедушка... Аня, я чувствую, жить мне не так долго...

А н я. Начинается!

Б а б у ш к а. Я просто хочу с самого главного. То, что я давно должна была сказать.

Г о л о с о ф и ц и а н т к и. Уже решили?

А н я. Что будешь?

Б а б у ш к а. Чай с лимоном. И что-нибудь... Не знаю. Посоветуй, я не разбираюсь. Что-то не тяжелое.

А н я. Блинчики. Они небольшие. С творогом, с шоколадом. Или с мясом есть.

Б а б у ш к а. С творогом.

А н я. Чай и с творогом блинчики, а я... «Цезарь», что ли. Всегда так: смотрю, выбираю, а потом — «Цезарь».

О ф и ц и а н т к а. «Цезарь».

А н я. «Цезарь». И капучино. И вот этот десерт, клубничный.

О ф и ц и а н т к а. Все?

А н я. Пока да.

О ф и ц и а н т к а. Чай — черный?

Б а б у ш к а. Да, черный.

О ф и ц и а н т к а. Чай черный с лимоном, блинчики с творогом, «Цезарь», капучино, десерт клубничный. Меню оставить?

А н я. Заберите.

Б а б у ш к а. Милая какая девушка.

А н я. Они тут все такие. Работа такая.

Б а б у ш к а. Нравы смягчились, стали проще. Не во всем, конечно. Я раньше в ресторанах официанток просто боялась.

А н я. Почему?

Б а б у ш к а. Ну... Она с тобой говорит, как... Будто ты ей смертельно надоела, а она смертельно устала. Такое у них было высокомерие королев, которые по

недоразумению должны обслуживать простолоудинов.

А н я. Это с чего?

Б а б у ш к а. С того, что официантками работать было выгодно и престижно.

А н я. Шутишь?

Б а б у ш к а. А ты посмотри в свой планшетик, он тебе все расскажет.

А н я. Да уже смотрю. Тут много чего. А ты говори, говори.

*Молчание.*

А н я. Ау, ты тут?

Б а б у ш к а. Не думала, что будет так трудно... Но я очень не хочу, чтобы ты повторила мою историю. Ты слушаешь?

А н я. Конечно.

Б а б у ш к а. Вот, значит... История такая. В больнице мне после аборта сказали: детей, голубушка, у тебя, скорее всего, не будет. А я до этого о детях не думала. То есть думала, но как-то... В перспективе. А сказали — я была в ужасе. Как это, не будет? Я что, инвалидка, значит? И мне так захотелось ребенка! Записалась к гинекологу, проверилась еще раз. Может быть, но вероятность небольшая. Небольшая, но есть. А мужчинам я уже не доверяла тогда. Никому. И замуж не хотела. То есть я захотела забеременеть, но не хотела замуж. И началось... Скоро там чай принесут? В общем, начались... Как бы это...

А н я. Секс с кем попало ради ребенка?

Б а б у ш к а. Нет. Не с кем попало. Я выбирала по всяким показателям. Чтобы внешность, ум... Господи, мне аж нехорошо.

А н я. Давай потом, я не тороплю.

Б а б у ш к а. Потом не решусь. Были встречи... Короче говоря, в пятьдесят восьмом я своего добилась.

А н я. Залетела?

Б а б у ш к а. Другого слова нельзя найти?

А н я. Можно. Забеременела. Но оно хуже.

Б а б у ш к а. Чем это?

А н я. Да страшное какое-то. Длинное, тяжелое. Забеременела, брр! А залетела — легкое. И веселое даже.

Б а б у ш к а. Уж да, веселей некуда.

*Легкое постукивание: официантка принесла заказ.*

А н я. Пусть настоится.

Б а б у ш к а. Пить хочу. И даже лучше, что не крепкий, я крепкий... Вот. Да, в пятьдесят восьмом я поняла, что... И тут же уволилась, не хотела, чтобы... Обменяла квартиру на другой район, на «Техстекло». Это потом назвали, потому что завод технического стекла построили только что. Поэтому — «Техстекло». Туда я и устроилась работать. Мастером на участке поставили сразу. Они тогда кадры всю набирали. Еще строили, а уже начали производство. И дома возводили для работников. Беременность, переезд, новая работа — все сразу. И вот тут Алексей Сергеевич и встретился.

А н я. Не поняла. То есть папа не его сын? Если ты беременная уже была? Не сын нашего дедушки?

Б а б у ш к а. Да.

А н я. И я не знала!

Б а б у ш к а. Решили не говорить. Для тебя-то — какая разница?

А н я. А папа знал, что не сын?

Б а б у ш к а. До восьми или девяти лет не знал, а потом Алексей Сергеевич ему сказал. Под горячую руку попался, мы с Алексеем Сергеевичем ссорились, я ему: ты бы постеснялся при сыне, а он: хватит ре-

бенку голову морочить, пусть знает, что никакой он мне не сын.

А н я. И папа что?

Б а б у ш к а. Ну... Сначала не поверил даже. А потом... Переживал, конечно... Потом спросил, как и что, пришлось рассказать. А потом Алексей Сергеевич ему сказал: прости, это я сдуру, на самом деле ты, конечно, мой сын во всех смыслах. Ну... Ну и как-то... Сгладилось.

А н я. А кто настоящий был?

Б а б у ш к а. Ох, Аня...

А н я. Чего ты? Думаешь, я не понимаю? Наоборот, даже интересно! Читаешь про то время — строили социализм, никакого секса, все были послушные, как зомби жили, а вы, оказывается, были нормальные!

Б а б у ш к а. Я не считаю это нормой.

А н я. Ну, то есть, ну, человеческие, я в этом смысле. Как мы. Хочешь сказать, ты не знала, от кого?

Б а б у ш к а. Не знала. Потому что так получилось, что я в это время с одним заканчивала роман, а с другим... Аня, мне так стыдно об этом рассказывать...

А н я. Да круто же! Я тебя уважаю!

Б а б у ш к а. За что?

А н я. Ты поставила цель — ты добилась. А кто тебе подарил сперматозоидов, какая разница?

Б а б у ш к а. Аня... Я рассказываю — мне самой страшно, а как ты пересказываешь — еще страшнее.

А н я. Съешь блинчик. Возьми. Ты меня кормила, помнишь? Теперь я. За маму, за папу... Бери, говорю! Вкусно?

Б а б у ш к а. Ты говоришь — уважаю. Нельзя за это уважать, Аня.

А н я. Почему?

Б а б у ш к а. Потому что это... Это неправильно.

А н я. Что неправильно? Женщина хочет иметь ребенка — правильно?

Б а б у ш к а. Да, но...

А н я. А замуж не хочет, потому что имеет право выбрать или того, кто нравится, — или никого. Правильно?

Б а б у ш к а. Да, но...

А н я. Чего? Ты поступила абсолютно разумно. И я вот сижу перед тобой — результат твоего решения, между прочим.

Б а б у ш к а. Не знаю... То есть я рада, конечно... И, конечно, настоящий твой дедушка все-таки Алексей Сергеевич.

А н я. Понимаю. Ему сколько было тогда? Когда вы познакомились?

Б а б у ш к а. Семнадцатого года рождения, вот и считай. Сорок один было. Ровесник революции. Да и мне-то было уже двадцать девять, далеко не молоденькая... А он фронтовик, хоть и хромой, был в ремонтных частях, но и повоевал тоже. С медалями... После войны женился неудачно, ну, то есть... Не знаю, что-то у них не сошлось, не спрашивала. Она быстро за другого вышла, а он жил бобылем... Привык, наверно, в одиночку, он был замкнутый такой, суховатый... О себе ничего не рассказывал. Знаю только, что рос сиротой, родители рано померли, тоже был детдомовский... И больше ни родственников, никого. В одиночку как-то жил. Друзья были по работе, а чтобы домой позвать — никогда. Не любил. Ну, характер такой, что уж тут...

А н я. А как познакомились?

Б а б у ш к а. В одном доме жили. И работали в соседних цехах. Началось с того, что вместе с работы шли. Он идет, и я иду, получается, что вместе. Не сворачивать же. Я говорю: как интересно, и работаем рядом, и живем в одном доме. А он: угу. И больше ничего. И так несколько раз. Я молчу, и он молчит. Потом смотрю, он начал нарочно или раньше уходить, или



позже. Понять можно: неловко как-то — вместе идти и молчать. А потом вдруг смотрю — дожидается. Опять вместе пошли. И он говорит: вот что, Екатерина, я знаю, ты одна живешь, без семьи, я тоже, может, скооперируемся?

А н я. Так и сказал?

Б а б у ш к а. Ну, примерно. Что помню — идем так быстро, будто куда-то опаздываем. И все быстрее.

*Смех Ани.*

Б а б у ш к а. Ну да, смешно: на бегу в любви признался. Да и не в любви, а... Предложение совместной жизни. Я говорю: это как, без загса? Он говорит: нет, с загсом, только без всяких свадеб. Сменяем две однокомнатные на трехкомнатную секцию...

А н я. Какую секцию?

Б а б у ш к а. Квартиры так называли. Трехкомнатная секция, двухкомнатная. Не знаю почему. Секция... Лестничная клетка... Зверинцем пахнет, да?

А н я. И сейчас у многих так же.

Б а б у ш к а. Да... В общем, сказал он это, и тут мы как раз к дому пришли, то есть прибежали, можно сказать, и он говорит: ты не торопись, подумай. А я понимаю, что надо сказать сразу и не откладывать. И все ему сказала. Что жду ребенка. Он говорит: ну, извини за беспокойство. Я думаю: ну, вот и всё. А он на следующий день...

*Слышатся шаги, какие-то звуки. Мужской голос.*

Т а г и р. Привет. Что-то срочное?

А н я. Знакомься, Тагир, моя бабушка Екатерина Николаевна.

Т а г и р. Очень приятно, Тагир.

А н я. Ты садись, мы тут кое-что... Говорим о всяких делах.

Т а г и р. Понятно. У меня не очень со временем.

А н я. Да ладно, полчаса есть?

Т а г и р. Если полчаса. Девушка!

А н я. И на следующий день — что?

Б а б у ш к а. Потом, может?

А н я. Да ладно, немного осталось. Это бабушка рассказывает, как с дедушкой познакомилась.

Т а г и р. Понятно.

Г о л о с о ф и ц и а н т к и. Слушаю.

Т а г и р. Сок, пожалуйста, яблочный, фреш. Пока все.

Б а б у ш к а. Ну... В общем, на следующий день он подошел и говорит: ладно, в жизни всякое бывает, это будет наш ребенок. А потом своего заведем.

А н я. Это она про то, как дедушка ее взял с ребенком. С моим отцом.

Б а б у ш к а. Аня, подробности никого не интересуют.

А н я. И ты согласилась?

Б а б у ш к а. Не сразу. Месяца два он меня... Уговаривал. И я как-то взвесила все — и... И согласилась.

А н я. А потом что?

Б а б у ш к а. Все, конец истории. В пятьдесят девятом родился твой папа, я всю остальную жизнь проработала на заводе, дедушка тоже... И... А потом приехала к твоему папе в Москву — перед твоим рождением как раз.

А н я. А дедушка почему так рано умер?

Б а б у ш к а. Не так уж и рано, шестьдесят шесть было. Или... В восемьдесят третьем, значит... Да, шестьдесят шесть.

Т а г и р. Немного, но в России и сейчас в среднем столько живут.

А н я. Сейчас посмотрю.

*Постукивание пальцев.*

А н я. Ничего себе! Мужчины — пятьдесят девять лет! Сто двадцать девятое место в мире у нас! У пауков и то шестьдесят три. В Северной Корее — шестьдесят девять.

Т а г и р. А в Южной?

А н я. Сейчас... Восемьдесят!

Т а г и р. Вот и разница между капитализмом и социализмом. Извините.

Б а б у ш к а. Вы так передо мной извиняетесь, будто я представитель социализма.

Т а г и р. Вы жили в то время.

Б а б у ш к а. А вы разве нет? Судя по возрасту, захватили.

Т а г и р (*смеется*). Разоблачили! Да, меня даже в пионеры успели принять. А в комсомол уже нет, кончился комсомол. И в художественном училище уже после СССР учился. В девяностые.

Б а б у ш к а. Где, если не секрет?

Т а г и р. В Махачкале. Это Дагестан.

Б а б у ш к а. Я знаю.

Т а г и р. Извините, просто многие уточняют, спрашивают, где Махачкала. Многие думают почему-то, что это Азербайджан или Грузия. А некоторые считают, что и весь Дагестан тоже в Грузии.

Б а б у ш к а. Вы хорошо говорите по-русски.

Т а г и р. Мама русская. Для вас это легче?

Б а б у ш к а. Дорогой Тагир, не надо так агрессивно.

Т а г и р. Простите, если показалось, на самом деле я...

О ф и ц и а н т к а. Еще что-то?

Т а г и р. Нет, пока нет, спасибо.

*Тишина. Вернее, музыка и голоса посетителей кафе.*

Б а б у ш к а. А я вот Ане рассказывала... Эпизоды жизни. И знаете, что печально? Что о жизни до заму-

жества я могу очень много рассказывать, а после — как бы ничего и не было. На самом деле было — и работа, и... Но как-то...

А н я. Это ты к тому, чтобы я замуж не спешила?

Б а б у ш к а. Нет. Понимаешь, Аня... Помнишь, я говорила про наше родовое проклятие? Мы не умеем отказывать, мы любим всем нравиться, мы хотим, чтобы нас хвалили. И я очень хотела... Пойти на встречу Алексею Сергеевичу. Потому что он меня любил, а я... Я себя уговорила, что тоже... И сломала ему жизнь в результате.

А н я. Почему?

Б а б у ш к а. Ну... Он хотел детей, а у меня больше не было. И...

*Молчание. Разные звуки.*

Б а б у ш к а. Он всегда чувствовал, что я к нему не так, как он ко мне... Нет, это часто бывает, кто-то любит больше, кто-то меньше, но... Но кто-то к этому относится нормально, то есть не нормально, а... Ну, понимает. А кто-то очень требовательно. Я люблю — значит, и ты обязана.

А н я. Он не мог тебе простить, что ты его не любила?

Б а б у ш к а. Почему не любила? Нет, я по-своему тоже...

А н я. А, ну да. По-своему, конечно. Когда по-своему, это обычно значит — никак.

Б а б у ш к а. Неправда.

Т а г и р. Это вы для меня говорите?

А н я. Кому вопрос?

Т а г и р. Вам. Обeim. Вы для меня разговор этот... Я тему не пойму.

Б а б у ш к а. Я просто хотела на вас посмотреть, говорю честно. Да, хотела посмотреть. Может, поинте-

ресоваться, сознаете ли вы меру ответственности, учитывая, что...

Т а г и р. Сознаю.

А н я. Постой, мы еще не все. Ба, я о чем с тобой хотела поговорить...

Б а б у ш к а. Я думала, только спрашивать.

А н я. Это тоже, но... Ты сама навела — насчет по-своему. Любить — не любить... Ты бы объяснила бы папе с мамой, пусть они успокоятся. Они тоже не очень уже друг друга любят. Ну, то есть, не как раньше. Но они уже вместе фиг знает сколько. И они друг другу подходят, вот что главное. Чтобы они поняли — не во мне дело, я спокойно проживу даже одна, если будет нужно. А они вот разбегутся, а потом пожалеют, я точно знаю. Тебе вот с дедом было хорошо?

Б а б у ш к а. Ну... В общем, да. Он непростой был, хмуроватый... Я иногда... Также о разводе подумывала... А сейчас думаю — все правильно.

А н я. Вот! И я о том же.

Т а г и р. Без любви нельзя людям вместе жить. Это их уродует морально. Они нервные становятся. И на детей действует.

А н я. Знаешь, если уважают друг друга — уже вот так хватает!

Т а г и р. Кому?

А н я. Всем. И детям в том числе. Может, даже вместе жить не обязательно, но уважать друг друга — самое главное.

Т а г и р. Лично я всех уважаю. Если уважают меня.

А н я. Не знаю, Тагирчик. И меня тоже?

Т а г и р. Конечно, Анечка. Ладно, раз уж так вышло...

*Пауза. Ощущение, что вокруг стало тише.*

Т а г и р. Дорогая бабушка. Я собирался сделать это ее родителям... То есть не сделать, а... Попросить.

Но, если уж вы тут... Я прошу у вас руки вашей внучки. Я ее люблю больше всего на свете. Я сделаю все, чтобы она была счастливой.

Б а б у ш к а. А можно еще чаю?

Т а г и р. Девушка, будьте любезны!..

А н я. Тагир, это не смешно.

Т а г и р. Кто смеется? Я серьезно прошу тебя выйти за меня, а ты не веришь.

А н я. Ну да, ты понял, что просто так я с тобой не согласна, поэтому... Ты смелый человек.

Т а г и р. Я тебя люблю, вот и все.

Б а б у ш к а. Послушайте... А вы не можете подождать?

А н я. Он не может. Он привык, чтобы сразу. Захотел — получил.

Т а г и р. Не надо меня унижать, Аня, я не заслужил.

Б а б у ш к а. А как же — женат и еще одна девушка?

Т а г и р. Ты рассказала?

А н я. Ба, видишь, как он сразу напрягся? Тигр реально. Этого я и боюсь.

Т а г и р. Чего?

А н я. Тагир, ты при бабушке все говоришь, и я скажу при ней, чтобы ты понял, что серьезно. А то, когда я одна, ты меня всерьез не воспринимаешь.

Т а г и р. Неправда.

А н я. Правда. Так вот, Тагир, дорогой, ты очень интересный человек. Хороший. И красивый, тоже важно. Но я для тебя — объект.

Т а г и р. Неправда.

А н я. Правда. Ты так о своей жене рассказываешь и об этой Ирме, будто... Ну, будто о машинах, понимаешь? Вот были они новые и красивые, ты их любил, а теперь не новые, разлюбил. И даже будто обижаешься на них: вот какие машины ненадежные отказались. У одной мотор барахлит, у второй тормоза плохие...

Или не сразу заводится. Ты не любишь ездить на подержанных машинах, сам говорил. Два года — и продаешь.

Т а г и р. Не надо сравнивать мертвые машины и живых людей. Ты говорила об уважении — жену я уважаю, а Ирму мне уважать не за что. Это мое право.

А н я. А потом и меня перестанешь уважать. Да и сейчас не очень. Я для тебя объект, говорю же.

О ф и ц и а н т к а. Что-то еще хотели?

Т а г и р. Нет.

Б а б у ш к а. Чай.

Т а г и р. Да, извините, чай. И счет, пожалуйста. Аня, я не знаю, может, ты для бабушки все это сейчас сказала... Но я не понял, что это означает. Конкретно? Что мы не будем больше встречаться?

А н я. Да. Прости, Тагирчик.

Т а г и р. А раньше ты не могла этого сказать? Почему ты мне... Делала вид, что... Ты мне давала надежду.

А н я. Никакой надежды я не давала, ты сам ее заимел. Это меня и смутило, между прочим. А я уже повелась, я уже чувствую, что я от тебя зависеть стала. Слышал, что бабушка сказала про наше проклятье? Вот оно самое.

Т а г и р. Она твоему дедушке навстречу пошла.

А н я. А не надо было.

Б а б у ш к а. Ты меня запутала. Только что говорила, что, наоборот...

А н я. Не надо было замуж. А раз уж вышла — все, дело сделано.

Т а г и р. Кто тебе в голову придумал эти вещи? Ты во взрослую играешь?

А н я. Я хочу выйти замуж раз — и навсегда. Ну, то есть, надолго хотя бы. И не сегодня. И уж точно за человека, который во мне тоже будет человека видеть. Это главное, понимаешь?

Т а г и р. Я вижу в тебе человека.

А н я. Нет, Тагир. Так что... Ты только не подумай, что ты какой-то плохой или что-то. Как раз нет. Ты

очень хороший. Было бы легче, если бы плохой, я бы трахнулась пару раз и досвидос. Не привыкать.

Б а б у ш к а. Аня!

А н я. Шучу. А ты хороший и у тебя все серьезно. Но потом ты мне за это отомстишь.

Т а г и р. За что?

А н я. За то, что я стану подержанной машиной. Даже если ты сам ее подержал.

Т а г и р. Ты меня оскорбляешь, ты понимаешь это?

А н я. Да, наверно.

Т а г и р. Что наверно?

А н я. Оскорбляю. А что, нельзя? Мне кажется, любой человек имеет право оскорбить другого.

Т а г и р. Ты знаешь, что я не могу ответить.

А н я. Почему? Потому что мне нет восемнадцати? Или потому что я — девушка? То есть — не совсем человек? А ты ответь — на равных!

О ф и ц и а н т к а. Наша карта есть?

Т а г и р. Что?

О ф и ц и а н т к а. Наша карта? Дисконтная?

Т а г и р. Нет.

*Молчание.*

Т а г и р. Короче, я ничего не понял. Я не понял, зачем ты устроила тут этот клоунский цирк...

А н я. Вот! Вот это любимое у тебя, все у тебя — клоуны! Везде у тебя — цирк! Все не правы, ты — прав! А если я о тебе скажу — клоунский цирк? Тебе понравится?

Т а г и р. Я не давал повода.

А н я. Само собой, клоуны — это другие, не ты. В этом все дело, Тагир.

Т а г и р. Ладно. Я тебе позвоню.

А н я. Лучше не надо.

Т а г и р. Даже так? Хорошо. Приятно было познакомиться.

Б а б у ш к а. Взаимно. До свидания...



*Такое ощущение, что музыка и голоса стали громче.*

Б а б у ш к а. Ты меня ошаршила.

А н я. Я старалась. Ты мне очень помогла, я бы без тебя... Прости, я тебя, получается, использовала.

Б а б у ш к а. Аня! Если бы ты знала, как это приятно, что такую древнюю старуху еще можно использовать! Нет, но какая ты взрослая... Пятнадцать лет — и... Ты меня потрясла.

А н я. Почти шестнадцать. И я страшно умная. Даже слишком.

*Молчание.*

Б а б у ш к а. Если б кто мне сказал, что пятнадцатилетняя девочка...

А н я. Шестнадцати!

Б а б у ш к а. Заставит меня иначе посмотреть на всю свою жизнь...

А н я. Да ладно! Главное — сочинение точно получится.

О ф и ц и а н т к а. Я уберу?

А н я. А еще кофе можно?

О ф и ц и а н т к а. Да, конечно.

Б а б у ш к а. Извините, а есть у вас... Ну, что-то алкогольное?

О ф и ц и а н т к а. Коктейли, вино, виски, коньяк, водка.

Б а б у ш к а. Водки дайте.

*Молчание.*

А н я. Ба, а как он тебе, ничего?

Б а б у ш к а. Аня!

А н я. Я просто спросила!

*Часть IV*

Приговор  
Антону  
Смирнову

1954–1962

## ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск, 21 июня 1962 года

Октябрьский районный суд г. Омска в составе:

председательствующего судьи Балыкина В.Д.  
при секретаре Афросиной М.Н.

с участием государственного обвинителя —  
помощника Омского межрайонного прокурора  
Чепенко Н.В.,

подсудимого Смирнова А.В.,

защитника — адвоката Луферова Ю.К.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Смирнова Антона Владимировича, рождения  
27 марта 1938 года,

хутор Гейбель (Брауншвейг) Гнаденфлюр-  
ского кантона АССР Немцев Поволжья, ныне  
Федоровский р-н Саратовской обл., обвиняе-  
мого в совершении преступления, предусмо-  
тренного ст. 80, уклонение от очередного  
призыва на действительную военную службу,

а также преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 147, хищение предметов, имеющих особую ценность,

а также преступления, предусмотренного ст. 158, незаконное изготовление, сбыт, хранение спиртных напитков,

а также преступления, предусмотренного ст. 228, изготовление или сбыт порнографических предметов,

а также преступления, предусмотренного ст. 154, спекуляция,

а также преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 87 УК РСФСР, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные в виде промысла, относящееся к особо опасным государственным преступлениям в соответствии с УК РСФСР,

а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148, неправомерное завладение транспортным средством, лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения,

а также преступления, предусмотренного ст. 17, соучастие в преступлении, предусмотренном ст. 188, побег из мест лишения свободы, предварительного заключения или из-под стражи, в качестве пособника, в соответствии с разъяснениями ст. 17, из которых следует, что пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем,

а также преступления, предусмотренного ст. 191, сопротивление представителю власти,

УСТАНОВИЛ

Смирнов А.В. в декабре 1954 г. самовольно уехал с места постоянного проживания и прописки в с. Каменка под предлогом смерти матери и поиска работы. Был незаконно, без должного оформления, принят учеником в артельное предприятие «Луч», ныне Государственное Производственное Объединение «Луч», в цех художественных промыслов, пользуясь покровительством Мильбергера В.К., мастера указанного предприятия.

Выполняя плановую работу, Смирнов А.В., под руководством Мильбергера В.К., вместе с другими работниками, одновременно и незаконно занимался реставрацией икон по заказу представителей служителей культа и частных религиозных лиц. Помимо этих икон, Смирнов А.В. совместно с Гришиным С.С. и Коробеевым М.Д. изъяли иконы и утварь в действующих церквях сел Парищево, Лухомань и Советское под предлогом их негодности или, как заявил впоследствии Смирнов А.В., «все равно бы они пропали», после чего, после реставрации, предметы были переданы или проданы служителям культа и частным религиозным лицам.

В 1955 г. Смирнов А.В. уклонился от призыва на действительную военную службу, симулируя религиозность. Тем не менее, он был подвергнут осмотру медицинской комиссии, которая установила ограниченную способность к прохождению службы в связи с начальной стадией туберкулеза, что не отменяет сам факт отказа, зафиксированного в собственноручном заявлении Смирнова А.В., тем более,

что дальнейшие события и показания свидетелей отрицают его религиозность, подтверждая вывод о ее симуляции.

В 1957 г., в связи с перепрофилированием артельного предприятия в государственное и запретом самостоятельно заниматься розничной торговлей, Смирнов А.В. под руководством Мильбергера В.К. продолжал заниматься производством и розничной торговлей различного ассортимента предметов культа, а также бытовых украшений и предметов, продавая их на рынках через третьих лиц. Смирнов А.В. утверждает, что он не знал о торговле и был убежден, что эти работы выполнялись в плановом порядке. Но установленные факты подтверждают, что ему было известно предназначение выполняемой работы, чем подтверждается его сознательное участие

В том же году Смирнов А.В. вошел в контакт с Кутясовой М.Р., ранее судимой за спекуляцию и получившей отсрочку приговора по беременности, а затем в связи с амнистией. Кутясова М.Р. предложила Смирнову свои услуги, на что Смирнов согласился. Кутясова предложила Смирнову фактически уйти из Объединения «Луч», оставив там трудовую книжку с согласия Мильбергера, и заняться с ней самостоятельно производством и сбытом кустарных произведений искусства\*, пользуясь их дефицитом. А именно: шкатулки, коврики, портреты Сергея Есенина и др. популярных лиц, рисунки на дереве способом выжигания обнаженных женщин и другую продукцию мещанского характера.

---

\* Так в документе.

Кутясова принимала участие, будучи натурщицей для всех этих изделий. Имеются также картины с изображением Кутясовой в обнаженном виде, близкие к порнографии, но они не приобрелись к делу в связи с тем, что предназначались не для сбыта, а для домашнего личного использования. Возможно, сбыть их просто не успели, потому что факт домашнего использования не согласуется с количеством этих картин: маслом 5, акварелью 12, а также около 50 листов углем, карандашом и другими средствами.

Также Смирнов подделывал репродукции классиков живописи Шишкина, Айвазовского, Саврасова, Левитана и других, что также сбывалось на местных рынках. Кутясова, используя качество картин, а именно, что они были сделаны не на бумаге или картоне, как делаются фабричные, а на холсте и масляными красками, убеждала покупателей, что это неизвестные копии, написанные самими художниками, что позволяло ей поднимать цену, не соответствующую стоимости.

На эти доходы Кутясова вела разгульный образ жизни, проводила время в коммерческих ресторанах, в одном из которых числилась официанткой, но не работала, отдавая начисленную зарплату директору ресторана Сомовой Е.К., что выделено в настоящий момент в отдельное дело. На почве этой жизни Кутясова совершала антиобщественные поступки. В частности, нанесла побои восемнадцатилетней Ольге Жариковой, соседке, которая ходила к ним и училась у Смирнова рисованию. Под предлогом ревности Кутясова напала на Жарикову в пьяном виде и нанесла ей несколько ударов, после чего нанесла удары и Смирнову, а потом матери Ольги

Жариковой, которая вызвала милицию. Кутясова напала и на милицию, была доставлена в отделение и подвергнута аресту. Готовилось дело о злостном хулиганстве, но вмешалось ходатайство Смирнова, Ольги Жариковой и ее матери с просьбой о невозбуждении, вследствие чего последовал административный штраф, учитывая двух несовершеннолетних детей Кутясовой.

В 1958 году Смирнов А.В., пользуясь небдительностью художника Васильевского Т.Р., являющегося членом Союза Художников и членом Правления Омского Отделения, с его помощью добился показа на областной выставке трех своих картин, которые были, в соответствии\* с воззрениями Смирнова, безыдейными, в виде пейзажей там изображались церковь и кладбище, что не рассматривается в смысле подсудности, но дает характеристику морального облика Смирнова, которая должна учитываться в соответствии с требованиями законодательства.

В том же году Смирнов изготовил самодельный печатный станок под предлогом печатания произведений художественной графики. Кутясова познакомила Смирнова со своим бывшим сожителем Кравченко, отбывшим срок, который заинтересовался продукцией Смирнова и его станком. В это время Кравченко и группа лиц занялись подпольным производством алкогольной продукции, для чего понадобились этикетки. Смирнов в своих показаниях утверждал, что он отказался делать этикетки. Между ним и Кравченко произошел конфликт. Смирнов согласился сделать образец этикетки, а Кравченко и Кутясова сами изготавливали этикетки,

---

\* Так в документе.



а группа Кравченко наклеивала их на подпольную водку и реализовывала через сеть розничной торговли.

В 1959 году Смирнов по неизвестным причинам уехал в село Мещеряково, где была подпольная мастерская по изготовлению икон, и там занялся их изготовлением. В настоящее время эта группа разоблачена, ведется следствие. В сентябре 1959 года Кутясова приехала к Смирнову с просьбой вернуться под предлогом того, что у нее от Смирнова родился сын. Установлено, что сын родился от Кравченко. Но Смирнов поверил и вернулся. Кутясова сообщила ему, что за это время Кравченко был осужден и отбывает срок наказания в ИТУ Оренбургской области.

Она убедила Смирнова, что виноват не Кравченко, а что его подвели друзья, которых он якобы не выдал. На этом основании Кравченко собирается совершить побег и просит Кутясову и Смирнова о содействии. Как следует из показаний Смирнова и показаний Ольги Жариковой, которой он рассказал об этом, Кутясова обещала, что, в случае содействия побегу Кравченко, она выйдет замуж за Смирнова, а не будет продолжать жить с ним гражданским браком.

В марте 1960 года Кравченко направили в пересыльный пункт Межово, о чем он сообщил Кутясовой. Вместе со Смирновым они отправились на поезде до Челябинска, а потом ими была украдена лошадь вместе с телегой, принадлежащая местному кооперативу. На этой лошади они отправились к Межово, где Кравченко уже совершил побег и ждал их в селе Лягошь. Они поехали к Челябинску, где бро-

сили лошадь и сели на поезд, при этом у Кравченко уже были документы неизвестного происхождения. Не исключено, что документы изготовил Смирнов, он это отрицает, факт на данный момент остается не доказанным. Суд исходит из того, что, при всей тяжести совершенных деяний Смирнова А.В., следует учитывать только доказанные и проверенные факты. Но аналогия совершенных преступлений, конечно, наводит на мысли.

Летом 1960 года Кутясова исполнила обещание, их брак был зарегистрирован, Кутясова оставила свою фамилию. После этого она уехала к Кравченко, который отправился в Казань к родственникам. Смирнов в это время был с ее детьми от предыдущих отцов и с сыном от Кравченко. Ему помогала Жарикова. У суда есть основания считать, основываясь на свидетельских показаниях, что имел место факт сожителства Жариковой и Смирнова. Смирнов и Жарикова этого факта не отрицают, но настаивают на том, что в этом сожителстве не было половых отношений. Но Кутясова, приехав из Казани вместе с Кравченко, заподозрила Смирнова в супружеской измене и нанесла побои Жариковой и Смирнову, после чего Жарикова с матерью уехали в деревню.

В 1960 году осуществлялись мероприятия в ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами», что дало Кравченко повод для создания плана махинации по изготовлению фальшивых купюр для дальнейшего их обмена на новые и настоящие. Он организовал для этих целей группу и стал уговаривать Смирнова изготовить купюры. Тот утверждает, что отказывал-

ся, но Кутясова присоединилась к уговорам. Она убеждала Смирнова, что Кравченко силой принуждает ее к сожительству, но обещает прекратить отношения, если Смирнов согласится на участие. Вместо согласия Смирнов, с его слов, намеревался убить Кравченко, явился к нему ночью, что подтвердила одна из сожительниц Кравченко, фамилия которой следствию и суду известна. Но там был ребенок этой сожительницы, Смирнов изменил свой план, но потребовал письменной расписки от Кравченко, что он исполнит обещание о разрыве отношений с Кутясовой. Тот дал расписку, которая не сохранилась и в материалах дела отсутствует.

В конце 1960 года Смирнов А.В. наладил производство денег старого образца. В период со 2 января по конец февраля был произведен обмен денег. Для этого организованная Кравченко группа использовала граждан, обращаясь к ним за помощью и объясняя им, что имеют на руках слишком много наличных денег, и на это могут обратить внимание. А у граждан денег немного и, если они добавят еще чьи-то, никто не заметит.

Таким образом, эти введенные в заблуждение граждане за небольшое вознаграждение сдавали фальшивые деньги вместе со своими во временные пункты, которые не все были укомплектованы специалистами и техническими средствами для обнаружения фальшивых денег. Получая деньги нового образца, эти граждане передавали их лицам из группы Кравченко. Купюры старого образца, отправляемые на утилизацию, не всегда исследовались, первую партию фальшивок обнаружили 26 февраля, после чего потупило распоряжение усилить контроль, но группа уже свернула деятельность. По приблизитель-

ным подсчетам было обменено около 200 тысяч рублей старого образца и получено соответственно около 20 тысяч рублей нового образца. После этого Кравченко, Кутясова и младший сын Кутясовой и Кравченко уехали, в настоящий момент они находятся во всесоюзном розыске.

16 мая 1961 года Смирнов А.В. отвез двух детей Кутясовой в деревню Ольги Жариковой, после чего им была осуществлена явка с повинной. В ходе допроса, когда ему стал понятен масштаб совершенных преступлений и он уяснил форму возможного уголовного наказания, он стал отказываться от показаний и оказал активное сопротивление сотруднику милиции, задержавшему его при попытке уйти.

При назначении Смирнову А.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который на учете у психиатра не состоит, по бывшему месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении официально двух детей, фактически с ним не проживающих, а также все имеющиеся свидетельства и факты, касающиеся упомянутых обстоятельств.

На основании изложенного суд

#### ПРИГОВОРИЛ

Признать Смирнова А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 80, ч. 2 ст. 147, ст. 158, ст. 228, ст. 154, ч. 2 ст. 87, ч. 1 ст. 148, ст. 191 и применить, в соответствии со ст. 23 УК РСФСР, исключительную меру наказания — смертную казнь.

# Часть V

## Двери

*Рассказы*

*Виктора*

*Смирнова-Ворохина\**

1965 – 2016

---

\* Не предназначались для печати, но были переданы мне с разрешением дорабатывать и перерабатывать как вздумается. Что и было сделано.

Вместо *предисловия* само собой просится — *преддверие*.  
Пусть оно и будет:

## ПРЕДДВЕРИЕ

Был бы я веселый концептуалист, я б устроил такой перформанс: в пустом помещении стоит дверь, на ней табличка «Вход». (В скобках — «Выход».) Желающих просят войти (или выйти) и рассказать историю про главную дверь своей жизни. Из этих историй-монологов делается фильм и демонстрируется при большом стечении любознательной публики. Копии продаются участникам, права на публичную демонстрацию, прокат и перепродажу — серьезным дистрибьюторам.

Можно после этого, используя успех, устроить второе представление: входящие видят голую стену и две двери. Выбирают одну из них, а за нею опять две двери. И в следующем отсеке, и далее. Установлены счетчики. Через неделю объявляются результаты: в первую левую дверь вошло столько-то, в первую правую столько-то. И так вплоть до последних дверей, которых будет шестнадцать, тридцать две или шестьдесят четыре, в зависимости от величины помещения. По каждой — своя статистика. Зачем, что значат эти цифры? Вопрос ретроградов, не понимающих современного искусства. Если кто-то особо въедливый пристанет, нужно спросить его громко, с усмешкой, с оглядкой на присутствующих: «Неужели непонятно?» Присутствующие усмехнутся: действительно, что тут непонятного? И въедливый заткнется. И все разой-

дутся с таинственными лицами заговорщиков: мы-то понимаем, в чем тут суть, мы люди тонкие, сведущие!

А лучше устроить честную, без концепта, выставку дверей — деревянных, металлических, антикварных, новых, искусно украшенных, типовых, домовых, квартирных, офисных, межкомнатных...

Я бы сам на такую сходил.

Первое правило рекламы: так представь товар, чтобы самому захотелось его купить. Этому со злоградской мудростью в глазах учили меня, начинавшего, опытные рекламные люди. Потом я понял, что совет бессмысленный и даже вредный. Сплошь и рядом приходится расхваливать то, что сам не выбрал бы ни при каких обстоятельствах; больше того, подавляющая часть товаров, услуг и прочего, что рекламировало мое агентство, от которого я, слава богу, избавился, вызывало у меня отвращение, доходящее до тошноты. Реклама, за исключением редких случаев, когда предлагаются действительно стоящие вещи, должна быть аляповата, проста, доходчива. Чтобы соответствовать не твоему изысканному, как ты ошибочно считаешь, вкусу, а материальным и эстетическим потребностям широкого потребителя.

Один из моих первых заказчиков, помнится, бодро сказал: от вас требуется только картинка, слоган уже есть. Что он продвигал, неважно. Допустим, соль. И звучало, допустим, так: «Соль на столе — счастье всей семье». Я, эстет, любитель литературы вообще и поэзии в частности, скривился:

— Рифма не очень.

— Почему? И там «е», и там «е».

— Это написано. А слышится нескладно. Все равно, что «хочу» — «могу». Там «у», и там «у». Но не рифма.

— Почему? Хочу — могу, отлично звучит! Мы с этими словами тоже что-нибудь придумаем! Главное, я на

всех уже проверил, и на жене, и на коллективе, всем нравится! Понимаете?

Я понял, что ж тут не понять. Как говорится, был бы умный в дураках, да дурак надоумил. И впоследствии уже не морщился, видя — и сочиняя — размашистые формулы вроде «Семья бесценна, когда полноценна» или «К нам зайдешь — с покупкой уйдешь!»

По правде говоря, реклама и не должна быть слишком хорошей, иначе она сама станет предметом потребления, затмив товар.

Тема дверей, входа и выхода, меня занимает всю жизнь. То есть — тема выбора, предвкушения, опасения, загадки. Неизвестности.

У меня скопилась куча эскизов, картинок и картин с дверьми. Открытыми, закрытыми, облупленными, новыми, от массивных ворот, подобных верещагинским дверям Тамерлана, до косых деревенских калиток.

«Двери Смирнова-Ворохина не кажутся накрепко закрытыми или надолго открытыми, этот статичный объект у него всегда в неявной динамике: вот-вот кто-то выйдет или, наоборот, войдет — тот, кого очень ждут там, в доме, или здесь, на улице. Нетерпеливое ожидание, часто радостное, готовое к приятному удивлению, но, бывает, и тревожное. И всегда — беспокоящее».

Так написал бы обо мне какой-нибудь искусствовед, если б был я, Смирнов по маме, Ворохин по отцу, хоть мало-мальски известен и интересен кому-то из искусствоведов. При этом художник я неплохой и даже хороший, но затерялся среди сотен других Смирновых-художников, как затерялся бы и среди сотен Смирновых-романистов и тысяч Смирновых-поэтов. Звезды не сошлись. Я не сетую. Если что меня парит, говоря современным мусорным языком, так только загадка: почему вещи заказные — агитационные в советское



время и рекламные в новейшее — у меня получались лучше, чем свои собственные? Лучше не по художеству, конечно, а по степени успешности, известности, прибыльности. Как мастер рекламного дела, я входил в первую двадцатку Москвы, а как художник не имел и не имею ни славы, ни достатка.

Но давно успокоился, а сейчас и вовсе занялся не своим делом. Решил, следуя деду, Николаю Тимофеевичу, и его сыну, моему дяде, Владимиру Николаевичу, попробовать описать свою жизнь. Не в виде дневника, а рассказами — наугад, без плана, что вспомнится.

Зачем мне это?

Возможно, хочу понять, почему я был так безоговорочно счастлив в детстве и юности и почему так неизлечимо уныл сейчас. Найти ту дверь, которую не надо было открывать. Или ту, мимо которой я прошел, а она была единственно нужной.

То есть те же мои излюбленные двери, но теперь не красками, а словами.

Самому интересно, что получится.

Это ведь главное — чтобы самому было интересно.

# ВИНО, ДЕВУШКИ, АВТОМОБИЛИ

(1965)

Ворота гаража распахнуты, возле них, на травке, под теплым вечерним солнцем, сидит парень в майке и подтачивает напильником какую-то деталь. Что-то длинное. Рядом, на подстилке, другая деталь, громоздкая. Поточив, парень пытается вставить длинную деталь в громоздкую. Не получается. Он смеется и что-то говорит девушке в цветастом платье, которая сидит на табуретке и наблюдает. Она тоже смеется и тоже что-то говорит. На кирпиче стоит бутылка вина. Посмеявшись и поговорив, парень берет бутылку, наливает в стаканы себе и девушке. Красная густая жидкость булькает из бутылки, плещет в стаканы, вызывая жажду этими звуками.

Они выпивают. Парень опять точит, ширкает, старается. Но, наверное, опасается сточить лишнее. Ему нужно, чтобы деталь входила точно, без зазора. И он опять пробует приладить длинное к громоздкому. Пока не получается.

Мне лет шесть или семь. Я не помню, зачем забрел сюда, в гаражный городок, а то и целый город, где длинные улицы гаражей друг над другом, на склоне крутого холма.

Я сижу среди лопухов и что-то строю из обломков кирпичей, хотя это мне не нужно. Но просто так, без дела, глазеть нехорошо, подумают еще, что подсматри-

ваю, вот я и изображаю, будто занят чем-то детским и глупым, схитрив, что я как бы младше самого себя.

Но они и не обращают на меня внимания. Он работает, она наблюдает. Смеются, разговаривают, пьют вино. Ясно одно: им очень хорошо.

А в гараже, в полусумраке и прохладе, стоит машина. Не помню какая. Помню, что красивая и новая. По стенам стеллажи с запчастями. На гвоздях и крюках висят какие-то шланги, какие-то причудливые инструменты. И пахнет оттуда приятно чем-то машинным, вспоминаются загадочные слова, которые я слышал от взрослых: «тавот», «солидол», «автол»...

Что еще?

Да ничего. Такая вот картинка. Одно из первых ярких и осознанных детских впечатлений. Вклеилось в память навсегда.

Через много лет, мудрствуя лукаво, я рассказывал приятелям и дамам: дескать, потому впечатление оказалось столь сильным, что в нем заложены были все мои основные жизненные увлечения: вино, девушки и автомобили. И конечно, чтобы при этом была хорошая, простая, понятная работа. И чтобы она ладилась. Как это вышло тогда у парня, который наконец приставил длинное к громоздкому, хлопнул ладонью и засмеялся. Ведь это очень здорово, когда что-то с чем-то соединяется точно, без зазора. Не просто хорошо весьма, а единственно правильно. И ты это чувствуешь, и счастлив.

Красиво излагаешь, отвечали мне приятели и дамы. Но не мог ты в том возрасте так причудливо думать, это раз. И автомобиля у тебя до сих пор нет, это два.

Да, соглашался я, автомобиля нет, но я всегда мечтал, чтобы он был.

— Так купи!

— Не хочу. Пусть что-то остается несбывшимся.

# ПАЛЬТО

(1967)

Просыпаюсь, слышу голоса родителей за дверью и радуюсь: я уже знаю, что они есть, а они еще не знают, что я есть.

Я тайный и невидимый.

Могу ожить, когда захочу.

Впереди большой и важный день.

Вчера мы с Костяном, Ромкой и Корнеем, то есть Колькой Корнеевым, договорились идти на молокозавод, что на краю города. Он окружен забором из бетонных плит, утыканных по верху ржавыми прутьями. Забор скрывает сокровища: кучи отходов производства, в том числе полосы и рулоны разноцветной фольги, из которой делают крышки для бутылок. Белые для молока, зеленые для кефира, фиолетовые для «снежка». На месте вырезанных крышек — дырки. Но иногда попадаются полосы и рулоны без дырок. Ими можно обмотать для красоты что угодно, например раму велосипеда. Или перила в подъезде. Или подразнить девчонок — они обмирают, завидуя этой красоте. Сменяться с ними на что-то. Да мало ли.

Другие туда ходили, лазили через забор и приносили фольгу, а мы еще нет. Говорят, там сторож с ружьем. Костян не верит в сторожа, потому что боится испугаться. Ромка, наоборот, не только верит, но считает, что сторожей может быть четыре, по одному на

каждый угол. Корней полагает, что сторож, да, может быть, но он, скорее всего, старый дурак, который ничего не видит и медленно бегаёт.

Вчера мы хвастались друг перед другом, как ловко перелезем и обманем сторожа, сегодня об этом думать жутковато, но весело.

Не идти нельзя. В прошлое воскресенье играли в войну, уговор был падать там, где застрелят. Меня застрелили посреди лужи, но я пробежал несколько шагов и только после этого упал. Корней возмутился, кричал на весь двор, что я ссыкло. И всю неделю, встречая меня в школе, орет: «Ссыкло пришло!» Это может стать кличкой. Сегодня я докажу, что не ссыкло, полезу через забор первым. И пусть попробует еще хоть раз обозвать, получит в морду.

Корней старше всех, уже курит, и у него отец в тюрьме, чем он гордится, а другие его за это уважают. Я Корнея не очень люблю, но мне нравится, когда он меня хвалит. Он главный в нашей компании.

За окном солнечно. Вот бы вместо холодной и грязной осени настало опять лето. Конечно, так не бывает, но кто мне мешает придумывать все, что захочу? И я представляю, что вместо октября за сентябрем пришел август. А потом июль, июнь... Потом май, апрель, март... Но в марте опять слякоть и холод. Значит, куда время ни пойдёт, все равно наткнешься на то же самое...

Спохватываюсь — чего это я лежу? Вскакиваю, бегу в туалет, потом в ванную, торопливо умываюсь, выдавливаю на щетку капельку едучего «Поморина», два-три раза ширкаю по зубам, плююсь, споласкиваю рот, тру лицо полотенцем, иду в кухню. Мама у плиты, отец ест оладьи со сметаной.

— Что так рано? — улыбается мама.

Отец смотрит внимательно, будто что-то знает. Он всегда и на всех так смотрит.

Я посыпаю горячие оладьи сахаром, ем, обжигаясь, запиваю чаем. Смотрю в окно. На детской площадке, под грибком, сидят Ромка и Костян. Надо бы открыть окно и крикнуть им, чтобы подождали, но окно уже заклеено на зиму. Да и так подождут.

На Ромке рубашка, Костян в легкой куртке. Значит, совсем тепло.

Я говорю спасибо, иду к двери.

— Куда? — окликает мама.

— На улицу.

— Пальто надень.

— Mam, ты чего? Ты смотри, какая погода там!

— А что погода? Вчера тоже с утра светило, а потом снег пошел.

— Это вчера, а сегодня вообще как летом!

— Без пальто не пойдешь, — говорит отец.

С мамой еще можно поспорить, с отцом бесполезно.

Проклятое пальто.

Оно куплено неделю назад. Светло-коричневое, толстое, с большими пуговицами, с рыжеватым воротником. Я его возненавидел с первого взгляда. Бабское. Но тут как раз начались первые морозы, все пришли в школу в зимнем, моего позора никто не заметил. Тем более что по дороге я потерся о стену, слегка испачкал рукав грязным снегом — пальто выглядело почти по-человечески.

Возвращаюсь в кухню, смотрю в окно. Корнея еще нет, но вот-вот выйдет. Чаще всего он появляется, когда мы все уже в сборе. Наверняка и он будет в чем-то легком, летнем. А я — в пальто. Засмеют. Корней опять найдет какое-нибудь позорное слово, он это умеет. «Ямщик», — опережаю я Корнея, вспомнив иллюстрацию из книги о старинной жизни, на ней был человек в толстом тулупе, правивший лошадьми. Но вряд ли Корней так назовет, он не знает этого слова.

Он мало что знает из книг, зато много знает из жизни. Совсем другое, в книгах этого нет.

Я не могу сообразить, что мне делать. Идти в пальто — верный позор. Без пальто — отец не пустит. Вспоминаю, как спорят с родителями мои друзья. Костян упрямо бубнит: «А я сказал, пойду!» — «А я говорю, не пойдешь!» — кричит его мать, худая и нервная женщина, у которой, кроме Костяна, двое маленьких детей. «Пойду!» — твердит Костян. «Не пойдешь!» — кричит она. И так несколько раз. Зачем им этот спор, непонятно, кончается всегда одинаково: Костян уходит, а мать вслед кричит: «В следующий раз никуда не пущу!»

А Ромка, что-то выпрашивая, плачет, ноет, канючит, хватается мать за платье, обнимает, тычется головой в живот и даже целует ей руки, кричит: «Мамочка, ну мамочка, ну прошу, мамочка, ну пожалуйста!» — и она сдается, смеется и говорит: «Весь в отца, гаденыш, любую уговоришь!»

Корнею ни у кого отпрашиваться не надо, он живет с бабкой, приходит и уходит, когда захочет. Мать его неизвестно где. Был дед, но зимой помер. Он работал в часовой мастерской. После него осталась банка наручных часов, и сломанных, и работающих. Ромка утверждал, что банка трехлитровая, Костян не верил, говорил, что в ней пол-литра от силы. Сам Корней не рассказывал, какая банка, посмеивался и носил каждый день разные часы, а потом распродал и раздарил своим старшим серьезным товарищам.

— Вон пацаны, смотрите, раздетые! — говорю я родителям.

— А если они голышом по снегу захотят, и ты с ними поскачешь? — спрашивает отец.

Я иду в прихожую и сердито сажусь на пол возле двери.

Отец проходит мимо меня в зал и с усмешкой говорит:

— Ну, сиди, сиди. День длинный.

Мне позарез надо на улицу, к друзьям. Но выйти в этом пальто в такую погоду — невозможно. Они сразу все поймут. Что я не сам так оделся, что меня *одеги*.

— Мам! — пробую я.

— Витя, такая погода даже опаснее холода, — говорит мама. — То тепло, а то ветер. Просквозит, будешь болеть.

— Что ты с ним как с маленьким! — голос отца из зала. — Сказано нет, значит нет!

Я придумываю способы исчезнуть из дома. Выйти на балкон и спуститься по балконам с четвертого этажа. Притвориться больным, чтобы вызвали «скорую помощь», как вызывают через день бабушке Самсоновой с третьего этажа, поехать в больницу, а по пути сбежать. Или согласиться, надеть пальто, а по пути где-нибудь спрятать. Но где? В подъезде нет укромных мест, на улице увидят пацаны, смеху будет еще больше.

А вот взять просто и уйти. И хлопнуть дверью. И не возвращаться. День, два. Неделю. Уехать куда-нибудь. Пусть они тут сходят с ума, сами виноваты.

Я понимаю, что ничего этого не сделаю.

Начинаю плакать. Тихо — отец не любит. Надеюсь: мама увидит и смягчится.

И она видит. Подходит ко мне, дотрагивается до плеча и просит шепотом:

— Перестань!

Появляется надежда.

— Я же ненадолго! — говорю я громко. — Будет холодно, сразу домой!

— Катя, перестань там свою дипломатию! А ты не хитри! — разгадывает меня отец.

Надежда исчезает.



Мама отходит.

Я плачу и представляю несбывшееся счастье сегодняшнего дня. Вижу, как мы идем и обсуждаем погоду. «Завтра опять холод будет», — скажет Костян. «По радио на всю неделю тепло обещали», — скажет Ромка. «А ты больше радио слушай!» — усмехнется Корней. Я тоже что-нибудь скажу. Мы придем к молокозаводу. Забор не такой уж высокий, метра три. Возле него растут хилые деревца, по ним легко долезть до верха. Железные штыри торчат не часто, между ними можно поставить ногу. Спрыгнуть. Добежать, схватить побольше лент и рулонов и побросать за забор. Появится сторож с ружьем. Корней будет наблюдать с дерева, закричит: «Беги!» Я схвачу еще несколько рулонов и помчусь к забору. Сторож выстрелит в воздух. Натравит собак — я их только что придумал и тут же поверил, что они там есть. Собаки бросятся с хриплым лаем. Но не успеют, я взлечу на забор, оттолкнувшись от какого-нибудь ящика. Или, может, там тоже растут деревья. На месте разберусь.

Мы пойдем обратно, радуясь добыче, все будут хвалить меня, Корней обхватит своей длинной рукой за шею, дружески сожмет, это больно, но приятно, и скажет: «Молодца!» И никогда больше не назовет ссыском.

Но нет, ничего этого не будет. Без пальто не отпустят, в пальто сам не пойду.

Безысходность, тупик.

Я начинаю плакать вслух. Не могу сдержаться, хотя знаю, что отец этого терпеть не может. Плачу все громче, уже нет сил остановиться. Да еще икота. Такая, что весь сотрясаюсь, что-то колет в груди.

— Дай ему воды! — говорит отец.

Мама приносит воду в кружке, я отгалкиваю ее, вода расплескивается. Она уходит.

— Это не метод, — слышу я ее голос.

– Он нас проверяет, – отвечает отец. – Надо выдержать. – И громко, мне: – Издеваешься? Нарочно не успокаиваешься?

– Не... не... нарочно... Не... не... могу... успокоиться!

Я и в самом деле ничего не могу с собой поделаться. Голова кружится, все плывет перед глазами, я рыдаю, икаю.

– Его врачу показать надо, – говорит отец.

Я продолжаю рыдать, раскачиваясь, ударяясь затылком об стену, чувствуя боль, но пусть будет больно, мне это поможет перестать – я ведь уже и сам себе противен, противна своя слабость, то, что я не способен прекратить этот детский рев.

– Алексей, как хочешь, но так нельзя, – говорит мама.

– А ему – можно? – спрашивает отец.

Они сейчас начнут ругаться. Я этого не выношу.

Кое-как встаю, по стене добираюсь до двери зала и оттуда выдавливаю отцу сквозь рыдания:

– Ты такой, потому что не родной мне!

Он смотрит на меня тяжело, пристально и говорит:

– Ясно. На любую подлость готов, лишь бы было по-твоему?

И я с ужасом понимаю, что да, это подлость, это удар под дых, а я последний гад, способный на все ради достижения своей цели.

И как объяснишь ему теперь, сейчас, в этот момент, что я его люблю и никого другого не хотел бы видеть своим отцом?

Примерно полгода назад я узнал, что родился не от него. Он мне сам сказал – просто, ясно, серьезно. Как взрослому. После этого они с мамой то и дело поглядывали на меня, пытались понять, насколько мне плохо от этого известия. А я боялся сказать, да и не мог тогда словами выразить, что мне не только не плохо, мне даже хорошо. Почему? Да потому что

я считал себя слишком счастливым, слишком нормальным человеком. А это неправильно. В большинстве книг, которые я читал, герои проходили испытания бедами и горем. Или чем-то очень интересным, вроде крушения воздушного шара. Да и в жизни, если осмотреться, у всех что-то есть. У Корнея отец в тюрьме, а дед помер. Это серьезно и значительно. У Костяна отца нет, в квартире бедно и голо, мама ходит в дырявом грязном халате, а у одного из младших братьев нет пальцев на левой руке. Это тоже серьезно и значительно. Ромкины мать и отец то живут тихо и спокойно, то у них целый вечер шум, гам, песни, пляски, а потом драка, крики. Однажды Ромкин отец пырнул ножом Ромкину мать и чуть не сел в тюрьму, но как-то обошлось. Ромка много раз рассказывал, как это было, расширяя глаза и странно улыбаясь — чуть ли не с гордостью, и я понимал причину: да, это было страшно, но серьезно и значительно, то есть и сам Ромка от этого становился серьезным и значительным. В моей жизни ничего подобного не было — и вот случилось. Настоящая беда, настоящая горе, теперь и я тоже серьезный и значительный, не хуже других.

Ничего этого объяснить отцу я сейчас не могу.

Икота переходит в кашель.

Встаю, бреду в свою комнату, ложусь на кровать.

Перестаю плакать.

Идет время.

Слышу крики: «Витек! Витька!»

Зовут.

А у меня ни огорчения, ни обиды. Я вдруг понимаю, что не очень-то и хочу к своим друзьям. Не очень хочу идти с ними за этими лентами — дурацкими, если подумать. И храбрость перелезания через забор — дурацкая. Мне становится все равно, и почему-то очень приятно оттого, что все равно.

Может быть, в этот момент кончилось мое первое детство, мое раннее детство. Ведь раннее детство — это что? Это когда всего хочешь. Нетерпеливо, вынь да положь. Но вдруг понимаешь, что можешь и умеешь не хотеть. Причем сам можешь, а не потому, что не дают или не велят.

И это не выдумки моего взрослого, лстящего детству, ума, я хорошо помню, как лежал не просто спокойный, а, говоря поздним языком, умиротворенный, с удивлением прислушиваясь к чему-то в себе новому.

Вошел отец:

— Ну? Сам понял, что из-за пустяка? А там жарко, действительно, я на балкон выходил. Можешь без пальто, ладно. Но заруби себе: истерикой нас не проймешь.

Я молчал.

— Чего лежишь? Иди!

— Не хочу.

— Почему?

— Просто неохота, — объяснил я, успокаивая отца, чтобы он не чувствовал себя виноватым.

— Не хочет человек, в самом деле, — услышала мама и, может быть, поняла меня.

— Это уж такой характер! — сказал отец. — Не пускают — рвется, выгоняют — не идет!

— Просто не хочу, — повторил я. — Я чаю хочу.

Я пошел на кухню. После плача в горле першило. Мама налила чаю, я положил туда сахар и долго, неспешно помешивал ложечкой, чувствуя большое удовольствие от своей неторопливости. Попробовал — горячо. Стал ждать, поглядывая в окно, не видя друзей и ничуть об этом не беспокоясь.

Мама и отец переглянулись.

Не понимают.

Это хорошо. Пора им уже что-то во мне не понимать.

Тут из подъезда соседнего дома вышли Ромка, Костян и Корней. Интересно, что они там делали? Вышли — и пошли вдоль дома, даже не глянув на мои окна.

Я сделал несколько больших глотков, сорвался, побежал к двери, выскочил и помчался по лестницам, прыгая через ступени, торопясь так, будто боялся опоздать.

# ЛУЧШИЙ ДРУГ

(1968)

Звонки в дверь — один, другой, третий. Я не открываю. Слышу — топтание, сопение, шмыганье носом.

Это пришел Гена, мой новый, с лета, друг.

Я не открываю, надеюсь — уйдет.

Нет, опять звонки. И опять, и опять.

Они стали уже надсадными, в них слышится гудение уставшего электричества. Замыкание произошло бы, что ли. Небольшой пожар в проводах. Он испугается и уйдет.

Хотя нет, Гена не уйдет. Он упорный.

А мог бы понять: если я не открываю, значит меня нет дома. Или сплю. Устал после школы и прилег поспать. Или просто не хочу открывать. Вот не хочу, и все. Имею право?

Гена уверен: не имею.

Мы познакомились в пионерском лагере.

Это был мой первый лагерь и, сразу скажу, последний.

Мне там не понравилось. Постоянно куда-то тянут — на зарядку, на линейку, в столовую, играть в футбол или волейбол. Нет, я любил и футбол, и волейбол, и хоккей зимой, да вообще все, что положено нормальному девятилетнему человеку, но все эти игры в нашем дворе начинались и заканчивались добровольно, по общему уговору, а не по команде или свистку.

Но понемногу привык. Ходил в строю, пел хором, был дружен со всеми сразу и ни с кем в отдельности.

Еще я там иногда играл в шахматы.

С них все и началось.

Я сражался на веранде с маленьким, веснушчатым, рыжим пацанчиком, имени которого не помню. А фамилия была смешная, то ли Тюткин, то ли Тяпкин. Ну, пусть Тяпкин. Он проигрывал, что-то бормотал себе под нос, подергивал себя за ухо, чесал в голове, стучал пальцами по столу. Очень нервничал, даже жалко его было. Мне нравилось выигрывать, и не только в шахматах, но я не любил, когда противники из-за проигрыша сильно переживали или обижались. Я чувствовал себя виноватым. Рыжий Тяпкин обычно играл очень хорошо, а сейчас ничего не мог со мной сделать и так расстроился, что того и гляди заплачет. Только этого мне не хватало. И я поддался, сделал пару неудачных ходов, но Тяпкин не воспользовался, нарывался на мат.

И тут сзади послышался тонкий злорадный голос:

— Ага, рыжий, обосрался? Щас тебе влепят, урод! Тоже мне, чемпион, сучок конопатый!

Я обернулся и увидел Гену. Довольно высокий, худой, с косым чубчиком и всегда с легким прищуром глаз, с улыбочкой.

Тяпкин огрызнулся:

— Перестань вонять тут!

— Сам воняешь, конопатый! Тебя лягушки обдри-стали! И сам ты дристан!

— Щас как дам, — проворчал Тяпкин.

— Чего ты дашь, говна кусок? — не унимался Гена.

— Не могу играть, мешают! — сказал Тяпкин, смахнул фигуры и убежал, отворачиваясь от всех.

— Реветь побежал! — закричал Гена. — Рева-корова!

А меня похвалил:

— Ничего играешь. А со мной рискнешь?

Я рискнул и проиграл.

Гена смеялся аж до визга, хватался за живот, тыкал в меня пальцем и что-то кричал издевательское. Дебил, придурок, УО\* и так далее.

Мне было не обидно, скорее я удивился, что человек так радуется такой ерунде.

Гена предложил вторую партию. И опять выиграл, и опять смеялся и издевался надо мной. Предложил третью. Меня слегка заело. Я сосредоточился — и выиграл.

Гена страшно разозлился. Кричал, что это случайно, что он поддался, требовал сыграть еще раз.

Я согласился и проиграл. Гена развеселился, простил меня.

Он был в другом отряде и годом старше, но начал приходить ко мне, мы гуляли вместе по лагерю, он рассказывал, тонко прихихикивая, сплетни про вожатых и про старших пионеров. На тему — кто с кем.

Через день он уже обнимал меня по ходу прогулки за шею и называл лучшим другом.

Я не мог понять, чем так приглянулся Гене, за что удостоился чести быть его лучшим другом. Не тем же, что регулярно проигрывал в шахматы. И не тем, что безропотно, хоть и без интереса, выслушивал его сплетни.

Но он и сам любил послушать, когда я пересказывал прочитанные книги или делился своими фантазиями: что, например, хотел бы стать человеком-амфибией, как в книге Беляева, но не испортиться, не уплыть навсегда в океан, а жить и под водой, и на земле.

Я рассказывал ему и о других своих фантазиях, но эту, про желание стать человеком-амфибией, вспомнил особо, и сейчас станет ясно почему.

---

\* УО — умственно отсталый. Дразнилка из какого-то советского фильма, ушедшая в советский детский народ.



Однажды мы купались в пруду, который примыкал к территории лагеря. Место для купания отделялось веревкой с поплавками. Мне было скучно в этом лягушатнике, я хорошо плавал с шести лет, а еще увлекался тем, что, ныряя, задерживал дыхание. Это не под влиянием фантаста Беляева, я увлекался еще и книгами Жака Кусто, где он описывал в том числе мировые рекорды глубины погружений и продолжительности нахождения под водой без специальных средств. И даже дома, в ванной, я часто брал секундомер и засекал, сколько выдержу. Кажется, рекорд был — полторы минуты. Не помню. Когда вырос, добился трех минут и гордился этим. Зачем мне было это умение, непонятно, оно ни разу в жизни не пригодилось.

Так вот, в тот день пацаны устроили соревнования. Кто-то на берегу засекал время, а кто-то нырял у поплавок, держась рукой за веревку. Победителем оказался Леня, смуглый и стройный, я и раньше его видел — он часто стоял у мачты, на которой поднимали по утрам и опускали по вечерам флаг, был кем-то вроде председателя отряда или каким-нибудь старшим помощником вожатого — названия пионерских должностей начисто выветрились у меня из головы, потому что сам я их никогда не занимал. Этот Леня мне виделся похожим на гайдаровских положительных героев, а они мне тогда нравились, хотя я никогда таких не встречал в жизни. И говорили эти герои не как в жизни, красиво и правильно. Я решил для себя, что после революции было другое время. Интереснее, чем сейчас. И жизнь была другая. Некоторые детали в книгах Гайдара это подтверждали: например, на дачах были телефоны. Телефоны на дачах! У нас и в квартирах-то далеко не у всех. Значит, все было не так, лучше. А почему стало хуже? Ну как почему, война же была...

Потом я узнал, что описывались особенные дачи особенных людей, называемых номенклатурой...

Итак, они ныряли.

Леня поставил рекорд, был под водой дольше всех.

Я сказал, стараясь выглядеть скромным:

– Давайте тоже попробую.

И нырнул. Считал секунды в уме. Решил, что продержусь на десять секунд больше Лени. Чтобы наверняка – вдруг считал слишком быстро? – добавил еще десять секунд. Меня почему-то стали тащить за руку. Я вынырнул, жадно задышал. Леня смотрел на меня с улыбкой, с интересом:

– Мы уже думали, ты утонул. Ты тренировался или такой выносливый?

– Не знаю... Тренировался...

А Гена тут как тут, стоит на берегу и кричит:

– Не верьте ему, он жулик, он жопой дышит!

– Дурак, – ответил Леня. – Как в воде можно этим местом дышать? – И мне: – Жаль, что у нас таких соревнований нет. Но будет марафон. Раз ты такой выносливый, должен хорошо бегать. Я тебя запишу, хорошо?

– Хорошо.

Это был марафон в рамках межлагерной спартакиады. Нас отвезли на настоящий стадион, были соревнования по прыжкам, бегу, футболу, а в конце этот самый марафон, десять кругов. Человек с мегафоном закричал, что главное не победа, а участие, если кто почувствует себя плохо, не надо стесняться сойти с дистанции, главное – здоровье!

Мы побежали.

Я не рассчитывал на победу, хотя умел неплохо ускоряться и бегать на короткие дистанции. Но на длинных часто проигрывал. Сначала бежал впереди всех, а потом уставал, надоедало. Приходил к финишу где-то в середине.

Леня наставлял меня перед стартом.

— Держись в первой пятерке. Это главное. Вперед не лезь, но в первой пятерке. А в финале резкий спурт. Хорошо?

Я кивал. Мне очень нравилось, что Леня, как и я, знает много редких слов. И, кстати, не переспрашивает, понял ли я, что такое спурт, — уверен, что мне это слово известно. Или не хочет поставить в неловкое положение. Леня казался мне похожим на меня, только лучше. И выше, и симпатичнее, и взрослее.

А еще очень нравилось, когда он, что-то объясняя или о чем-то прося, заканчивал не как другие — «понял?», «усек?», «дошло?», а мягким: «хорошо?», будто советовался, в самом ли деле хорошо то, что он говорит. И это было всегда хорошо.

Я держался в первой пятерке два круга, а потом начал отставать. Отяжелели ноги, глаза щипало от пота. Дышалось тяжело, с хрипом. К середине дистанции был уже в конце. Пробегая мимо Лени, увидел, как он одобрительно улыбнулся. Я хотел поднажать, не получилось. Казалось, не бегу, а просто переставляю ноги, только чуть быстрее, чем обычно. Другим было не легче, несколько соперников сошли с дистанции. Я был уже не в конце, но не потому, что прибавил скорость, — отстали те, кто бежал еще медленнее. На седьмом или восьмом круге я решил, что добегу до трибуны, где главный вход и столбик с табличкой «Финиш», — и сойду. Не могу больше. Но подбегая к столбику, вдруг почувствовал, что, пожалуй, сумею еще немного пробежать. А потом случилось то, о чем я не раз читал, но не очень в это верил. Открылось второе дыхание. Я почувствовал, что ноги стали легче, что пот, заливающий лицо, не жжет, а прохладен и даже приятен, что воздух входит в меня без хрипа и выдыхается тоже довольно легко. С удивлением я увидел, что обхожу других, бегущих очень медлен-

но. Я был уже среди первых и мог бежать еще быстрее. Помню охватившую меня радость открытия: вот оно, значит, как бывает! Перед финишем, как и советовал Леня, я спуртовал. И первым коснулся грудью ленточки, которую протянули поперек беговой дорожки. Не порвал, она просто упала к моим ногам, да еще спуталась, отчего я чуть не шлепнулся.

Леня поздравил меня, по-мужски пожав руку.

А Гена хлопнул по плечу и крикнул:

— Герой! — с гордостью осмотрев всех, будто в моей победе была и его заслуга.

Мне дали грамоту, хвалили на лагерной линейке, несколько дней я был героем, мне даже надоело, я всегда стеснялся быть в центре внимания, хотя всегда этого хотел.

Началась моя дружба с Леней.

Узнав, что я человек читающий, он дал мне поручение стать книгоношей. В лагере была библиотека в виде комнатки со стеллажами. Работала она два часа в день: сидел кто-то из дежурных вожатых и выдавал книги. Начальник лагеря заглянул в формуляры, посетовал, что дети мало читают, поручил Лене наладить это дело, и он придумал: надо кому-то брать стопку книг, ходить по отрядам и предлагать. Когда книга перед носом, да еще о ней интересно рассказывают, обязательно кто-то возьмет, рассуждал Леня.

Так и оказалось.

Я стал общественно полезным пионером, выполняющим ответственное задание. Был все время занят. Гена сначала ходил со мной, но я строго сказал, что он только мешает, потому что отвечивает своими шуточками. Если кричать: «Детки, кому книжки с картинками — в сортире почитать?» — никакого желания взять книгу ни у кого не будет.

Гена обиделся, обозвал меня и ушел.

Вскоре я увидел, как он ходит в обнимку с Тяпкиным. Но потом у них что-то произошло, я издали видел, как Тяпкин ревет в три ручья, бежит за Геной и бросает в него камнями, а тот со смехом увертывается и успевает на ходу дразнить Тяпкина.

Каждый вечер я приходил к Лене и докладывал о результатах работы. Иногда завязывался разговор. Помню, мы сидели у пруда вечером, на самодельной скамье, сделанной из двух пеньков и доски, смотрели на тихую воду, на небо, где появились первые звезды, и Леня сказал:

— Все-таки не понимаю, как это — Вселенная бесконечна? То есть теоретически да, а представить не могу. Мне кажется, где-то все-таки какая-то стена. Или что-то вроде стены. Такой огромный шар вокруг нас. Оболочка.

— Но за оболочкой тоже что-то есть.

— А если ничего? Пустота?

— Но пустота — не конец. Пусто, пусто, а потом, может, опять огромный шар, вроде нашего. И даже если шара нет, пустота есть. И она бесконечная. Как может кончиться то, чего нет?

Леня засмеялся и с уважением сказал:

— Ты интересный человек, Витя!

Я опустил голову, ковыряя веткой в земле.

Был счастлив похвалой Лени и носил в себе это счастье несколько дней. Вернее, не носил, а будто обсасывал конфетку, которая не кончалась. Вроде Вселенной.

Однажды вечером я долго искал Леню по всему лагерю, чтобы похвастаться очередными успехами. И нашел на той самой скамье у пруда. Раза три я сюда заглядывал, не было, и вот — сидит. Не один, а со взрослой девушкой лет тринадцати-четырнадцати.

Я встал перед ними, начал говорить. Леня слушал и кивал. Девушка смотрела на меня с презрением.

Я точно это запомнил. Не с досадой, не со злостью, не с нетерпением, именно — с презрением. Будто высокомерно недоумевала, как я посмел, убогий и мелкий, помешать своим глупым детским разговором их важной беседе.

Она не выдержала, перебила меня:

— Мальчик, все всё поняли, а теперь — на горшок и спать!

Я онемел. Я ждал, что Леня заступится, упрекнет ее. Скажет, что я не мальчик, а интересный человек. Но Леня только усмехнулся и сказал:

— Ладно, в самом деле, иди. До завтра.

Я воспринял это как предательство и оскорбление.

На другой день отдал ключ от библиотечной комнаты вожатой и сказал, что больше книгами заниматься не буду. Ждал, что Леня потребует объяснений. Но он не потребовал. Он, как и раньше, по утрам и вечерам стоял у знамени, козырял начальнику лагеря или старшему вожатому и о чем-то докладывал. В его жизни ничего не изменилось.

А в библиотеку, кстати, стали ходить чаще. Не потому, что я приучил к книгам, просто к концу смены всем поднадоели эти зарядки, построения, горны и бодрая пионерская музыка, с утра до вечера звучащая из репродуктора на столбе, хотелось взять книгу, куда-нибудь забиться и почитать в одиночестве.

Гена попытался опять стать моим лучшим другом, я буквально бегал и прятался от него. Сидел с книгой в кустах, в камышах возле пруда. Один раз, помню, заплакал. Наверное, просто очень уже хотел домой.

И с радостью покинул лагерь.

Прошел месяц после лагеря, кончилось лето, начались занятия, и вдруг объявился Гена. Он ждал меня возле школы. Найти было нетрудно, я же говорил ему, где учусь. А он жил в районе, который назывался

(и называется до сих пор) Стрелка. Полчаса троллейбусом, не лень ему было тащиться!

Я из вежливости обрадовался. Думал: поговорим, кое-что вспомним — и до свидания. У других так и бывало с летними лагерными друзьями.

Но нет, Гена увязался до дома, а потом оказался и в квартире, я разогрел котлеты, ел сам и кормил его, он что-то рассказывал — о своей школе, об учителях и учениках. Хихикая и описывая всякие подробности.

Я слушал и думал: почему Гена, который мне не нравится, стал моим другом, а Леня, который мне очень понравился, не стал? И что теперь, я так и должен уступать Гениной дружбе? Это же просто нечестно — и по отношению к нему, и по отношению к себе.

Думать-то думал, но ничего не сказал. Мы сыграли пару раз в шахматы, посмотрели телевизор, потом Гена наконец ушел, пообещав, что через неделю опять приедет.

И начал приезжать регулярно. Хорошо, что у него тоже был телефон, поэтому он звонил и предупреждал. Иногда я что-нибудь придумывал: болею, занят, надолго ухожу, чаще не получалось, потому что рядом были родители, а при них врать я не умел. Да и не дали бы.

И так тянулось месяца три. Он приезжал, мы играли в шахматы, он рассказывал про свою школу, все это было страшно скучно, а я никак не мог решиться задать простой вопрос: «Зачем я тебе нужен?»

Вчера вот тоже позвонил, сказал, что заедет после школы часа в четыре.

Можно было, конечно, уйти, но что толку? Гена сядет у подъезда и будет ждать моего возвращения, как уже бывало. Не блуждать же нарочно до ночи.

И я решил, что, когда приедет, скажу ему все начистоту. Что очень занят или еще что-нибудь. Чтобы его не обидеть. Поэтому извини, до свидания, в другой

раз пообщаемся. А если не поймет, придется напря-  
мую. Какими словами, еще не придумал.

Но вместо этого сижу на полу у двери и не открываю.

А он все звонит.

А теперь еще начал и стучать.

Звонил по три раза и стучит тоже три раза. Тук-тук-  
тук. Стоит, вслушивается, сопит, и опять — тук-тук-тук.

Я встал, бесшумно отодвинул заслонку от глазка,  
посмотрел.

Искаженное длинное лицо Гены.

Взгляд куда-то в сторону. Бессмысленный.

Странно выглядит человек, когда за ним наблюда-  
ют, а он не знает. Он выглядит глупым. Я взял это на  
заметку, чтобы самому таким не казаться. Надо всегда  
быть в форме.

Я закрыл глазок.

И тут же: тук-тук-тук.

И голос:

— Вить, ты дома?

Нет, он не глупый, он просто тупой.

Возьму вот и отвечу: «Да, я дома!»

А он спросит: «А чего не открываешь?»

А я скажу: «Не хочу!»

Но он тогда спросит: «Почему?»

А я скажу: «Потому что ты мне надоел!»

Тишина за дверью.

Может, ушел?

Приоткрываю глазок.

Нет, стоит.

И опять звонок.

А потом стук.

А потом:

— Вить, ты глухой, что ль?

И я открываю.

— Спал, что ли? — спрашивает Гена.

— Да. Проходи, — говорю я.



# ЗАПИСКА

(1969)

Я пришел первым, сидел в пустом классе и смотрел на дверь.

Недавно у нас появилась Вера, девочка с темными короткими волосами, синими глазами и пятнами румянца на щеках — такими же, какими страдал и я. То есть она-то не страдала, она была из-за них еще красивее. Я влюбился.

Я постоянно в кого-то влюблялся. До школы в девочку Таню из соседнего дома, которая целыми днями возилась с подругами в кустах за сараями, играла в куклы и крошечную посуду. Однажды они нарвали травы, налили воды в кастрюльку, размешали и сказали, что суп. Предложили мне угоститься. Я взял ложечку, начал черпать и есть. Никто не смеялся, соблюдая правила игры. Я съел все — и это свидетельство того, что уже тогда был готов на многое ради женского пола. Таня спросила: «Ну что, муж, доволен?» Подруги захихикали из-за взрослого и нескромного слова «муж», а Таня оставалась серьезной, она хозяйственно мыла посуду и вытирала тряпочкой. Я обмирал, глядя на нее.

В первом классе нравилась Нина Юрченко, тихая отличница. За нею было удобно наблюдать — она сидела ровно и смотрела только в парту или на доску.

Во втором классе нравились сразу две. Надя Курочкина, бегающая, шумящая, говорившая очень быстро и не совсем правильно, шипящие получились какие-то особенные, «ш» как «щ», «ч» как «ть», при этом верхняя губа немного сдвигалась в сторону, открывались зубы. Казалось, Надя насмешливо улыбается, это смущало и притягивало. А вторая – Рита Ильясова, высокая, смуглая, красивая. Правда, пальцы рук у нее были какие-то скрюченные. Мел держала в кулаке, иначе не получалось писать. Ручку тоже держала в обхвате всех пальцев и будто не писала, а рисовала, с трудом, но упорно.

В третьем классе Надя и Рита продолжали нравиться, но ненадолго понравилась еще одна Надя, Надя Горовая. Она чем-то заболела, ее долго не было в школе, а когда вернулась, я понял, что совсем по ней не скучал.

И вот еще одна любовь – Вера. Вера Коровина.

– Корова! – крикнул клоун класса Мартынов, он же Мартын, когда Людмила Борисовна назвала ее фамилию.

Вера спокойно посмотрела на него и сказала:

– Идиот.

Это было полновесное взрослое слово, сказанное взрослым женским голосом.

Конечно, я сразу же влюбился.

Лишний раз на нее не смотрел, расходовал любовь экономно, чтобы надолго хватило. Но очень хотелось поговорить с ней хотя бы минуту. Чтобы она смотрела на меня, а я на нее.

Один такой момент уже был: Вера писала на доске и стирала, тряпка высохла, меня, как дежурного, послали ее намочить – кран был в коридоре. Я побежал, принес влажную тряпку и подал ее Вере. Когда подавал, она смотрела на меня, а я на нее. Расхрабрился и сказал:

– Холодная.

— Что?

— Тряпка.

— А.

Я потом неделю жил счастливым, вспоминал этот разговор, мысленно воспроизводил его с точностью до каждого слова.

Как я достойно, мужественно, твердо сказал: «Холодная»!

Как она задумчиво (продолжала решать в уме задачу) спросила: «Что?» Но ведь понимала, что про тряпку! — осенило меня. Понимала, но спросила! Чтобы поддержать разговор! Значит, я ей был в этот момент интересен! Жаль, не придумал больше ничего сказать о тряпке или о чем-то другом. Правда, тогда меня могли бы раскрыть, а это ни к чему.

С этого дня я приходил в класс раньше всех. Садился и ждал, что когда-нибудь Вера придет сразу после меня, и мы окажемся вдвоем.

Я представлял: вот она входит. Я скажу:

— Здравствуй.

Потому что Вера тоже так говорит. Она не говорит: «Привет!» или «Здрасьте!», не машет всем рукой, как многие другие. А некоторые входят в класс молча. Вера говорит полностью: «Здравствуйте!» Если я буду один, она только мне одному скажет: «Здравствуй». И я ей скажу: «Здравствуй».

А что дальше?

Фантазии разыгрывались сами собой, будто без моего участия.

Она садится рядом и говорит:

— Давно хотела с тобой подружиться. Ты умный.

— Ты тоже, — скажу я.

Нет, не так. Мужчина должен проявлять инициативу. Я первый скажу:

— Давно хотел с тобой подружиться. Ты умная и красивая. Давай сидеть вместе.

Полная ерунда. Людмила не позволяет садиться как кому вздумается, всех распределяет сама. У нее система: слишком бойких на первые парты, чтобы не очень крутились, двоечников рядом с отличниками — пусть двоечники перенимают умение учиться. И обязательно чтобы мальчик с девочкой, потому что когда мальчик и мальчик или девочка и девочка, слишком много у них между собой общего, это отвлекает от уроков. Какой именно мальчик и с какой именно девочкой, Людмила решала исходя из каких-то своих, никому не понятных соображений. Правда, девочек в классе было больше, поэтому Вера сидела с Мариной Сергеевой, маленькой, вертлявой, болтливой и сразу же обидевшейся на Веру, потому что та не желала вместе с ней вертеться и болтать.

Я перебирал десятки вариантов: как войдет Вера и о чем мы будем говорить. Но пока все оставалось в выдумках, ни разу мы не оказались вдвоем. Приходили другие. Я ждал. Каждый день я видел Веру и не мог к этому привыкнуть. А самый любимый момент — когда она входила в класс. Я с кем-то говорил, давал списать домашние задания, листал учебник, но у меня было как бы два зрения, одно здесь, со всеми, а другое не упускает двери ни на секунду. Вера входила — и будто светлее становилось в классе. Или, наоборот, темнее, а свет окружал только ее — белое лицо, синие глаза. И что-то во мне начинало слегка жечь, где-то под ложечкой. Подмывало, услышал я как-то и запомнил. Да, подмывало — чем-то горячим.

И весь школьный день был счастливым уже оттого, что Вера рядом, хотя были для счастья и другие причины. Много.

А когда она болела и ее не было, я придумывал, что вот пойду мимо ее дома, она позовет меня из форточки и попросит зайти, чтобы я сказал ей домашние задания. И я признаюсь ей в любви. Или: ей надо сроч-

но перелить кровь, но подходит только моя, из меня берут кровь и вливают ей, она выздоравливает, а я умираю, она плачет над гробом и жалеет, что не успела сказать, как меня любит. Или наоборот, умирает она, я стою над гробом, не плачу, держусь, молча жалею, что не успел сказать, как я ее люблю.

Я был фантазер и сочиняльщик. Когда загноилась пораненная ступня и ее забинтовали, сказал Ромке по секрету, что под повязкой у меня уже не своя нога, а протез. Ромка и верил, и не верил, очень просил показать. Если снять повязку, может отвалиться, сказал я.

Или случай с подаренным родителями игрушечным грузовиком «Волгарь». Я играл в него сам и давал друзьям. Перед сном поставил машину на подоконник рядом с кроватью, смотрел и думал, что это теперь моя любимая вещь. А вдруг пропадет или сломается? Или украдут? Вот будет беда. И тут же почему-то захотелось этой беды. На следующее утро я пошел к сараям и спрятал машину за ними, в кустах. А друзьям сказал, что «Волгарь» украли.

— Эх, вот дурак! — рассердился Корней.

— Я нарочно, что ли?

— А где оставил?

— Во дворе.

— Я и говорю: дурак!

Костян промолчал, я еще вчера заметил, что он завидует. Значит, теперь радуется. А Ромка от души сочувствовал.

Корней решил найти вора. Пошли дворами, останавливали всех и спрашивали. Поймали маленького Витьку Сергучева, который, как все знали, любил поворовывать по мелочам, Корней устроил ему допрос, а потом сказал, что словами ничего не добьешься, надо пытать. Повели Витьку в чей-то недостроенный сарай, там Корней нашел кусок проволоки, обмотал

руки Витьки, поставил его перед собой, начал щелкать его в нос и кричать:

– Признавайся!

– Не брал! – вопил Витька.

– Не ори. Зачем орешь? Признавайся!

– Не брал!

– Не ори, сказано!

Я не знал, как это прекратить. Вместо беды получилась глупость. И тезку-Витьку было жалко.

– Да не брал он, в самом деле, – сказал я.

– А ты откуда знаешь?

И Корней продолжил веселую пытку.

И тогда я сказал, что мне надо срочно домой. Побежал к сараям, чтобы взять машину, принести и сказать, что она опять появилась. Кто-то подбросил, наверно.

А «Волгаря» не оказалось. Нашли и взяли.

Я побежал обратно, но в сарае никого не было. Потом я узнал, что Витька вместо машины предложил отдать часть своей коллекции спичечных этикеток. И Корней согласился, хотя этикеток никогда не собирал.

Я понял, что вслух сочинять опасно, лучше – для самого себя, мысленно. Прочитал однажды про когда-то случившееся великое затопление Земли, которое может повториться, и вообразил, что через неделю хлынет вода и всё смоеет. И наш дом, и район, и город. А потом всю Землю и всех людей. Несколько дней грустил, но потом представил, что нашлись способы предотвратить наводнение, и радовался за спасшееся человечество.

Я бродил мыслями вокруг и около – и вдруг вошла Вера. Не в мечтах, а наяву – взяла и вошла. Сколько я ждал этого момента! – и растерялся. Ничего не сказал.

И она ничего не сказала. Всегда здоровалась, но обычно в классе уже много всех, а сейчас я один. Может, поэтому и не поздоровалась? Когда всех много, никто не принимает на свой счет. А когда ты один, то здороваются только с тобой — значит, как-то выделяют, а она не хочет выделять. Или наоборот, я ей нравлюсь, но если она поздоровается со мной, я могу догадаться, вот и промолчала.

Она села за парту, вынула учебник и тетрадь из портфеля, а портфель сунула в ящик парты, открыв и закрыв крышку.

И вдруг спросила:

— Ты дежурный?

— Нет.

— А почему рано?

Я пожал плечами.

— А я сегодня на часы не посмотрела. И тоже вот...

Вера будто оправдывалась. Странно.

Я открыл учебник и сделал вид, что читаю. А сам косился, не поворачивая головы.

Вера встала, подошла к окну. Потом прошла между партами. Не просто так, а опираясь руками и прыгая. Играла сама с собой. Села боком за чужую парту, нагнулась, что-то поправила на ноге. У меня даже глаза заболели, я сдвигал их вбок и вправо, чтобы видеть. А Вера положила в парту какую-то бумажку. Записку. Встала, пошла за свою парту. Тут вошел кто-то, потом еще кто-то, и скоро весь класс был полон.

За парту с запиской сел Виталия Дудников. Это была его парта. Он был высокий и, как говаривала Людмила, «хваченный июльским морозом». То есть — тугодумный, туповатый. На уроках скучал, на переменах оживлялся. Любил задирать девчонкам платья и кричать: «А чего у тебя там?» Они визжали и били его по рукам, но я замечал, не очень сердились и после этого шушукались о чем-то с подругами.

Я следил за Дудниковым. Вот он открывает крышку — и...

И ничего. Вынул из портфеля учебник, тетрадь, ручку, положил на парту, сунул портфель в ящик, закрыл крышку.

Я видел, что Вера тоже искоса наблюдает. Она видела, что делает Дудников. И поняла, что тот не нашел записку. Отвернулась.

Прозвенел звонок, вошла Людмила, начался урок. Я ничего не видел и не слышал, думал о записке.

Что в ней?

Зачем понадобилось умнице Вере, гордой девочке, писать глупому Дудникову?

Может, она написала, чтобы он больше никогда не трогал ее платье? Она ведь не очень любит с кем-то спорить, кричать, вот и решила — письменно. Но я не смог вспомнить ни одного случая, чтобы Дудникову удалось задрать платье Вере. Та всегда настороже. Да и Дудников не очень пытался. Всем задирает, а Вере нет.

Значит, открыл я для себя, у Дудникова к Вере особое отношение. Может, и у нее к нему? Значит, эта записка про любовь?

А такие записки — дело опасное. Однажды Людмила вдруг метнулась к скромной, беленькой, с розовыми бантами Сыркиной, выхватила из ее руки бумажку и тут же прочитала вслух:

— «Сыркина, я тебя люблю!»

Сыркина заплакала, класс засмеялся, Людмила загремела:

— Бесстыдники! Кто этой гадостью занимается, кто написал, поднимите руку!

Никто, конечно, не поднял.

Людмила устроила разборательство. Заставила всех написать эти слова: «Сыркина, я тебя люблю!» И подписаться. То есть всех, кроме девочек, они были



по понятным причинам вне подозрения. Наивные и невинные были времена, заметим в скобках.

Вскоре двенадцать записок легли на стол Людмилы. Она сличала их с оригиналом, все замерли.

— Думаешь, ты хитрый? — спросила она сидевшего сзади Леню Козько.

И показала всем бумажку, на которой было написано печатными кривыми буквами. И такими же кривыми буквами подпись: «Козько».

— Пиши еще раз — своим почерком! Своим, Козько, понял?

Все с удивлением смотрели на него, толстого, с черными лоснящимися волосами, с маленькими, часто моргающими глазками.

Он засопел и пробурчал:

— А чего писать, я и так скажу.

— Ну, скажи!

— Я написал.

— Что написал?

— Записку.

— И что ты там написал?

— Это самое.

— Что это самое?

— Про Сыркину.

— Что про Сыркину?

Людмила так и не сумела заставить Козько повторить вслух признание, окончательно разозлилась, на все лады ругала и стыдила его, потом стыдила Сыркину, чтобы не давала повода, потом стыдила весь класс, говоря, что знает, о чем все думают вместо уроков, и пусть только кто еще попробует!

Но Веры тогда еще не было, она не знает об этом случае. Или знает? — наверняка ведь девчонки рассказали. Знает — и все-таки рискнула?

Я понимал, что должен разозлиться на Дудникова, но не мог. Посматривал на него. Дудников, не слушая

Людмилу, что-то рисовал, и лицо у него было вовсе не тупое. Красивое. Красивое задумчивое лицо. Это, наверно, и разглядела Вера — что он таким бывает. И влюбилась.

Я обнаружил в себе странное доброе чувство к Дудникову, будто он был мой родственник или друг. Вера его любит, а я люблю Веру, вот и появилось ощущение нашей общей близости. Было, конечно, горько, но как-то при этом и радостно. Да, Вера влюбилась в Дудникова, но до этого я думал, что она не может ни в кого влюбиться из-за своей гордости. Значит, может. Но может и разлюбить. И влюбиться в другого, в том числе в меня. А главное: любить девочку, которая никого не любит, это одно, а когда знаешь, что она любит другого — совсем все другое, вроде бы хуже, а на самом деле лучше.

И тут Дудников зачем-то потащил портфель из парты.

И записка упала на пол.

Он покопался в портфеле и, что-то достав, засунул портфель обратно. При этих движениях он ерзал ногами, и записка, свернутая несколько раз в плотный маленький конвертик, отлетела через проход к моей парте.

Я посмотрел на Веру.

Она все видела.

Она глядела на записку так, будто хотела взглядом поднять ее. В это время Людмила пошла по проходу. Она могла заметить записку. Вот ее нога прямо рядом. В тапочке. У Людмилы были очень толстые ноги с черными буграми и узлами под кожей, поэтому она в классе ходила в тапочках. А подошва у них тонкая, если Людмила наступит на записку, может ее почувствовать. Что будет, страшно представить.

Сейчас прошла мимо, но скоро вернется, пойдет обратно.

Я нагнулся, схватил записку, зажал в кулаке.

Оглянулся на Веру. Она смотрела мне прямо в глаза и отрицательно качала головой, лицо стало пунцовым, а на шее проступила синяя жилка.

Она просит не читать. Просит отдать. Просит, как друга, как близкого человека.

Мне стало жарко, я почувствовал, что и щеки горят, и лоб горит, и даже шее стало горячо. Я был счастлив почти до боли, не понимая причин такого счастья. Не мне ведь записка, другому. Может, она там признается в любви — не мне, другому. Но мне было все равно, я и Веру любил, и Дудникова любил, и записку эту любил, и себя, такого замечательно несчастного, и Людмилу, и весь класс, и весь свет. Я просто захлебывался этой непонятной всеохватывающей любовью.

Людмила прошла обратно.

Вера поднял руку и попросилась выйти.

Людмила разрешила.

Вера шла по проходу, опустил руку, а ладонь была раскрыта в мою сторону. И я понял. Старательно глядя на Людмилу, я сунул записку во влажную ладонь. Влажную и горячую, я успел это почувствовать, потому что Вера брала записку не глядя, она на ходу нашаривала мою руку, а в ней записку, это заняло какое-то время, совсем недолгое, но мне хватило, чтобы чуть не умереть от этого прикосновения.

С этого и началась моя история уже не влюбленности, а любви, настоящей, той самой, что на всю жизнь. И на всем, что бы я ни делал, есть ответ этой любви, но можно и так сказать, что на всем лежит ее тень, хотя это противоречит законам физики. Впрочем, это я наугад сказал, потому что в физике абсолютно не разбираюсь.

# ВЫПУСКНОЙ

(1976)

Меня назначили дежурным: стоять у дверей и не пускать на выпускной вечер посторонних. Нас было трое — я от 10 «А», Леня Адамов, высокий волейболист, гордость школы, — от «Б», а от «В» Илья Крушин, человек авторитетный, знакомый со всей районной шпаной. Он и сам, рассказывали, не раз участвовал в разборках и драках. Был при этом туповат, еле-еле дотащился на тройках до аттестата, да и то потому, что имелась общеизвестная установка: если не сумели уговорить ученика уйти после восьмого класса в ПТУ или на волю вольную, оставили в школе, уж будьте тогда любезны, доведите до конца. Его и довели, хотя в школе он появлялся не чаще двух раз в неделю.

Говорил Илья рывками, нескладно, добавляя то и дело для связки «ё» и «на».

Роль строгого привратника ему нравилась, он отпихивал наседающих и покрикивал:

— Куда, прешь, ё, не видишь, на, Ильич стоит?

Василий Ильич, военрук, пожилой майор-отставник, стоял неподалеку и наблюдал за входящими и за нами. Лицо красное, глаза слезящиеся — словно продуло его ветром армейских полевых учений, и остался он навсегда простужен. Убедившись, что чужаки в школу не проникают, Василий Ильич озабоченно

глянул на часы и сказал: «Пойду, посмотрю, как там...» — и удалился в комнатку при спортзале, к физруку Анатолию Владимировичу. Вскоре вернулся с лицом, еще более покрасневшим, и глазами совсем мокрыми. Мы успели за это время пропустить скопившихся друзей и знакомых — тех, кто уже закончил нашу школу, и тех, кто в ней вовсе не учился, но хотел праздника.

Я ждал Веру Коровину.

На выпускной вечер старшекласникам разрешили приходить не в форме, а в платьях свободного покроя. Мне не терпелось увидеть, что будет на Вере.

И вот она появилась. В длинном зеленом плаще. Невысокая, тонкая, совсем девочка. Зашла, как и все, в раздевалку. Долго ее не было, наконец вышла. В белом платье, как у невесты, только короче. На шее золотая цепочка с камешком. На запястье маленькие круглые часы. Губы слегка накрашены. Мне казалось, что она красивее всех вокруг.

— Ништяк девочка, — сказал Илья. — Почему я раньше ее не распочухал, ё? Ваша?

— Наша, — с невольной гордостью ответил я.

— Как зовут?

— Вера.

— Привет, Верчик! — закричал Илья, вклинился в толпу, схватил Веру за руку и вытащил ее, а потом повел по коридору. Обняв за плечи — словно оберегая.

То есть он за одну минуту проделал то, на что я не мог решиться семь лет.

Довел ее до актового зала, вернулся.

Спросил меня:

— С кем она лазает?

Такой тогда был дворовый синоним для обозначения дружбы девушки и юноши. «Она с ним лазает». Более грамотные говорили: «ходит». Самые деликат-

ные выражались: «гуляет». И это верно отражало если не суть, то форму общения. Встретаться было негде: дома вечно торчат родители или бабушки-дедушки, приличных кафе, то есть без выпивки, табачного дыма и запаха жареного минтая, было очень мало, танцы во Дворце культуры случались редко, да и посещать их опасно: девушку могут отбить, а тебя побить. Оставалось сходить в кино, а потом слоняться среди типовых многоэтажек, в холодную погоду укрываясь в подъездах, чтобы там покурить и поцеловаться, а в теплую забираясь в окрестные чахлые скверики и кусты. То есть именно ходить, гулять и лазить.

Вера ни с кем не ходила, не гуляла и не лазила.

В классе существовало несколько компаний — и чисто мужские, и девичьи, и смешанные. Я был сразу в двух. Одна своя, другая из параллельного «Б». Своя собиралась у Витали Ярцева. Виталья имел внешность не юноши, а молодого мужчины: ранняя залысина, но при этом густые усы и обильные волосы на груди и на руках. Он жил в однокомнатной квартире с мамой, которая с утра до вечера работала где-то в сфере торговли. Она давно уже разрешила Витале курить дома, всю дымили и мы. Занятия наши были простыми: играли в карты на интерес, иногда пили портвейн, поочередно тренькали на Виталиной гитаре, говорили про спорт и обсуждали одноклассниц, мало кого находя достойными нашего внимания. Это было уютное бездельничанье, без умствования и напряжения.

Ко второй компании я примкнул полгода назад. Репетировали школьный спектакль, отрывок из «Горя от ума». Я был Молчалиным, а Володя Плетнев, недавно появившийся в нашей школе, Чацким. Молчалина играть, конечно, не очень приятно, но я сделал его наглым победителем, который над всеми смеется и издевается. Когда говорил про свои «умеренность

и аккуратность», надкусывал кренделек и швырял его об стену.

Володя удивился такой трактовке, я объяснил ему, что Молчалин гад, но зато авантюрист и жулик. И смелее всех. И его Софья любит. Ведь за что-то!

Я не сказал, что больше всего в пьесе мне нравились слова Софьи о Молчалине:

Возьмет он руку, к сердцу жмет,  
Из глубины души вздохнет,  
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,  
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит.

Это было обо мне. Правда, я смотрел ночами не на живую Веру, а на ее фотографию, девять на двенадцать, которую добыл несправедливым путем — украл со школьного стенда «Наши активисты».

Володя оценил мою оригинальность. Мы сдружились, я стал к нему захакивать. Там часто бывали молчаливый, но умно слушающий Саша Максимов и Олег Каширин, большой спорщик. С Володей он иногда соглашался, признавая его первенство во всем, любое же мое слово встречал в штыки. Может быть, ревновал Володю ко мне, видя, как быстро и крепко мы сдружились. Ни карт, ни гитарного треньканья, разговоры о книгах, фильмах, о политике. Я и Володя были очень левыми и критиковали нынешний социализм за отход от ленинских принципов. При этом самих принципов мы тогда толком не знали, нам, как и всем, известен был по учебникам истории лишь миф о них. Олег же покушался и на самого Ленина. Нам тогда это было дико, а теперь я признаю, что Олег во многих вопросах разбирался лучше нас. Саша помалкивал, но иногда веско произносил: «Дурят народ почем зря!» Это была фраза из какой-то юмористической передачи и касалась, ко-

нечно, не политики, а каких-нибудь мелких и временных недостатков.

В этих разных компаниях и я был разным, и все в них было разное, кроме одного: дешевого портвейна.

Иногда и там и там бывали девушки-одноклассницы, но взаимных интересов не возникало. Лишь Виталия упорно и серьезно ухаживал за бойкой, умной и симпатичной Людой Торощенко. Та была горда и неприступна. Через год после школы Виталия сделал ей предложение, она отказала. Он ушел в армию, вернулся, сделал еще одно предложение, она опять отказала. Подключилась мать Виталия, сказала Люде, что, как только они с Виталеем пожениются, у них будут кооперативная квартира и машина. Вряд ли Люда соблазнилась именно на это, но факт есть факт: она, немного погодя, все-таки вышла за Виталию и прожила с ним без малого двадцать лет, после чего все-таки развелась.

Приходили девушки и к Володе, не одноклассницы, но тут сюжет совсем другой, а я и так слишком отвлекся.

А Вера была вне компаний, но при этом — комсорг класса; проводила собрания, давала поручения, которые, конечно, никто не выполнял, приходилось все делать самой. Она слишком была занята этой работой и учебой, существовала отдельно, и мне это нравилось.

Но вернемся на выпускной.

Илья спросил меня, с кем «лазиет» Вера, и я вдруг ляпнул:

— Со мной!

— Да? А она об этом знает?

Что удивляло в Илье: он мог иногда выдать что-то очень неглупое, ироничное, но при этом сохранял серьезный вид, и даже более придурковатый, чем



обычно. И неясно было, понимает ли он сам, что говорит.

Я подумал, что за Ильей ведь не задержится проверить, напрямую спросить у Веры. И я окажусь в идиотском положении. Поэтому решил уточнить:

— Если не знает, то узнает!

— Ясно.

— Что тебе ясно?

— Хочешь сказать, что ты глаз на нее положил? И давно?

— Мое дело.

— Да не, ё, все нормально. Девочка со знаком качества. А чего ты раньше спал?

— У меня другая была, — уверенно соврал я. — Но разошлись. А Вера мне давно нравится.

Мы переговаривались негромко, почти шепотом. Илья посоветовал:

— Ты ей прямо сегодня признайся, в натуре. Потому что когда еще, ё?

— Я как раз и собирался, — выдал я ему свою тайну, которую хранил от всех, включая ближайшего друга Володю.

— Молодец! — одобрил Илья.

И вот началось.

В актовом зале сначала говорили речи, выдавали аттестаты и грамоты, а потом стулья в одну минуту растащили по стенам, нагромоздив друг на друга. Начались танцы.

Музыка была живая, вокально-инструментальный ансамбль, состоящий из курсантов шефского военного училища. Пели они «Синий-синий иней», пели «Для меня нет тебя прекрасней», пели «Звездочка моя ясная» и, конечно, пели «Шизгару». Я стоял у стены и смотрел на Веру. Она разговаривала с рыжей Никичихиной. У обеих был такой вид, что танцы их абсолютно не интересуют.

План мой, который я продумал за месяцы, а может, даже и годы до этого вечера, был хитроумен: дожидаться белого танца и подойти к Вере.

– Девушки приглашают, – скажет она.

– Знаю, – скажу я. – Просто решил облегчить тебе задачу. Все равно пригласила бы.

– А если нет?

– Тебе же хуже.

– Это почему?

– Никто тебе не скажет то, что я скажу.

– Да? А что?

– Пойдем, потанцуем, скажу.

– Хорошо.

И в танце я признаюсь, что люблю ее уже семь лет. Все ей скажу. И будь что будет.

Но белый танец все не объявляли.

Подошел Илья.

От него сильно пахло портвейном, он что-то жевал.

– Ну чего? Не закадрил еще?

– Жду момента.

– Какого момента, на? Пойдем, дернем для храбрости!

Он повел меня в раздевалку, достал откуда-то бутылку.

– Стакана нет, дуй из горла.

Опыт у меня уже был, я сделал несколько глотков.

– Теперь давай.

Я вернулся в зал. Осмелел, решил, что не буду ждать белого танца. Заиграют первый медленный – подойду.

Кончилось что-то плясовое, заиграли медленное.

Я пошел к Вере и увидел, что ее уже пригласил проникший на вечер знаменитый Кама, известный тем, что сверг авторитетного главара районной молодежной банды Сидора, порезав его ножом. Не до смерти, но основательно. Раньше я видел этого Каму

только издали. Коренастый, сутулый, руки всегда в карманах, в кожаной куртке, в широких клешах, на шее длинный, в несколько раз свернутый, красно-черный полосатый шарф. Поговаривали, что он любит этим шарфом душить и пытаться своих врагов. И просто тех, кто не нравится. Здесь Кама был в костюме, и это было странно — как увидеть военного в гражданской одежде. Костюм черный, с огромными лацканами по моде того времени. Много позже я увидел такие лацканы в старых американских гангстерских фильмах.

Кама переваливался с ноги на ногу, покачивая плечами, медленно двигая Веру. Выглядел он неуклюже, был неловким и, казалось, слегка смущенным. Что ж, наверное, держать противника за горло ему было ловчее и привычнее, чем девушку за талию.

— Ты чего? — опять оказался рядом Илья.

— Не успел, она уже танцует.

— С кем?

Илья посмотрел и увидел.

— Не понял! Ты его ссышь, что ли?

— Нет, но раз танцует, то пусть. Я в следующий раз.

— Ну ты... Как тебя? — вдруг вспомнил спросить Илья.

— Виктор.

— Ну ты и дуб, Витек, — упрекнул Илья. — В следующий раз! Нет, понятно, от Камы у любого бздо будет. Но я у него в кентах, договорюсь! А ты лови момент, понял?

Он подошел к Каме, тронул его за плечо и что-то сказал.

Кама недовольно остановился.

Илья еще что-то сказал, энергично кивая в сторону, куда-то приглашая. Кама, пожав плечом, буркнул Вере что-то извинительное. И ушел с Ильей. Надо полагать — выпить.

Вера пошла к Никичихиной, и тут я возник перед ней.

— Привет, можно?

Она кивнула.

Я обнял ее...

Как там писал Лермонтов?

«Я не знаю талии более гибкой и сладострастной»?

Впервые на это наткнувшись, я перечитал раз десять и запомнил навсегда. И именно об этом думал, танцую с Верой, хотя никакой другой талии не знал, да и в сладострастии не очень разбирался.

Но нет у меня своих слов, чтобы выразить, что чувствовали мои ладони, все плотнее прижимавшиеся к тонкой ткани и к тому, что жило под ней.

Приготовленное признание застряло во мне, казалось невозможно произнести вслух то, что я проговаривал уже тысячи раз. Но и молчать было глупо.

Я кашлянул и сказал:

— Нормальный вечер.

— Да.

— У тебя платье красивое.

— Спасибо.

И все. И медленный танец кончился. Грянули опять «Шизгару», Вера улыбнулась мне и отошла к своей Никичихиной.

Я встал неподалеку, ждал следующего танца.

Явился Илья, рассказал, что чуть не влопался: директор накрыл выпивающих и курящих в раздевалке, отругал, выгнал чужих, в том числе Каму. Кама ушел с честью, обложил на прощанье директора матом. А Илья не попался директору на глаза, прятался за вешалками. Он был доволен приключением, но продолжал заботиться обо мне.

— Ну, получилось?

— Да нет.

— А чего так?

— Да так.

— Послала, что ль? — предположил Илья. — Тогда моя очередь.

Я не успел возразить, он ринулся к Вере.

Как раз кончилась «Шизгара», начался очередной «медляк».

Косноязычный Илья, танцуя, не умолкал, что-то рассказывал, а Вера — смеялась.

Я злился на себя.

Прошелся, выискивая, с кем бы потанцевать. Но все были заняты или не очень мне нравились.

Я забился среди стульев, мрачно сел.

Чтобы смотреть на Веру и травить себя.

Но она исчезла.

Исчез и Илья.

Я несколько раз обошел зал, их не было.

Вышел в коридор. Пусто.

Пошел в раздевалку. Ее плащ висел на месте.

Начал блуждать по этажам.

На третьем или четвертом увидел их. Они стояли и целовались. Вера намного ниже, поэтому Илья согнулся, закрыл ее собой, обхватив руками.

— Привет, — сказал я.

Илья оторвался, недовольно спросил:

— Ты чего тут?

— Гуляю. Нельзя?

Вера выскользнула из рук Ильи и прошла мимо меня.

— Кайф поломал, — сердито сказал Илья. И похватался: — Ништяк сосетса, с язычком!

Я ударил его.

Илья ответил сразу же, и я оказался на полу.

Он присел рядом на корточки. Я сплюнул кровь.

— Ты совсем дурак, ё? — спросил он. — Сам же сказал, что ничего не вышло. Если ты на принцип ле-

зешь, я не жадный, уступлю, только хлебальник не разевай! Иди и это самое. А то как этот. У меня своя чувиха есть, Марина, ты же знаешь.

Этим людям кажется, что всем известны подробности их жизни.

Он протянул руку, помогая встать.

– Ладно, – сказал я. – Замнем.

И пошел в зал.

Увидел, что Вера опять стоит рядом с Никичихиной. Но уже не такая, как была. Что-то словно изменилось – что-то неуловимое.

Тут объявили медленный танец. Вера осмотрелась, увидела меня, улыбнулась и пошла ко мне. Спросила со смехом:

– Можно вас пригласить?

Я хмуρο кивнул.

Начали танцевать.

Опять мои ладони на ее талии, но ощущение совсем другое, будто под тканью не тело прежней Веры, с проступающими ребрышками и позвонками, а чье-то чужое тело, сильное, гибко движущееся в танце, зрелое, хоть и хрупкое. Тело взрослой женщины.

У меня было что-то вроде обморока наяву. Даже головой затряс, чтобы прийти в себя.

Я любил ее, как никогда раньше, но хотелось ей сказать что-то злое – будто она мне изменила.

И я сказал:

– Значит, так?

– Что?

– Не могла никого лучше найти?

– А что?

– Не надо мне тут! Я видел.

– Витя, что ты видел? Ничего не было.

Так, подумал я. Она отпирается – почему? Потому, что ей стыдно, что она целовалась с Ильей? Или по-

тому, что я ей дорог, но сам виноват, никак не мог расшевелиться, вот она и намекает, что это не считается, а настоящее, быть может, впереди.

И я ей тут же все простил. Обнял крепко, смело, посмотрел в глаза и сказал:

— Я тебя давно уже люблю.

— Знаю, — отозвалась Вера.

— И чего?

— А чего?

Может, она не поняла? Или подумала, что шучу?

Я повторил:

— Я тебя очень давно и очень сильно люблю.

— Спасибо. А я еще никого.

Так, подумал я. Она сказала: еще никого. А могла бы и не говорить. Но сказала. Опять — намек. Никого, но еще могу. Дает мне шанс.

— Это хорошо, — сказал я.

Она рассмеялась.

— Ты с кем домой идешь? — спросил я.

— Ни с кем. Я живу недалеко.

— Я знаю.

Конечно, я знал, я сотни вечеров провел, блуждая около ее дома и глядя в ее окна.

— Можно провожу?

— Ладно, — сказала она.

Для меня выпускной вечер кончился, хотя он сколько-то еще длился. Больше с Верой не танцевал и она ни с кем не танцевала.

А потом я провожал ее.

Я шел молча и думал, что должен ее поцеловать. Остановить, взять за плечи и поцеловать.

Вот у того угла.

Нет, у того дерева.

Нет, у подъезда.

А это ее подъезд.

Мы вошли.

Поднялись на четвертый этаж.

Она достала ключ, чтобы открыть дверь.

Я взял ее за плечи, повернул к себе.

Она улыбалась и ждала.

Я понял, что она не против.

И с Ильей была не против, и со мной. Почему?

Да потому, догадался я, что ей просто — интересно.

Она — пробует. Она — играет.

И ясно вдруг стало, что она меня не любит и, наверное, не полюбит никогда. Если и поцелует — что с того? Ну вот, например, подбежит к ней дворовая собачка, виляя хвостом, потрется о ноги, прося ласки. Она и погладит ее, жалко, что ли?

Я этого не хотел. Не хотел быть вторым, очередным, не хотел быть маленьким приключением для девушки в ее выпускной.

— Ладно, — сказал я. — Пока.

— Пока, — ответила она.

И в ее голосе не было ни удивления, ни сожаления.

Она вошла в квартиру, дверь закрылась.

Ты дурак, сказал я себе. Ты идиот. Ты мог поцеловать любимую девушку и не сделал этого. Напридумывал про нее черт знает что. Ты так хорошо разбираешься в людях? Да, может, она и с Ильей-то целовалась, чтобы ты взревновал! Знала же, что будешь искать — и найдешь. И увидишь.

Долго я себя шпынял, а потом решил и позвонил. Раз, другой, третий.

Открыл заспанный мужчина, ее отец.

— Веру можно?

— Она уже спит. И тебе пора. И больше не звони, понял?

Я повернулся и ушел.

Вышел из подъезда и пошел по улице.



Всё, конец рассказа.

Финал, конечно, висит. Такое бывает у незаконченной картины: чего-то не хватает, картина томит незавершенностью, но как и что добавить, непонятно. Да и надо ли? Есть то, что никогда не может быть закончено. Если уж сама жизнь не бывает законченной, сколько бы долго она ни длилась.

Какая богатая мысль, однако)))

У меня и с Верой, и с другими потом бывало не раз: все уже сказано, а ты говоришь, говоришь, не можешь остановиться. И понимаешь, что бесполезно и бессмысленно, а все равно — не можешь.

# НЕЗНАКОМКА

(1978)

И опять я у двери. Вернее, у нескольких дверей — в коридоре студенческого общежития.

Позавчера ночью в одной из комнат меня лишили того, что называют невинностью; странное слово, ведь большинство подростков и юношей мучаются девственностью именно как ощущением вины — перед собой, перед обогнавшими друзьями и перед женской половиной человечества, истомившейся в ожидании.

Полтора дня я жил гордым и счастливым победителем, потом спохватился и поехал в общежитие.

Я не знал ее имени. Ночью спрашивал, она тихо смеялась и прикладывала палец к губам. А потом встала, отошла — я думал, попить воды или еще что-то, оказалось — ушла совсем, исчезла. Бросился ее искать, бегал по этажам, спустился вниз, в кафе-пристройку, где были танцы и откуда мы с нею ушли час назад, не нашел ее там, помчался обратно, надеясь, что она вернулась в нашу комнату, тут-то и понял, что и номера комнаты не помню... И даже не запомнил, какой этаж. Кажется, четвертый.

И вот сижу на подоконнике, жду. Девушки проходят с утюгами, сковородками, книгами, тетрадями, а ее все нет.

На танцы нас провел Володя Плетнев. Нас — то есть бывших одноклассников Сашу Максимова, Олега Каширина и меня.

Володя, признанный лидер и наставник еще со школы, учился в пединституте на факультете естественных наук, отделение биологии. Был опытный обольститель, при этом начал очень рано. Мы любили слушать историю, как его, четырнадцатилетнего, жившего в ту пору в районе так называемого Глебучева оврага, полюбила шестнадцатилетняя девушка, подруга местного бандита. Она приходила к нему украдкой, влезала в комнату через окно, страстно обнимала и горько плакала от безысходной любви. Бандит узнал, чуть не убил ее и его, пришлось расстаться. Потом у Володи была девушка из ансамбля народных песен и плясок, которая зажигала свечи и танцевала перед ним в ночной прозрачной рубашке. Но оказалась нервной, ревнивой, пришлось расстаться. Была студентка, дочь декана, принимавшая Володю в роскошной профессорской квартире. Она начала строить серьезные планы насчет замужества, это не совпало с планами Володи, пришлось расстаться. Была спортсменка-волейболистка, очень темпераментная, однажды она так стиснула Володю ногами, что сломала ему ребро. Пришлось расстаться.

Таких историй у него имелось множество, мы слушали, понимающе кивая, посмеиваясь и делая вид, что тоже много чего могли бы рассказать, если б захотели.

Но рассказывать было нечего.

Саша Максимов маловат ростом, рыжеват волосами, голубоват глазами, добр и очень застенчив. Для него попросить пробить талончик в троллейбусе — и то проблема, легче самому пролезть сквозь давку к компостеру. Учился он в медицинском, где было полным-полно девушек, но ни одна его не пожалела.

Смелел Саша только в выпивающей компании, когда выпивал и сам, однако смелел слишком резко, брал ближайшую девушку за талию и спрашивал: «Ну, чего, уединимся?» Уединиться пока никто не захотел.

Олегу Каширину мешал максималистский эстетизм. Во всем. Из книг он уважал только классику и зарубежных авторов собираемой им серии «Мастера зарубежной прозы» (еще эту серию называли «трилистник» за картинку-логотип на обложке), советской литературой брезговал, как и советским всем искусством, при этом увлекался рисованием и завел дружбу со многими саратовскими художниками. Логично предположить, что ему мог быть интересен и я, ученик художественного училища, много уже чего умеющий акварелью, тушью и даже маслом, но Олег, попадая ко мне домой, даже взглядом не удоставал мои работы – видимо, решив *по умолчанию*, как сказали бы сейчас, что его одноклассник талантливым быть не может. Меня это обижало, но не глубоко, мы ведь, в сущности, не были близкими друзьями. Я был друг Володи и он был друг Володи, а если вычесть Володю, мало что останется. Такое часто бывает. В отношении к девушкам у Олега тоже проявлялся эстетизм: ему давай или кого-то с идеальными параметрами внешности и интеллекта, или никого. Вот он ни с кем и оставался.

Итак, Володя провел нас на танцы в кафе при общежитии своего родного пединститута, договорившись с дежурившими на входе студентами-дружинниками и представителями комитета комсомола. Он со всеми умел договариваться, его все любили.

Первым делом мы отправились в мужской туалет, где проглотили, давясь, две пронесенные с собой бутылки портвейна. У Володи была и третья, но он ее оставил для себя – чтобы выпить *после того, как*. Отлюбить девушку и не выпить – все равно что вы-

пить и не закурить, говаривал он. И уверял, что ни разу еще после танцевальных вечеров не оставался неудовлетворенным в своих низменных желаниях. Это тоже его выражение, он не любил говорить просто.

Мы пошли в зал. К Володе тут же подлетела какая-то красотка, его знакомая, осмелевший Саша пригласил высокую и нескладную девушку, и она не отказала, а Олег встал у стены, скрестив руки и высокомерно глядя перед собой. Опять ему не повезло, опять не увидел он тут своего идеала, а на меньшее был не согласен.

Я же рыскал глазами, примериваясь.

Володя как-то назвал меня, довольно точно и метко, человеком мерцающим: мог разойтись, блеснуть словом и жестом, но надолго не хватало, стеснялся сам своего порыва, отходил в сторону, замолкал. В тот вечер был кураж, было предчувствие: именно сегодня должно это произойти.

А ведь могло случиться и раньше, намного раньше, я сам этого не захотел. Не эстет, как Олег, но тоже имел понятия если не об идеальном, то о допустимом. И дело не в любви к Вере, любовь была сама по себе, она сохранялась при любых обстоятельствах. Я ведь не другую любовь искал, я решал сугубо личную проблему, не имеющую к Вере никакого отношения.

Была пьяная, веселая и очень полная девушка на чьем-то дне рождения, увлекшая меня в маленькую комнатку и сказавшая, что, если ей кто-то понравится, она готова на все. Но я оказался не готов.

Была подруга Володи, с которой мы вместе от него уходили, и она вдруг в темном подъезде начала меня целовать, торопливо сдирая все с себя и с меня, но я не мог поступиться дружбой; через пару месяцев рассказал Володе об этом, он долго смеялся и упрекал меня, что упустил шанс.

Была девушка Лиля на уборке овощей в пригородном совхозе, где мы провели две недели, она мне понравилась, три дня я ходил с ней и умно разговаривал, на четвертый поцеловал, к исходу второй недели решил расстегнуть застёжку сзади, долго возился, она терпеливо ждала, но я так и не сумел. А на другой день мы разъехались.

Были и другие неудачные случаи, и мне уже стало казаться, что я фатально застрял в своем нереализованном состоянии. И решил: сделаю это при первой же возможности. Все равно, где, как и с кем. Лишь бы.

И вот на этих танцах я увидел милую девушку в зеленом вязаном платье, обтекавшем ее фигуру. Она не была красавицей, да и спокоен я к несомненной и очевидной красоте. Такая красота мне почему-то всегда кажется общей, всем принадлежащей. А вот есть симпатичность уютная и отдельная, предназначенная для кого-то одного, не требующая общего восхищения, мне она нравится намного больше. Я подошел к девушке вполне уверенно, спокойно пригласил, она спокойно согласилась.

Хочется эту сказку долго рассказывать, но все развивалось быстрее, чем можно описать. Я обнял ее в танце, а точнее, обхватил, прижал к себе, не стесняясь, что она почувствует твердость моих намерений, возникшую сразу же. И она подалась навстречу этим намерениям, при этом глядела в сторону с таким видом, будто знать не знала, что там, внизу, происходит. Кончился медленный танец, начался быстрый, все заплясали, заскакали. Я прошептал: «Извини, не отпущу, увидят, смеяться будут». И мы стояли среди прыгающих и скачущих, обнимаясь, пережидая. Опять медленный танец. Было уже до боли нестерпимо, я предложил: «Может, уединимся где-нибудь?» Она ответила не сразу. Потом взяла за руку, подвела к стене.

«Жди здесь». И ушла. Я сел на какой-то стул. Вскоре она вернулась: «Пойдем».

Длинным коридором мы перешли из кафе в общежитие. Поднимались по лестницам, останавливаясь и целуясь на каждой площадке. Везде была полутьма.

Оказались в комнате.

Она так меня любила, будто всю жизнь ждала. Или будто у нас уже что-то было, но я уезжал или она уезжала, и вот встретились, и она наверстывает упущенное. Глядела на меня и не могла наглядеться, гладила пальцами лоб, щеки, губы. А у меня было удивительное ощущение, что это происходит не в первый раз, что я вполне умел и опытен — ничуть не заботясь об умении и демонстрации опыта, все получалось само собой. Три раза сходились мы за какой-то час, в паузах лежали молча, крепко обнявшись...

И вот сижу на подоконнике в коридоре, гляжу на двери, жду ее. Мне кажется, что я теперь не смогу без нее жить, я должен найти ее во что бы то ни стало. Вера, конечно, все равно останется. Но уже без меня. Сама виновата.

После нескольких часов бесплодного ожидания решил отбросить стеснительность, пошел стучать в двери и спрашивать: где здесь живет такая-то? Никто по моему описанию ее не узнал. Только одна студентка, сонная и неприветливая, сказала: «Может, она из медучилища? Медички к нам ходят иногда». — «Да нет, мы в ее комнате были, я же помню, она своим ключом открыла!» — «Ну, ключ она могла и взять у кого-то. Есть наглые! — повысила она голос и скосила глаза, адресуясь к кому-то в комнате. — Берут ключ, да еще запираются, попасть невозможно! Скажу вот комедантше — выгонят на фиг!»

Я вспомнил: ведь девушка и впрямь отлучалась, когда мы были в кафе, — может, взяла у кого-то ключ?

Следовательно, у нее есть тут подруга или знакомая?

Не раз я еще приходил сюда в надежде найти ее подругу или знакомую.

Не нашел.

Бродил возле медучилища, рассматривая входящих и выходящих.

Не увидел.

Канула эта незнакомка неведомо куда, пропала, оставив тоску по несбывшемуся, лишь поманившему счастью. А я после этого как с цепи сорвался, очень быстро стал матерым и неумным блудилой, не хуже Володи. Однажды в очередной компании снял, как говорилось тогда и говорится теперь, девушку, ласкал и целовал ее в танце, увязался проводить домой, по пути зашли погреться в какой-то подъезд, поднялись по лестнице, я увидел приоткрытую дверцу на чердак. Девушка казалась вполне охотной и доступной, я увлек ее на чердак, где снял с нее и постелил зимнее кожаное пальто на меху... Прodelал все обстоятельно и деловито, она была пылкой — и как же удивился я, узнав, что это ее первый опыт.

Она с первого же раза забеременела, я, как честный человек, женился. Отец моей Галины, Григорий Тарасович, большой начальник, желал дочери всего самого лучшего, поэтому был огорчен, что я всего лишь начинающий художник, то есть человек с неясными перспективами. У нас с Галей родился сын Глеб, Григорий Тарасович воспрянул духом, предвкушая, как будет делать из внука настоящего человека, но у Глеба оказалась легкая форма ДЦП. Он, в общем-то, вполне нормален, по-своему очень умен, но во многом остается до сих пор ребенком или, говоря иначе, слишком наивным и простодушным человеком, что Галине со временем стало нравиться, Григорий же Тарасович был навсегда разочарован.



Володя держался холостым долго, до тридцати. Кончилась его свободная жизнь так же, как у меня: сто девушек бесследно исчезли после нескольких приятных встреч, сто первая, забеременев, исчезнуть не захотела. Володя с недоумением женился, начал крепко зашибать, в тридцать пять его ошарашил обширный инфаркт, он получил инвалидность, развелся, жил с мамой, потом мама умерла, а потом, измученный болезнью, умер и он, нескольких дней не дотянув до сорока двух лет.

Саша Максимов заканчивал мединститут, когда встретил девушку-фармацевта, ставшую его первой и последней любовью. Она увезла его к себе на родину, в Железноводск, где у ее родителей был дом и целое хозяйство с курами, утками и кабанчиком. Саше купили «москвич» для поездок на рынок и по другим домашним делам, жена родила ему подряд двух девочек. Он всегда имел склонность к упорядоченной семейной жизни, вот и получил что хотел.

Олегу Каширину повезло меньше всех — или больше всех, как посмотреть: он так и не встретил свой идеал. Следовательно, есть о чем мечтать, а мечта одухотворяет. Живет один, изредка выезжая из Саратова в Москву по делам, навещая меня, бывшего земляка и друга, отдавая должное тому, как я устроился, моим житейским успехам, но по-прежнему ничуть не интересуясь моим настоящим творчеством.

— Хоть бы для вежливости сказал что-нибудь, — упрекнул я его однажды. — Выставка персональная недавно была, в интернете репродукции, наверняка же видел.

— Для вежливости — не умею, а правду говорить — обидишься, — сухо ответил он. И тут же сгладил: — Мне вообще из современных российских художников никто не нравится.

Я оценил его дипломатичность, хотя не побоялся бы и правды: во-первых, жестче, чем я сам, обо мне никто не скажет, а во-вторых, я давно признал за каждым человеком безграничное право любить или не любить то, что он хочет.

Правда, это касается неодушевленных предметов и отвлеченных понятий, если же твоя любовь или нелюбовь связана с другом человеком, тут же возникает право и этого другого человека, и начинается либо горячая, либо холодная война, либо, как писали в газетах советской поры, мирное сосуществование.

# ЛУМУМБА

(1984)

— Подумайте пока, а я сейчас, — сказал Владимир Андреевич и вышел, аккуратно прикрыв белую двустворчатую дверь.

А может, никакой он не Владимир Андреевич, с какой стати офицер КГБ будет называть себя настоящим именем? У них во всем конспирация. И квартира эта, обставленная солидной мебелью, в солидном доме-сталинке, — конспиративная. Нам с Владимиром Андреевичем открыл высокий старик в зеленой военной рубашке и синих тренировочных штанах с лампасами, сразу же подумалось: генерал.

Эту догадку я и высказал Владимиру Андреевичу, когда мы остались одни.

— Генерал и есть, в отставке, — подтвердил Владимир Андреевич. — Но не может человек без службы, помогает, квартиру вот предоставляет для бесед.

— Задаром?

— Материальное вознаграждение имеет место, но не это главное. Хочет быть нужным и полезным. Отличительная черта этого поколения, у них, мне кажется, есть чему поучиться, — Владимир Андреевич все формулировал ясно, обстоятельно, и это было не только его личное мнение, он как бы транслировал голос государства, интересы которого представлял.

При этом он был, как я понимаю теперь, гэбист новой формации. В печальном прошлом остались те, кто изматывали ночными допросами врагов народа, не жалея их и себя, раздевали женщин донага и наступали каблуками на мужские гениталии — возможно, не для мучительства, а нетерпеливо желая добыть правду.

Нет, Владимир Андреевич был вежлив, внимателен, не забывал в свои слова вставлять: «мне кажется», «я думаю», «как вы и сами наверняка знаете» — и так далее.

Это была наша вторая встреча.

Первая состоялась в помещении саратовского Союза художников, что на улице Рахова. Я-то надеялся, что зовут для разговора об участии в какой-нибудь серьезной экспозиции, но женщина-секретарша, узнавшая меня только после того, как я назвал свое имя, хотя не раз меня уже видела, кивнула в сторону двери с табличкой «Отдел кадров».

— Вас ждут, — сказала она с укоризной, будто я опоздал или в чем-то виноват.

Но я не опоздал и ни в чем виноватым себя не чувствовал.

Владимир Андреевич встретил меня ласково, представился, сказал, из какой организации. Никогда я до этого не слышал, чтобы слова «комитет государственной безопасности» звучали не просто мягко и деликатно, а даже заманчиво. Так экскурсовод говорит группе: «памятник исторического значения» — перед воротами какого-нибудь архитектурного шедевра, самым своим тоном призывая к почтительному уважению и смиренному любопытству.

Я тогда не увлекался диссидентской литературой, не входил в андеграундные группировки вроде «Желтой горы», не до этого, надо было зарабатывать, кормить семью. Да плюс тайные расходы на дом, кото-

рый мы снимали на двоих с ветераном-художником дедом Мишаней, на любовные встречи в этом доме с моей тогдашней дамой сердца.

В общем, я не был замешан в антисоветской деятельности, поэтому ничуть не испугался, только слегка недоумевал, зачем я понадобился товарищу из органов.

Тот не спешил. Расспросил меня о пристрастиях, об отношении к великим землякам — Борисову-Мусатову и Петрову-Водкину, к заслуженному художнику Рудольфу Кучумову, наиболее известному из ныне живущих, признался, что он предпочитает реализм, но допускает всякие течения, кроме откровенно антигуманных, посетовал, что его коллеги-предшественники не всегда были сдержаны — не стоило, в частности, десять лет назад крушить бульдозерами выставку модернистов в Москве. Ну, собрались, показали себя, кому это мешало? Верно ведь, Виктор Алексеевич?

Да, он называл меня, двадцатипятилетнего, по имени-отчеству, и мне, конечно, это было приятно.

От общих рассуждений Владимир Андреевич перешел к конкретным личностям, интересуясь моим мнением об их творчестве. Я отозвался благосклонно, иногда оговариваясь, что, дескать, не мое, но имеет место быть.

— Согласен, — кивал Владимир Андреевич. — Но вот Меркелов, как он вам?

Я насторожился. С Валерой Меркеловым мы недавно оформляли фойе нового Дома культуры в богатом совхозе, работа была крупная, выгодная, шестьдесят квадратных метров, штукатурка, акрил. Сроки жесткие, поэтому мы и работали вдвоем по утвержденному эскизу: вечно живой Ленин, оваянный знаменами, приветливо смотрит на современную жизнь, на поля с густой пшеницей, кишачие комбайнами

и советскими крестьянами, распеваящими песни. Стиль был – советский романтизм.

Заказ нам удружил дед Мишаня, он же посоветовал и стиль. Перепродажа заказов была его постоянной доходной статьей. Деду Мишане, как ветерану войны, имеющему ранения и награды, выгодную работу предоставляли в первую очередь – и попробовали бы не предоставить. Если обижали, дед Мишаня надевал бо-стоновый синий костюм с прикрепленными навсегда медалями и орденами, шел в райком партии и спрашивал там, с каких это пор участников войны, проливших кровь за Родину, позволено унижать и оскорблять?

Он в свои шестьдесят с лишним был выпивоха, говорун, имел трех гражданских жен, у которых жил поочередно, но, любя свободу, снимал то квартиру, то дом. Как и в этот раз – напололам со мной. И дешевле, и компания. Набрал выгодных заказов сверх возможностей и желания их выполнить, он делился с молодежью за неплохие для себя проценты. Все это знали, включая начальство, но относились добродушно. В позднесоветское время любое жульничество и даже воровство считалось оправданным, если не превышало разумные пределы, поэтому жульничали и тащили многие, но как-то уютно, по-домашнему. Можно сказать – бескорыстно, как ни странно это звучит. А что странного, если тот же дед Мишаня, получив хорошие деньги, тут же хвастал ими перед женами, раздавал детям и внукам, щедро угощал друзей, поэтому, бывало, в перерывах между заказами питался только макаронами, чаем, знаменитыми консервами «Завтрак туриста» – и, конечно, водкой и вином.

Выпив, дед Мишаня часами рассказывал о своей дружбе с великим Гуциным, нашедшим гениальное сочетание рисунка и цвета и передавшим деду Мишане секреты мастерства.

— Рисунок играет с цветом, цвет с рисунком, потому что и вся жизнь, дети мои, игра! Все игра! Кошка, и та мышку не сразу съест, поиграет. Смерть — тоже игра, понимаете меня? Некоторые упрекают: Наметкин, ты перед начальством прогибаешься! Я?! Да никогда! Я играю, я их дую! Я этим наслаждаюсь, а они, идиоты, принимают за чистую монету! Гуцин в Китае жил, в Париже, в Монако, гражданин мира, а после войны приехал в Союз, в Россию, в сраный Саратов — почему? Потому что учуял — здесь игра, здесь бедно, но весело! Он хохотал от удовольствия, он говорил мне: Мишаня, нигде нет такого сочетания уродства и красоты, правды и фальши! Но это не навсегда, он мне говорил, и был прав, вы же видите, что творится? Дословно пересказываю его слова: вы тут живете под грузом лжи, но ложь, накопившаяся до критической массы, взорвет и обрушит все к черту! И будет очищение. А потом нарастет новая ложь, это уж как водится. Почему? Потому что вы, русские, он всегда так говорил: вы, русские, хотя сам был до корня русский, но это тоже у него игра была такая; вы, русские, идеалисты, вам хочется справедливости сейчас же, а она не торопится, а вам невтерпеж, вот вы и начинаете врать, что она уже есть. То есть — врите от чистого сердца. Очень уж долго плывете, вот и чудится тем, кто у вас торчит на мачте, что впереди земля. Они орут: «Земля!» — не потому, что врут, а — желаемая галлюцинация! Понимаете эту великую мысль великого Гуцина, дети мои? Поэтому он картину «С тобой, Лумумба» написал. Да обчихался ему этот Лумумба на самом-то деле, он играл, он хотел посмотреть — неужели сожрут? Сожрали с удовольствием, Университет Дружбы народов картину купил! И мне, дурачку, когда я скрипел, что зажимают, говорил: а ты нарисуй Лумумбу. Вот и я вам говорю — играйте, рисуйте лумумбу, но душу не отдавайте никому!

Конечно, у нас, его юных товарищей — а он дружил именно с молодежью, средний возраст не уважал — это стало поговоркой. Если кто пожалуется на отсутствие денег или на то, что не берут на выставки, мы ему тут же: нарисуй лумумбу.

И сами охотно рисовали, посмеиваясь.

Панно в Доме культуры было очередной лумумбой. Я малевал Ленина и счастливых советских крестьян, а Меркелов со скоростью квадратный метр в час расписывал кудрявые рощи на заднем плане и колосающиеся нивы на ближнем, вставляя там и сям нарядную сельхозтехнику, в видах которой разбирался не хуже любого механизатора. Уложились в срок. Рассчитывался с нами сам директор совхоза. Он предложил: в договоре напишу в два раза больше, чем вы просили, но вы такую-то сумму вернете в кассу, то есть мне.

Мы для вида помялись, переглянулись, директор сердито сказал, что совхозу позарез нужна наличность — дорогу вот надо грейдировать, а техники нет, а район официально не выделяет, договариваемся частным образом с мужиками, бульдозеристами и экскаваторщиками, им наличными надо платить...

Всю эту подоплеку мы знали, не первый раз, поэтому согласились.

Не узнал ли об этом всеведущий КГБ? Но его ли дело — заниматься такой мелочью?

— Меркелов интересный, — осторожно сказал я. — Экспериментирует. Но крепкий профессионал, я с ним сотрудничаю иногда. Наглядную агитацию делаем, оформляем культурные учреждения.

— Мы знаем. Он еще карикатурами увлекается.

— Да, вроде бы.

И тут Владимир Андреевич достал палку, а из нее листы. Копии Валериных карикатур. На членов партии и правительства, на людей из городской верхушки. Не сказать чтобы смешные, я жанр сатиры никог-



да не любил. Все с подписями. Помню одну, где изображена была тетка с кастрюлей и К.У. Черненко на тачанке в одеянии кучера, с кнутом, на тачанке надпись: «СССР», а вместо пулемета рогатка с ракетой. И подпись, переделка известных ленинских слов: «Государством может управлять не только кухарка, но и кучер».

— Не смешно, — искренне сказал я.

— И я так считаю, — согласился Владимир Андреевич. — Но я не профессионал, я не сумею свое мнение выразить грамотно. Вот вы бы попробовали.

— То есть?

— Напишите что-то вроде статьи. С оценкой как содержания, так и творческого метода.

— Владимир Андреевич, я не критик, я сам художник.

— Но в газетах-то пишете.

Да, было дело, публиковал я кое-что в газетах «Коммунист» и «Заря молодежи» — заметки о выставках и прочих культурных событиях, а еще увлекался сочинением словесных этюдов о природе, такие как бы стихотворения в прозе, их брали охотно, потому что отлично годились для затыкания дыр при верстке, да и лишних несколько рублей мне не мешали.

— Это другое, — сказал я.

— Почему же? У вас ясный слог, мы изучили. И в искусстве разбираетесь. И сторонник реализма.

— На самом деле ничего, кроме реализма, не существует, — выдал я постулат, в который тогда верил. Впрочем, верю и сейчас.

— Вот об этом и напишите.

— Эссе о реализме?

— Краткую характеристику этих, с позволения сказать, работ.

— Для чего? — спросил я, прекрасно понимая, для чего. Видимо, Меркелов у них на крючке. Сомните-

лен и подозрителен. На самом же деле Валера остроумец без чувства юмора, ему просто хочется повеселить людей и себя, он, кстати, тоже в газетах печатался — всяческие дружеские шаржи, бытовые картинки на темы недостатков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вполне все благопристойно.

Я искал повод, чтобы отказаться, но, пока размышлял, Владимир Андреевич собрал рисунки и уложил их в папку, а папка каким-то образом оказалась в моих руках.

Тем не менее я растерянно забормотал:

— Что, прямо сейчас? У меня, знаете... Работа запланирована, меня ждут...

— Никто не торопит. Даю вам неделю — чтобы не спеша, обдуманно, аргументированно. Хорошо? Закончите — позвоните. У вас память хорошая?

— Да ничего.

— Я назову номер своего телефона, но вы не записывайте, запомните. Хорошо?

Только на улице, жадно закурив, я пришел в себя и сообразил: мне предложили стать стукачом. Причем без лишних проверок, протрупуываний, через полчаса после начала разговора. Неужели я считаюсь таким лояльным и таким послушным? И не просто настучать, а письменно настучать. Даже если никто не узнает сейчас, рано или поздно вскроется. Потомки презирать будут. Да и не в потомках дело, я сам себя буду презирать.

О своем задании я не сказал никому, ни жене, ни даме сердца, ни деду Мишане. Хотел было сказать Валере, но воздержался, потому что уже придумал выход из положения.

Я написал рецензию, отстукал ее на машинке, получилось пять страниц в два интервала. Последовательно и доказательно я утверждал, что художник В. Меркелов в своих карикатурах руководствуется за-

ботой о деле социализма и коммунизма. Если он и бичует отдельные недостатки или то, что ему кажется недостатками, то из-за того, что недостатки мешают развиваться обществу, идущему раз и навсегда выбранным путем. Его карикатуры направлены не на дискредитацию советской власти и социалистического строя, напротив, как и всякое сатирическое произведение, имеют, цитируя Ф.М. Достоевского, «положительный идеал в подкладке».

А затем я разбирал рисунки Валеры, в каждом найдя этот самый положительный идеал.

Я был доволен своей работой. Позвонил Владимиру Андреевичу, доложил, что все готово. Он назначил встречу на вечер того же дня.

— Там же?

— Зачем? Там я с вами просто беседовал, мало ли я с кем беседую. А два раза подряд — повод для досужих разговоров ваших коллег.

Умно, подумал я.

И вот мы оказались здесь, в генеральской квартире. Я вернул папку и отдал свой текст. Владимир Андреевич читал не спеша, вдумчиво. Понять по лицу, как он относится к написанному, было невозможно. Наверное, их этому специально учат — непроницаемости.

Дочитав, он положил листы на стол, улыбнулся и сказал:

— Ну что ж. Я вижу, Виктор Алексеевич, вы почему-то решили все это превратить в шутку. Вам повезло, я умею ценить розыгрыши, не все мои товарищи так легко к этому относятся.

— Почему розыгрыш...

— Только не надо его и тут продолжать, Виктор Алексеевич, это уже чересчур. Кстати, тут подписи вашей нет.

— А надо?

– Конечно. Вашим почерком, но, конечно, не ваше имя, зачем вам это? Выберите псевдоним.

– Псевдоним? Зачем?

– Для удобства.

– Не знаю... Ну... Босх.

Мы все тогда увлекались Босхом – по репродукциям, естественно, вот и выскочило.

– Не пойдет, Босх у нас уже есть. Не обязательно имя художника. И даже не обязательно человека.

– Тузик, что ли?

– Тратим время, Виктор Алексеевич. Вас что-то смущает?

Меня все смущало. Но я решил играть до конца.

– Хорошо, «Дункан».

– Это кто?

– Название яхты. «Дети капитана Гранта».

– Я в детстве тоже обожал эту книгу. Какая у вас память, я вот не запомнил, какое там у яхты название.

Отлично, «Дункан».

– Подписывать?

– Это – не надо. Виктор Алексеевич, как вы думаете, кому преимущественно оппонирует наша организация?

– Антисоветчикам. Диссидентам. Врагам народа.

– Помилуйте, где в Саратове враги народа? В том-то и заключались ошибки, что иногда работали упрощенно, не сказать – примитивно. Сейчас мы все поняли, что настоящее поле идеологической битвы – в сердцах людей. В их умах. Нам не враги страшны, нас разъедает лицемерие и двуличие. Согласны?

– Да...

– У нас тоже были перегибы, Солженицына вот запрещали, «Архипелаг ГУЛАГ» до сих пор не печатаем, вы-то читали, конечно?

– Нет. Где я его возьму?

— Нет так нет. Мы сейчас подумываем опубликовать некоторые главы. Там ведь есть правда, а мы правды не боимся. Лицемерие гораздо страшнее — когда человек на словах высказывается за наши идеалы, как вот вы тут, — он указал пальцем на мои листы и тут же убрал руку, словно боялся испачкаться даже на расстоянии, — а на деле просвечивает скепсис, если не сказать — цинизм.

— У кого?

— Не у меня же, Виктор Алексеевич! У вас, как и у Валерия Меркелова, которого вы так неуклюже защищаете! Но, знаете, эта неуклюжесть мне дала понять, что на самом деле вы отлично все понимаете. Не подумайте, я не хочу на вас давить, я прошу вас быть честным, перед самим собой в том числе. Как поступили бы раньше мои коллеги, которых тот же Солженицын расписывает в черных красках, частное превращая в общее? Они предъявили бы вам нежелательную информацию. О вас.

— Какую?

— Да мало ли. Вы же в частной жизни тоже, уж простите за откровенность, бываете довольно лицемерным. Мне самому это слово не нравится, но как иначе? Понимаю, вы художник, артистическая натура, но все-таки есть общие правила для всех граждан. Что вы тайком от жены дом снимаете и встречаетесь там с... — тут он назвал имя и фамилию моей дамы сердца, — это, возможно, ваше личное дело, как и дело вашей женщины, хотя и у вас жена, и у нее муж, так что это не только ваше дело. Муж у нее, насколько мы знаем, человек невыдержанный, может такого натворить... А ваша жена в школе работает, у нее должна быть безукоризненная репутация.

— Как на ее репутацию повлияют мои...

— Личные грехи? Возможно, не повлияют. Но вы ведь прекрасно знаете, что она и сама не без греха.

Может, отвечает этим на ваши поступки. Так сказать, симметрично.

— Это вы о чем?

— Давайте без интимных подробностей, Виктор Алексеевич, я не о них.

— Вы что, я не понял, следили за моей женой? Вы что-то знаете? Что она с кем-то... С кем?

— Виктор Алексеевич, никто ни за кем не следит, и я повторяю: личные ваши дела нас не очень интересуют. Вы же не дослушали, а уже возражаете.

Героев книг в таких ситуациях бросает то в жар, то в холод. Я не раз про это читал, но не очень верил. И вот убедился: банально, но именно так, то в жар, то в холод. А еще начало ужасно бурчать в животе, что придавало всему комичный оттенок. Я напрягал живот, сдерживался, звуки становились только громче, при этом и я, и Владимир Андреевич делали вид, что ничего особенного не слышат.

— Основное не в личных мелочах, — продолжал Владимир Андреевич, — а вещах более серьезных. Я уж не знаю, Меркелов вас подбил или вы сами придумали, но вы не раз получали деньги за работу в обход кассы. Что является не шалостью, а поступком, подлежащим уголовному преследованию. Говоря просто и грубо — это преступление. А Меркелов ваш имеет неосторожность еще и хвастаться направо и налево, в компаниях рассказывает, как он дурит заказчиков. Вы-то умнее, иначе мы бы с вами и говорить не стали. Но некоторое лицемерие, повторяю, налицо: рисуете агитацию, прославляющую социалистический образ жизни, а сами этот образ не соблюдаете.

Этим Владимир Андреевич не ограничился, он привел еще несколько фактов, подтверждающих мое лицемерное несоответствие социалистическому образу жизни, — интересно, какой Босх ему наступал? Изложив все это, он оговорился, что в более жесткие

времена со мной и поступили бы жестко, а сейчас ищут пути к моему исправлению, которое достижимо лишь посредством сотрудничества.

Я понимал, что это шантаж. Мне очень хотелось прямо сказать ему об этом, но я молчал и слушал бурчание живота, перестав с этим бороться. Даже наоборот, пусть бы он гремел проснувшимся вулканом, тогда бы все стало окончательно смешным. До нереальности.

Но я понимал, что все реально. Думал, как быть. Решил: как только он закончит, встану, пошлю его к черту и хлопну дверью.

Он будто угадал мои намерения, и предостерег:

— Выбор за вами, Виктор Алексеевич, мы хотим только искреннего сотрудничества, иначе выйдет абсурд: бороться с лицемерием при помощи лицемерия. Но не надо доверять эмоциям, вы сейчас можете в запале что-то не то сделать или сказать, а потом пожалеете. Этого мы тоже не хотим.

— А чего хотите?

— Чтобы вы написали правдиво и честно то, что думаете. Ведь ясно же, даже из этого вашего текста ясно, что вам не нравится пачкотня Меркелова.

— Не в восторге, да, — подтвердил я, зная, что говорю правду, но в собственном голосе мне послышалась готовность к дальнейшему паскудству. Воспротивился, хотел сказать что-то резкое, но Владимир Андреевич встал, подняв ладонь и мягко останавливая ею что-то невидимое:

— Подумайте пока, а я сейчас.

И вот его нет уже довольно долго. Или мне так кажется?

Я сижу и напряженно думаю. Не над своим ответом, ответ уже готов, я точно знаю, что откажусь. Я думаю — что будет после. Скандал в семье я пережи-

ву, не в первый раз. Отложенное вступление в Союз художников, а оно наверняка будет отложено, тоже не катастрофа. Самое мерзкое — то, что он назвал уголовным преследованием. То есть — суд и тюрьма.

Вот об этом я и думал, о суде и тюрьме. Представлял, каково мне там придется. Я не очень много знал о тюремных нравах, но соседом моим по дому был рецидивист по прозвищу Бодя, и он был для меня воплощением тюремных типов и нравов. Навсегда запомнилась картинка: мне лет двенадцать, я сижу на лавке у подъезда, а напротив Бодя, худой мужик лет тридцати пяти, руки в наколках, рядом с Бодей какой-то парень, его дружок или подручный, Бодя лениво смотрит то туда то сюда — без цели и мысли, как кот на окне, а дружок свистит и катает ногой камешек на асфальте. И вдруг Бодя ни с того ни с сего, резко поворачивается к дружку и бьет его кулаком по лицу. Раз, другой, третий, очень быстро и сильно. Тот падает, Бодя вскакивает, ударяет его ногой в живот, в голову. И тут же опять становится вял, ленив и скучен, чуть ли ни зевает, спокойно садится на лавку и говорит добрым голосом: «Говорил же: не свисти». А за год до этого я видел: на пустыре за домами лежал дворовый пес, с ним играл котенок, ударяя лапкой по голове. Пес лежал спокойно, мирно постукивал хвостом, и вдруг повернул голову, хамкнул пастью, перекусил котенка, поднялся, отошел от кровавого комочка на пару шагов, лег и прикрыл глаза.

Вот это вот почти животное, неизвестно откуда берущееся, эта легкая готовность ударить, а то и убить, это меня больше всего страшило в будущей тюремной жизни.

Но я сказал себе: ничего, выдержу. Буду драться. Сразу поставлю себя как надо. Авось не убьют. Главное — на этом жизнь не кончится, в тюрьме нет ничего непоправимого. Если же поддамся милому Влади-



миру Андреевичу, это будет — непоправимо. Ничем не загладить и не искупить. Не хочу с этим жить и не буду.

Вошел Владимир Андреевич — свежий, словно выспался. С улыбкой уверенности в моем положительном ответе, он спросил:

— Ну что, работаем?

— Извините, нет.

Владимир Андреевич усмехнулся. Сел в кресло, взял листки, еще раз просмотрел их:

— А может, этот Меркелов просто дурак?

— Не буду спорить.

— За дураками гоняться — сам дураком станешь. Ладно. Так и будем считать. Но подпись все-таки поставьте.

— Вы же сказали — не пойдет.

— Для отчетности сгодится. Скажу, что бесперспективная разработка. Что ж, до свидания. И вот что. Телефон, который вы запомнили, забудьте. И как меня зовут — тоже. Если встретимся на улице, узнавать не обязательно. Хорошо?

— Хорошо. «Дунканом» подписать?

— Нет, своей фамилией. Вы же «Дунканом» так и не стали.

Мы пожали друг другу руки. Владимир Андреевич улыбался, не заметно было ни человеческой досады, ни служебного раздражения.

Мне это было непонятно.

Я решил спросить:

— Владимир Андреевич, а у вас не будет неприятностей?

— С какой стати? Отрицательный результат тоже результат. Мы же не стремимся стопроцентно всех привлечь. От себя лично добавлю: не каждый день я получаю возможность от всей души уважать человека. А это ведь большое удовольствие — уважать кого-то. Так что — спасибо.

И мы чуть ли не раскланялись, довольные друг другом.

Нет, что-то меняется, думал я, торопясь домой, сам воздух меняется, люди меняются. И я-то какой молодец!

Меня просто распирало от гордости за меняющуюся страну и, конечно, за себя.

Потом я чем-то был занят, куда-то ездил, а через месяц узнал от друзей, что Валеру Меркелова таскали в «серый дом», так называли здание КГБ по цвету стен, допрашивали, мытарили, чем-то грозили, довели до того, что он, напившись, сунул голову в газовую духовку. Если бы не пришедшая на обед теща... Валеру откачали, отвезли в больницу, сначала в обычную, а после переправили в психоневрологический диспансер на Тулупной.

# ДИАНА

(1987)

Я слышу: Диана жалобно поскуливает и ударяет лапой в дверь, просится на улицу.

Когти собаки стучат по дереву громко. Давно пора их остричь. Остричь их давно пора. Их пора давно остричь. Пора их остричь давно.

Я не открываю глаз. Иначе она увидит, что хозяин проснулся, подойдет и будет ударять лапой уже не по двери, а по мне.

Я лежу не шевелясь, я обманываю ее.

Это главное, чем ты начинаешь пробавляться с похмелья, — обманом.

В первую очередь обманываешь себя: все не так уж плохо. Да, болит голова, колотится сердце, ноет тело, окоченевшее в неподвижном мертвецком сне. Но я жив. Вчера было не лучше, но я встал, я сдюжил. Значит, смогу и сегодня.

Второе, что наваливается одновременно с первым: чувство вины.

Когти у собаки не стрижены. На работу не хожено. За квартиру не уплочено, ибо деньги пропиты. Мама знает, что со мной. Может быть, вчера звонила. Я, наверное, ее успокаивал. Что говорил — не помню. Как оправдывался перед женой, тоже не помню — если оправдывался. Может, наоборот, винил и упрекал ее. За что? Мало ли. Как в анекдоте: знал бы за что, вообще бы убил.

Не помню. Ничего не помню.

Это третье – беспамятство. Оно уже не пугает, уже привычно. Зато избавляет от дополнительного стыда: не помнишь, как чудил, какие глупости говорил, с кем насмерть поругался, а кому признался в любви. Может, пытался признания подтвердить делом? Или даже подтвердил?

Такое тоже бывало.

Всякое бывало.

Однажды вечером шел по городу, не зная, куда себя приткнуть, уставший от хмельного бесчувствия, увидел знакомый дом, где бывал когда-то очень часто. Там женщина живет, с которой было хорошо, но так получилось, что расстались. Жаль – до сих пор. Вошел в подъезд, поднялся на третий этаж, позвонил. Она оказалась дома и была одна. Прошел, спросил, нет ли выпить. Пожалела, дала. Выпил. И завел речь о том, что не надо было расставаться. Что никого так не любил. Что, пожалуй, завтра же соберу вещи и приду к ней. Навсегда. Она слушала, на глазах слезы. Думал – умиление. И тут она сказала: полгода назад ты приходил и говорил то же самое. Слово в слово. Что не надо было расставаться, что никого так не любил, что завтра соберешь вещи и придешь навсегда. И ушел. И исчез. Она тревожилась, звонила окольным друзьям и подругам, чтобы узнать, все ли со мной в порядке. Ей сказали: болеет. Чем? Известно чем. И она еще больше переживала. Зато теперь все ясно: это был всего лишь пьяный бред.

Обман, чувство вины, беспамятство... И еще много чего, что невидимо копошится в болоте мозга, вздымая мутную поверхность, но не показывая себя.

Понимание: дальше так нельзя. Сколько прошло, пять дней, неделя, две недели? Личный рекорд – полтора месяца. И это не как у некоторых, которые пьют, но при этом что-то все-таки делают, как-то живут.

У меня не получается пить и жить, если уж пью, то только пью. Безжизненно.

Дальше так нельзя. Но и бросить сразу же невозможно. Да и опасно. Борьба разума и жажды длится недолго, я решаю, что обязательно раздобуду и поправлюсь. Кратковременность борьбы меня даже обнадеживает: значит, есть еще силы для продолжения, если организм так уверен в своих возможностях.

Но ведь надо еще встать. Перед собакой совестно. Жена на работе, сын в школе, кроме меня ее никто не выведет. Хотя ты помирай, а тащись на улицу, так уж заведено. Я нагнетаю в себе обиду на жену — чтобы вытеснить хоть немного обиду на самого себя. И ведь мерзок при этом себе своей мелочной обидой, противен, ненавистен. Но мерзок и ненавистен — потихоньку, под сурдинку. На избыточные эмоции нет сил.

Надо встать.

Собака — умница. Она, конечно, догадалась, что я проснулся, — догадалась по дыханию, по иному, чем во сне, трепетанию сомкнутых век. Но догадалась и о том, что я пока не могу встать. Согласилась потерпеть. Я, не открывая глаз, вижу, как она лежит у двери, положив морду с печальными глазами на вытянутые лапы.

Когда я в этом состоянии, она тоскует. Глаза делаются больные, тусклые.

Надо встать.

Я открываю глаза.

Белый потолок сер в тусклом свете осеннего утра. Сквозь тюль окна — корявые ветви голых деревьев. Обои бледно-розового цвета, от которого тошнит глаза. Почему такие? А какие были в магазине, такие и купили. Отстояли очередь, часов пять, влезли с боем, не зная, что выкинут на прилавок. Выкинули два вида: темно-зеленые с золотистыми вензелями

и эти вот. Хочешь — бери, не хочешь, приходи в другой раз, стой опять полдня, лезь... Взяли эти.

Так во всем у тебя: что было, то и взял. Поэтому и лежишь в своем доме, как в чужом, будто занесло тебя сюда каким-то лихом. Никакого лиха, сам пришел, причем давно.

Опускаю ноги, как отдельные от себя.

Опираюсь руками, приподнимаю туловище.

Сажусь.

Диана вскакивает, лает, подбегает, крутит хвостом. Она тоже обманывает меня: лает вроде бы как обычно, и хвостом крутит бодро, но видится в этом некоторая симуляция. На самом деле ей не так уж весело, но она хочет подбодрить меня: все нормально, хозяин, ты видишь — я такая же, как обычно, значит, и ты такой же, ведь такой, такой, такой?

Я даже невольно киваю, будто услышал этот вопрос. Усмехаюсь. От этой усмешки становится больно. Разлепляю склеенные губы, провожу по ним языком.

Ничего. Вчера встал, и сегодня встану.

Мучает вопрос: оставил ли я вчера хоть немного для поправки? Обычно не оставляю, но, бывает, так наливаюсь, что просто не лезет. Жена это выливает или прячет, наивно надеясь, что отсутствие под рукой алкоголя меня остановит. Останавливает не это, а ощущение, что больше не можешь. А его еще нет.

Жажда помогает встать и дойти до кухни.

Торопливые поиски.

Ничего.

Пью воду из-под крана, иду в туалет.

Опять ищу.

Пусто.

Одеваюсь, обхожу комнаты, роюсь в шкафах и укромных местах.

До галлюцинации ясно видится: вот открою сейчас, а она там лежит, заветная.

Но нет, ничего.

Обшариваю карманы. Денег тоже нет.

Значит, надо идти во внешний мир.

И так бы пошел, но, если б поправился, гораздо было бы веселее.

Дрожащими руками надеваю ошейник с поводком.

Выходим на улицу.

Безлюдно.

Какой сегодня день?

Хорошо бы суббота или воскресенье, в выходные легче найти выпившего и, следовательно, доброго человека, который угостит или поделится.

Но никого. Иду, останавливаюсь вместе с Дианой. Она шустро бежит вокруг меня, насколько позволяет поводок, обнюхивает стены и кусты, мне становится чуть легче, когда смотрю на нее, такую здоровую и бодрую. Она такая — значит, и я так могу. Не сейчас, но в принципе. Все наладится.

Мой путь — в шинок. Ветхий дом, вход с улицы. Там продают паленую водку. На вынос и в разлив. И наливают в долг, если тебя знают. Водка гнусная, отдает ацетоном. Говорят, кто-то от нее помер. Но, может, не от нее, а от запоя помер. Дело обычное — вошел в штопор и не сумел выйти. В двенадцатом доме так было недавно. Муж и жена. Пили месяц, он уже не вылезал из постели, а она еще шевелилась, ходила, где-то доставала. Будучи сердобольной супругой, наливала в стакашек, ставила на табуретку у его изголовья. Он просыпался, тянул руку, нашаривал, выливал в себя, опять засыпал. Спал и пил, пил и спал. Так и умер.

Мне не страшно об этом думать. С похмелья ничего не боишься, кроме одного — что не дадут опохмелиться.

Путь долог и труден.

Но наконец дошли.

Привязываю Диану у крыльца, поднимаюсь, стучу.

Дверь открывает хозяйка. Грязная, краснолицая, пьяная с утра, сердито-веселая.

– Опять? Не дам – и не проси! На тебе знаешь, сколько уже записано? Отдай хоть часть – тогда налью.

– Нету, – выговариваю я. – Завтра.

– Ты и вчера говорил, что завтра. Все, извини!

Дверь захлопывается.

Я спускаюсь, приставляя ноги одну к другой.

Куда идти?

Кому звонить?

Да и звонить только из дома, то есть вернуться. На автомат двух копеек нет.

Иду дальше.

Там пивзавод. Вспоминаю рассказ приятеля: без денег, без надежд, ведомый смутным инстинктом, приволокся он к пивзаводу, к воротам, из которых выезжают машины с пивными бочками и цистернами. Одна машина на выезде притормозила перед поворотом, а у приятеля в кармане был стакан, он достал его и сказал шоферу: «Плесни, помираю!» Устойчивая легенда – шоферам всегда в виде презента наливают трехлитровую банку. И легенда в тот раз оказалось правдой: шофер сжалился, достал банку и плеснул. Да не просто плеснул, налил до краев, подождал, пока жаждущий выхлебает до дна, и тут же налил вторично.

Есть же люди на свете.

Не исключено, правда, что приятель врет. Знаем мы эти алкогольные байки.

Но в таком состоянии надеешься на чудо и веришь в то, во что раньше не верил.

Да, из ворот выезжают машины. Бочки и цистерны до краев полны живительной влагой. При одном взгляде на них судорожно сглатываю.



Но, видимо, есть во мне еще остатки стыдливости. Не могу подойти и попросить. Хотя, пожалуй, попросил бы, не переломился, но у меня нет стакана, не во что налить. А из банки хлебнуть не дадут, нечего даже и думать.

Иду дальше.

Вдруг что-то подкатывает к сердцу и тут же тянет его вниз. Оно падает, пропадает. Желание — лечь и не вставать. Умереть. Если бы не собака, так бы и сделал.

Такое уже было. И проходило. Значит, и сейчас пройдет.

Стою, переживаю.

Диана тоже стоит. Словно чувствует.

Парадокс такого состояния: точно знаешь, что не можешь уже сделать ни шага, впадаешь в прострацию, а очнувшись, с удивлением обнаруживаешь, что идешь.

Перестаю скрывать от себя, насколько мне плохо, начинаю тихо стонать.

Диана глянула и тут же отвернулась. Застеснялась, что ли?

Медленно иду и мычу-стенаю через равные промежутки времени.

Голос:

— Вам плохо?

Полная женщина в годах, лицо участливое.

А вот взять и попросить немного денег. Почему бы и нет? Ведь случалось же просить у незнакомых людей, и не раз. Правда, чаще у магазинов и у таких же страждущих, как я. Или у идущих мимо мужиков. Они не пьют сегодня, но пили вчера или на прошлой неделе, они знают, каково это. Сегодня я, трезвый, дам тебе, пьяному, а завтра ты, протрезвевший, дашь мне, опьяневшему. То есть они дают как бы себе — в будущее.

— Извините, — говорю женщине. — Я живу тут недалеко... Жена забыла деньги на лекарство оставить. Не могли бы вы...

— Не могла бы! — резко отвечает женщина. — Знаю я ваше лекарство! И жену вашу мне очень жалко!

Мужа своего пожалей, дура толстая, говорю я мысленно, удивляюсь, что могу, пусть и молча, вступить в диалог.

Иду дальше.

Сворачиваю на аллею.

Редкие прохожие.

Юноша спешит со спортивной сумкой.

Озабоченная женщина идет с сумкой хозяйственной.

Старик прогуливается.

И у всех наверняка есть деньги, могут пойти и купить, и выпить. Но не делают этого, хотя могут. Меня всегда поражали люди, которые могут выпить, но не выпивают. Мне нельзя, а я пью. А они могут — и не пьют. Вот дураки-то.

Поправиться надо. Любой ценой.

Успешный художник Н. рассказывал: захотел отдохнуть от всего и всех, взял путевку, круиз на теплоходе по Волге, Москва–Астрахань. А был в завязке. Но расчувствовался, глядя с теплохода на вечернюю зарю, застенчиво освещавшую тихую родину, не удержался, выпил, а потом еще и еще. Не приходя в сознание, пил дня четыре, очнулся где-то за Ульяновском, бросился в буфет — не продают, просил у пассажиров, совал деньги — у всех пусто. Тут теплоход причалил к так называемой зеленой стоянке, к острову, чтобы пассажиры могли искупаться в вечерней теплой воде. Н. слетел по трапу, метался по острову, но там ни ларьков, ни магазинов, да и людей не видно. Сидел только одинокий рыбачок у костерка и палатки, серд-

це подсказало Н. — у него точно есть. Кто ж на ночевку останется без выпивки? И точно: перед рыбаком на холстине была закуска и начатая бутылка. Н. взмолился: продай! Давал ему пять, десять рублей, тот ни в какую. Н. выгреб все, что с собой было, а было больше ста рублей, положил их на траву рядом с рыбаком, чтобы тот не сомневался: бери, все твое, отдай бутылку. Рыбак, подумав, сказал: в город плыть поздно и неохота, запаса у меня нет, что ж я, без ничего останусь? Скука заест. Да и хлебнул я уже, меня на дальше повело. «Отказал!» — смеялся Н., рассказывая, радуясь поступку соотечественника и гордясь им. Начисто, категорически не согласился продать бутылку за сто рублей! Я говорю: дай хоть хлебнуть за десятку! Хлебнуть не дал, понятное дело, опасался, вдруг я махом все опростаю, но в стаканчик налил, дал. И десятку взял. Не больше. Спас. А потом я, в легком кураже, одну даму нашел средне-пожилого возраста, а у нее — коньяк! Натурой пришлось платить, но — душеньку утешил! С куража все легко получается.

Это правда. Опытные люди знают: трудно найти разгонную порцию, а потом судьба сама начинает выбрасывать перед тобой козыри. Проверено. Старый друг встречается, весь в деньгах, к застолью попадаешь в первом же доме, наткнешься на незнакомых алкашей, стащивших с завода «Арарат» ящик портвейна и поэтому безмерно щедрых. Что вино кончится завтра, они не думают, главное — сегодня есть.

Но где найти ее, эту разгонную?

Иду, хотя пора возвращаться, но что-то подсказывает: нет, иди и надейся.

Появляется сверхъестественное предчувствие: скоро что-то должно появиться, что избавит меня от мук.

И вот вижу: на скамейке сидят мужчина и женщина, меж ними бутылка и два стакана, под ногами па-

кет, в нем явно еще что-то есть. Лица у обоих со ссадинами, глаза заплывшие, рты беззубые. Но я им завидую: им уже хорошо, а мне плохо.

Я останавливаюсь, глядя по верхам, позволяя Диане порыскать по чахлому газону и голым кустам. Но она, сделав круг, стройно и прямо садится возле меня.

— Какая у вас собачка интеллигентная! — говорит женщина. — И на мордочку приятная какая!

Мужчина хмуро смотрит на Диану. Он недоволен, что женщине кто-то понравился, кроме него. По всем повадкам видно, что он сегодня добытчик и раздатчик, хозяин положения.

Наливает в стаканы по половине. Значит, первая жажда утолена, пьют теперь для усугубления удовольствия.

Я наяву вижу, как стакан поднимается со скамьи, плавно летит ко мне в руку, я нежно обхватываю его, подношу ко рту, жидкость льется гладко, как атлас... В животе становится горячо, в голове светло и ясно, глаза промываются влагой благодарности...

— Не поправите? — спрашиваю я с откровенным заискиванием, сирым голосом. Потому что и они так бы попросили, я играю в них. Женщина тут же верит, улыбается, готова согласиться, но мужчина очень уж обижен ее похвалой чужой собаке и говорит скучно, без выдумки:

— Самим мало.

— Подыхаю, брат! — обращаюсь я к нему в надежде, что он захочет выглядеть рыцарем в глазах женщины.

Возможно, еще недавно он был в таком же положении, как и я, не чувствуя себя человеком. Но теперь он в норме, он теперь человек — в том числе со всей присущей людям гадостью.

— Всех даром поить, без штанов останешься, — важно и глупо изрекает он.

— Да ладно тебе, налей мужчине! — говорит женщина, улыбаясь мне. Она уловила оттенок ревности в поведении кавалера, ей это приятно.

Тот смотрит на меня, на Диану. Лицо делается вдруг неприятно хитрым. Он говорит:

— Не только налью, целую бутылку дам. За собаку.

— На хрен она сдалась? — удивляется женщина.

— Тебе подарю. Или на мыло продам. Мое дело. Ну, меняемся?

Предложение дикое, нелепое. Но я начинаю размышлять. Соглашусь. Передам ему поводок. Возьму бутылку. Тут же вырву поводок и убегу. Я моложе, наверняка сумею оторваться.

План одновременно и реален, и невыполним. Надо ведь сделать вид, что согласен отдать Диану, а у меня не получится. Он не поверит.

Так я думал.

А в желудке уже начало теплеть предчувствием, в голове что-то уже мелькнуло, как лучик солнца из-за сплошных туч. Я как бы заглянул в предстоящее неминуемое блаженство. Рука дрогнула, она готова была отдать поводок.

Но голос мой поспешно сказал:

— Обойдешься, мудака!

Нарочито грубо сказал, оскорбил, чтобы не было пути к отступлению. Сам сказал, без участия ума.

А я, если уж что-то гордое скажу, даже пусть это дурь, от этого не отказываюсь. Гонор дороже жизни.

И ухожу.

Без надежды и упования, но на мгновение счастливый. И я это потом не раз отмечал: моменты счастья накатывают именно когда тебе почти невыносимо плохо. Бывает, они возникают по какой-то конкретной причине, но чаще сами по себе, ниоткуда.

Иду, слышу, как они там дружелюбно переругиваются.

И вдруг громко – ее голос:

– Да ладно, идите сюда, угощайтесь!

Я замедляю шаги.

Голос мужчины подтверждает:

– Давай, подруливай!

Я останавливаюсь, поворачиваюсь, улыбаюсь  
моим спасителям, лучшим на свете людям. И говорю:

– Нет, спасибо.

# НОЖИ

(1988)

Я прохаживаюсь у дверей ювелирного магазина «Кристалл», поглядывая на часы, будто кого-то жду. Для конспирации.

На самом деле караулю тех, кто придет сдавать в скупку серебро. Оно мне нужно для изготовления рукояток ножей.

То было время великого безденежья, и многие расставались с последними фамильными реликвиями. Антикварный магазин, единственный на город и, естественно, государственный, был забит дореволюционной мебелью, напольными и настенными часами, фарфором, бронзой, картинами и коврами. В букинистическом полки ломились от фолиантов в старинных златотисненых переплетах. В ювелирные же, где была скупка, тащили золотишко и столовое серебро — ложки, ножи, вилки, и полными кувертами, и поврозь. В антикварном это сначала тоже принимали, но потом стали отказывать: предложение превысило спрос. Пришлось сдавать как лом. Удивительно, сколько всего сохранилось, несмотря на большевистские реквизиции и все последующие катаклизмы, включая голод, когда золотой перстень меняли на стакан муки или десяток яиц. Впрочем, многое шло мимо государства, по рукам — от бывших дворян, куп-

цов и мещан кому попало, а от тех, кому попало, еще дальше. Так и сохранилось.

История с ножами началась так. Зашел Мартын, бывший одноклассник, оставшийся таким же дурковатым, каким был в школе. Но при этом, имея способности к рисованию, он закончил, как и я, художественное училище и умудрился даже, а это уже в отличие от меня, заделаться кандидатом в члены Союза художников: дурковатость оказалась не помехой практичной изворотливости. С Мартыном был утрюмый мужчина: круглая бритая голова, золотой зуб, татуировка на руке – как есть зэк, бывалый сидельный тип. Я не удивился: в ту пору разные слои общества бурно взаимопроникали, директора предприятий что-то перетирали с криминальными авторитетами в ресторанах, комсомольцы из райкомов задружились со спекулянтами и перекупщиками, партийные боссы пожимали руки кооператорам, забыв коммунистическую неприязнь к коммерческой деятельности, да и каждый человек стал шире распространяться в чуждые ранее области жизни: кто приторговывал, кто приворовывал, кто занимался извозом на своей, нажитой непосильным трудом, машине. Недаром появился анекдот про учительницу, которая подрабатывала по вечерам валютной проституткой, а на вопрос, как она дошла до жизни такой, отвечала: «Повезло!»

Жена моя Галина Григорьевна, сама учительница, очень не любит таких анекдотов. И современного юмора в целом. Она ничего современного не любит, считая, что настало время конца советской школы, а следовательно, конца всего.

Круглоголовый зэк увидел мои поделки, в том числе пару ножей-финок с серебряными рукоятками, я сделал их года два назад – всегда любил холодное оружие. Зэк уважительно подержал один нож, дру-



гой, попробовал ногтем остроту, спросил о цене. Я нагло заломил, он легко согласился. Купил и ушел. А вскоре Мартын, ликуя, сообщил: есть люди, готовые покупать мои ножи в неограниченном количестве. Кому-то они очень понравились. Особенно — что рукоятки из серебра.

Очень деятельный, он тут же добыл где-то муфельную печь, к ней понижающий трансформатор, буру, огнеупорную глину и все прочее, что нужно для плавки и формовки серебра. Взятся доставать и само серебро, пошел к «Кристаллу», но вернулся ни с чем. Я понаблюдал, как он пытается перехватить сдатчиков, и понял, в чем ошибка. У Мартына был вид авантюриста, барыги, человека, предлагающего очень выгодную сделку, но при этом явно криминальную. Наш же человек каков? Наш человек таков, что даже при совершении криминальной сделки хочет видеть в партнере и чувствовать в себе благопристойность, а совершаемое оправдывать вынужденностью. Не корысти ради, а волею обстоятельств. Пришлось мне взять это на себя. И процесс пошел, мы регулярно сдавали заказчикам небольшие партии ножей, получая приличные деньги. Пятьдесят на пятьдесят: я как творец и производитель, Мартын как организатор и связующее звено. Я мог бы отжать себе и больше и знал, что Мартын согласился бы, однако меня устраивало это равное разделение не только денег, но и вытекающей из этого ответственности. Оно отчасти успокаивало мою совесть, которая из каких-то глубин задавала иногда вопросы: понимаю ли я, кто и зачем покупает эти ножи. Вряд ли ведь для коллекции, очень не исключено, что ими кого-то режут. Я мысленно отвечал, что резать и гвоздем можно. Ежели человек мастерит топоры, он не отвечает за то, что кто-то будет ими рубить не дрова, а людей.

И вот стою, чего-то жду, как пелось в какой-то песне тех времен. Сыровато, холодно, осень, середина недели, посетителей мало.

Идет молодая женщина с усталым и бледным лицом. Быт заел, ленивый муж замучил, понадобились деньги. Она медлит у двери, вопросительно смотрит на меня. Я смотрю гостеприимно, но не подхожу. Она подходит сама:

— Извините, вы серебро не покупаете?

Мне этот вопрос не нравится. Уж очень как-то прямо. Вдруг подстава какая-нибудь?

— С чего вы взяли? — спрашиваю с удивлением, с нотками гражданской обиды.

— Подруга сказала, что... Она вас описала, это ведь вы?

А женщина вполне ничего. Пожалуй, красивая даже, если бы ей еще отдохнуть и получше одеться. Под плащом угадываются стройные формы. Да, я женат, но давно и привычно неверен жене, и мне всегда мало.

Но я осторожничаю.

— Что за подруга?

Она описывает подругу. Действительно, была такая несколько дней назад. Я говорю с женщиной, а сам рассеянно глазею по сторонам — так обычно себя и ведут матерые барыги. Не проявлять лишнего интереса к клиенту и товару, сбивать цену.

Говорю ей:

— Я этим не занимаюсь, просто бабушка просит сервис восстановить. У вас что?

— У меня целый набор, — она приподнимает пакет, который держит в руке. — Шесть ложек, шесть вилок, шесть ножей, всего по шесть.

На подставу не похоже, слишком жирная наживка.

— Надо бы посмотреть, — говорю ей. — Я сейчас пойду, а вы идите за мной, не сразу. Где сверну, там тоже сверните.

Она радостно кивает. Ни тени тревоги и настороженности. Мне самому бы насторожиться, но я уже заранее радуюсь богатой добычей.

Неспешно иду, посматривая, нет ли чего подозрительного. Но проспект почти пуст.

Сворачиваю в подворотню, она следует за мной. Идем во двор.

Стоя у стены, беру из сумки тяжелую коробку. Открываю. Вижу несколько ложек и вилок серебряных, а всё остальное — мельхиор. И даже узоры на ручках разномастные. Мне бы бросить все и бежать, но женщина дышит рядом, глаза взволнованные. Она ведь не обязана разбираться в этих вещах, сказал ей кто-то, что это сплошь серебро, она и поверила.

— Послушайте... — начинаю я сочувственным голосом.

И тут кто-то меня хватается за руку.

Я слышу голоса, я вижу красную повязку на руке, а потом какое-то удостоверение, меня ведут через двор — не на проспект, а на параллельную улицу имени 20 лет ВЛКСМ.

Усаживают в машину.

Спрашивают имя, фамилию, требуют документы. С собой у меня ничего нет.

— Ввезем в отдел, — говорит кто-то.

Едем.

Я прихожу в себя и говорю — внушительно, размеренно и спокойно:

— Это какая-то ошибка. Я хотел кое-что сдать в скупку, но я человек неопытный. Девушка подошла, тоже сдает, я сделал вид, что покупаю, а на самом деле хотел посмотреть, что сдают. Для ориентировки, понимаете?

– Ага, уже верим!

Машина обычная, не милицейская. И люди, трое, включая водителя, – не в форме, а в гражданском. Не начинают допроса сразу же, по горячим следам, по-малкивают, будто опасаются сказать что-то лишнее.

– Вы из какого отдела? – спрашиваю.

– Тебе какая разница? – раздраженно спрашивает тот, кто за рулем.

Непорядок. Обычно за рулем самый младший, с чего он взял на себя инициативу?

– А можно еще раз удостоверение посмотреть?

– Обойдешься.

– Я имею полное право. Откуда я знаю, может, вы бандиты...

Неосторожно сказано, я тут же получаю удар кулаком в висок.

Теряю сознание.

Очнувшись, вижу, что нахожусь в какой-то комнатке. Судя по маленьким окошкам, низким потолкам и металлической кровати, на которой грудится по-деревенски куча больших подушек, увенчанная маленькой, поставленной уголком, я в каком-то частном доме. Тихо. Наверное, окраина. Я полулежу в низком кресле.

Входит человек, смотрит на меня, говорит:

– Очнулся!

И ведет меня в зал. В горницу. Круглый стол в центре, накрытый клеенкой.

С нее кровь легко отмывать, думаю я.

Передо мной садится человек. Лица сейчас не помню, да и неважно.

– Ты понимаешь, где ты? – спрашивает.

– Думаю, что не в милиции.

Человек смеется, довольный. Но сам себя обрывает и приступает к делу.

– На самом деле в милицию мы тебя запросто можем сдать. Так, Дима?

В комнату всовывается кто-то в милицейской форме и весело отвечает:

— Так! И еще спасибо скажу за помощь в выявлении!

— Вот именно. Скупка драгметаллов, нелегальное производство холодного оружия, ты знаешь, сколько тебе за это будет? Понимаешь, куда ты полез?

— Чего вы хотите?

— Молодец, конкретный парень, — хвалит человек. — Ладно, в самом деле, без резины, скажу, чего хотим. Ножики будешь делать для нас.

— Я не один...

— Знаем. С напарником твоим, считай, договорились.

— А заказчики?

— С ними тоже договоримся. По-свойски. А ножиков нам надо по десять в неделю.

— Это нереально. У меня не штамповка, я гравировую, там напайки, там... Там много работы.

— Дадим помощников. Но чтобы качество сохранялось. Чтобы все фирменно — смирновские ножи.

— Какие?

— Смирновские. Ты же Смирнов?

— У меня двойная фамилия, я прибавил материнскую. Смирнов-Ворохин.

— Неважно.

Он достает нож, кладет на стол.

— Твое клеймо?

Я смотрю: да, мое, буква «с», черточка, «в», твердый знак. «С-въ». Таким образом я хотел и прославиться, и не засветиться. Дурачок. А они, оказывается, смирновскими ножами уже называют. И ведь звучит! Наряду со смирновской водкой.

Но нужно ли мне это? Делать два-три ножа в неделю, продавать кому-то — обычная подработка, мелкое

кустарничество. А тут предлагают открыть целое подпольное производство. И к чему это приведет? Ни к чему хорошему это не приведет.

Я тяну время, задаю лишние вопросы, а сам думаю.

— Где я серебра столько возьму?

— Обеспечим.

— И печка у меня маломощная.

— Дадим мощную. Все дадим.

— Главное — отделка. А отделку я никому не поручу.

— Вот и будешь заниматься только отделкой.

Ничего на ум не приходит. Понимаю, что нужно отказаться, — но как?

Решаю: согласиться для вида. А потом что-нибудь придумать. Пойти в милицию, например. В это время вижу через дверь мелькнувшую милицейскую форму, слышу веселый, дружеский разговор, понимаю, что ни в какую милицию не пойду. Справлюсь сам.

И я соглашаюсь.

Мне завязывают глаза. Не до смеха, но я нервно смеюсь, очень все кажется глупым, будто в кино.

— Правильно, с юмором надо ко всему относиться, — слышу голос.

Увидев на следующий день Мартына, очень доброго и веселого, имеющего такой вид, будто он ничего не знает, я сразу понял, что он знает все. Больше того, возможно, не без его участия придумано вчерашнее задержание, очень уж все бестолково, глупо, показушно. Зачем? — могли бы просто прийти в нашу хибару на улице Песочной, где мы устроили мастерскую, и прямым текстом все объявить.

— Ты же в курсе всего, сволочь? — спросил я Мартына.

— А чего ругаться сразу? Они тебя били?

— Нет.

— А меня били, вот, смотри! — показал он застарелый синяк на скуле. Возможно, супруга угостила чем-то, она у него буйная и такая же дурковатая, как сам Мартын, особенно когда выкушает бутылочку самодельной водки, которой приторговывает.

— В любом случае — мы влипли, Мартын.

— Почему? Наоборот, мы теперь наемные работники. Нас заставили! Я смотрел уголовный кодекс, если кого принуждают, он не виноват!

Мартын давал мне отмазку не только от Уголовного кодекса, но и от моей совести, которая что-то там неразборчиво, но явственно бурчала. Нет, вовсе не дурак был этот Мартын.

Спалить нашу хибару? — думал я. Предоставят другую. Уехать в другой город вместе с женой и сыном? Найдут, да и нереально это. Галина не согласится. А если бы и согласилась, как я оставляю маму? Покалечить руки? Я ими не только кормлюсь, я не остыл еще чистым художеством заниматься, для себя.

Что же делать?

...

Будь я настоящий писатель, я придумал бы, наверное, какую-то эффектную концовку, но это не рассказ, это обычная история из моей обычной жизни. А в жизни было так: почти год я делал эти ножи, неплохо зарабатывал. Потом платить стали все меньше, ссылались на падение спроса, на конкурентов, на то, что появилось огромное количество подделок.

И в один прекрасный день сказали: все, спасибо, больше не нужно.

Что строгали и резали моими ножами, кого, возможно, убивали, не знаю до сих пор. Марка или, как говорят сейчас, бренд, не засветилась, не обрела широкой популярности, и слава богу. Как-то я набрал в интернете: «смирновские ножи» и вздрогнул, увидев, что есть такие. Но быстро разобрался, это от на-

звания улицы Смирновская в Люберцах. Их там даже не производят, а продают оптом, база там какая-то. Охотничьи и столовые, вполне мирные. Наткнулся на описание товара: «Нож-слайсер+вилка. Продавец ООО “Мир книги”, ул. Смирновская, д. 4, материал – полипропилен, нерж. сталь, изготовитель “Шеньчжень Чанюаньхэ Индастриал”».



# ВНЕ

(1990)

Двери и окна палат открыты настежь из-за духоты: жара давит уже который день.

Сейчас бы на Волгу, на острова или хотя бы на городской пляж.

Но я твердо пообещал жене своей, Галине Григорьевне, и еще тверже маме, что, как только оклемаюсь, поеду в эту клинику и лягу на лечение.

Да и сам понимаю: пора. Мне без малого тридцать один год, но я уже серьезно болен. Я признался в этом себе, это главное.

С профессором Новоселовым, главврачом клиники, договорился отец Галины, откуда-то он его знает. Впрочем, он может договориться с кем угодно, такой у человека талант — договариваться. И позже, в девяностые, процвел именно поэтому: в ходу и в цене были люди, которых так и называли — переговорщики.

Новоселов, грузный человек лет сорока, с короткой седоватой стрижкой и очень свежим лицом, опрятный, пахнувший одеколоном, встретил меня ироничным вопросом:

— Художник, значит? Творческий человек?

Возможно, он ожидал, что я понурюсь и покаюсь: ваша правда, художник, так уж мне не повезло! Но я не люблю фамильярности, поэтому ответил серьез-

но и веско, показывая этим, что не разделяю его игривого отношения к творческим профессиям:

– Да, художник.

– Один пришел?

– А с кем еще?

– Обычно жены приводят, родители. А то и дети отцов приволакивают.

– Я пришел сам. Один.

– Уже хорошо. Ну, и как сами оцениваете, насколько вам нужно лечение? Некоторые ведь как считают: чуть поправлюсь и опять начну помаленьку. Я же не алкоголик!

– Я так не считаю. Я алкоголик.

– Неужели?

Мне показалось, что Новоселов слегка разочарован. Наверное, привык к другому ритуалу: пациент отнекивается, уверяет, что просто слишком увлекся, а так нормальный человек – и тут-то профессор ему блистательно доказывает, что на самом деле все очень плохо, болезнь запущена, впереди неизбежная гибель, и только он, Новоселов, – последний шанс для несчастного.

Есть же, например, следователи, любящие процесс допроса и собственное мастерство в уличении преступника, а тут преступник явился с повинной и сознался сходу. Скучно.

Все же он поспрашивал меня – как давно началось, какие симптомы и синдромы, как часто, в каких количествах. Я отвечал четко и ясно.

– Ясно, – подвел черту Новоселов. – Знаете, это даже плюс, что вы так рано дошли до края. Больше шансов выжить. Ну, пойдете, посмотрим, куда вас положить.

Этого я не ожидал. Я думал: сначала побеседуем, потом я вернусь домой, обсужу еще раз с женой, с мамой...

– То есть прямо сейчас? – спросил я.

— А чего откладывать? Или уже передумали?

— Нет.

И вот мы идем по коридору. Новоселов заходит в палаты, с грубоватой свойскостью задает вопросы больным, которые вскакивают с коек и вытягиваются перед ним, как солдаты перед командиром.

В одной из палат медсестра перестилала койку.

— Вот тут и будете, — указал Новоселов.

Палата была на восемь коек, в два ряда, изголовьями к стенам. Несмотря на легкий ветерок из окна, дух здесь был тяжелый. Пахло лекарствами и залежалыми людьми. Одно скользящего взгляда хватило, чтобы понять: народ тут, что называется, простой, незамысловатый.

Галина тоже побывала в больнице год назад с подозрениями на женскую болезнь, к счастью, не подтвердившимися. Лежала два дня в палате на двенадцать коек, пока папа не устроил ей одноместный люкс. Были, были уже люксы в советское время, выделявшиеся не за деньги, а за статус или по знакомству. Хотя и без денег не обходилось. Вернувшись домой, Галина рассказывала:

— Витя, народ у нас, оказывается, страшно тупой! Дюжина теток — не с кем поговорить! Ты бы слышал, о чем они болтают, это... Я даже передать не могу. Дремучие, необразованные, ничего не читают! Что происходит в стране — без понятия! Только на все ругаются.

— Тебе просто в жизни не повезло. Или повезло, — объяснил я ей. — Культурные родители, лучшая школа города, потом университет, потом опять культурная среда — преподаватели. Ну, сталкивалась с народом — в очередях, в транспорте. Мимоходом. А тут столько — в одном месте.

— Точно, точно! Нет, наверно, они каждая на своем месте делают что-то полезное, — Галина по учи-

тельской привычке поспешила найти положительную сторону. — Но должно же быть еще что-то для души, для интеллекта, для... Хоть для чего! А там только одна бабушка вязала, да еще девушка журнал какой-то читала, одну страницу целый час. И все! Остальные просто лежали, как колоды! Мужчины, я видела в других палатах, хоть в карты играют, в домино, а они... И ведь это и есть наш народ, понимаешь? Его большинство, понимаешь?

— Давно понял. И что?

— Да ничего. Грустно.

И вот сейчас мне тоже предстояло окунуться в народную гущу.

Я попытался оттянуть этот момент. Увидел, что многие в тренировочных штанах, в рубашках или майках гражданского вида, сказал:

— Знаете, я не думал, что сегодня. Не взял сменной одежды...

— Пижамку дадут! — услышал меня и бодро закричал тощий мужичок, сидевший на постели, скрючившись. Он постригал на ногах желтые ногти.

— Ты бы в сортир пошел хоть, Юриков, — сказал ему Новоселов.

— А я в ладошку соберу и выкину, Пал Матвеич, не беспокойтесь! — весело ответил тощий.

— И жену не предупредил, — медлил я.

— В холле автомат, позвоните. Люся, принесите пижаму ему.

— Хорошо, — сказала медсестра. — У вас рост четвертый, размер сорок восемь?

— Точно.

Она ушла. Сейчас принесет пижаму, и отказываться будет совсем неудобно.

— Павел Матвеевич, я вот что подумал, — сказал я. — Может, стационар — не обязательно? Я понимаю,

что проблема серьезная, я настроен решительно. Может, амбулаторно? Пить таблетки и уколы делать. Буду приезжать, сколько нужно.

Мужчина с очень большим животом, в застиранной зеленой майке, повернул голову и проговорил с такой откровенной неприязнью, словно сразу же невзлюбил меня:

— В падлу ему тут лежать, ё! Фраер!

— Вот именно! — с усмешкой поддакнул Новоселов.

Мне стало неловко — будто услышали мои мысли.

Новоселов взял меня за руку, отвел к окну коридора и сердито спросил:

— Ты думаешь, ты другой, да? Что они — конченные алкаши, а ты — художник, белая косточка? А я тебе скажу, болезнь у тебя абсолютно такая же. И дворники, и народные артисты болеют — одинаково!

Я попытался возразить:

— С точки зрения психологии...

— Какая психология! Вот инфаркт, например. Он — для всех инфаркт, понимаешь? Понятно, мозги потом помогают кому-то, хотя бывает и наоборот. Но — потом. А сейчас ты — такой же алкаш! Да, алкаш — и извиняться не буду! Точно такой же! И если ты этого еще не понял — до свидания, приползешь, когда будешь подыхать.

Он промокнул аккуратным платочком мокрый лоб и вытер губы.

— Ну? Ваше решение?

И я остался.

Медсестра Люся принесла пижаму.

— Одежду вашу пока не забираю, сестра-хозяйка ушла уже, закрыла гардеробную. Вы свои вещички до завтра в тумбочку аккуратно сложите.

— Хорошо.

Я переоделся, лег.

Вспомнил, что не позвонил жене. Пошел в холл, позвонил, объяснил.

– Вот и хорошо, – сказала Галина. – Завтра с утра у меня подряд уроки, потом еще кое-что, к вечеру приеду.

– Да не обязательно.

– Приеду, не скучай. Что привезти из еды?

– Тут все есть, – сказал я, не зная, что тут есть на самом деле.

Вернулся, опять лег и стал вживаться.

Тот, кто стриг ногти, собрал их в горсть и вышел.

Мужчина в зеленой майке лежал неподвижно, глядя в потолок. Тяжело дышал, страдая от жары. Двое перекидывались в картишки. Рядом с ними дюжий мужчина с крупным лысым черепом плел что-то из лески, насколько я понял – сетку-косынку для ловли рыбы. Мужчина с гладко выбритыми щеками, в ярко-голубом спортивном костюме, лежал на боку и смотрел поставленный на тумбочку красный маленький телевизор со штырем-антенной. На экране двигались какие-то бледные тени. Стригший ногти вернулся, спросил:

– Чего передают?

– А хрен его знают, звук плохой, – ответил человек в голубом костюме и продолжал смотреть. Был еще один, лет сорока, ладно сложенный, в белой футболке, он читал какую-то книгу и с улыбкой посматривал на меня, будто собирался заговорить. Но не заговаривал.

Мне было худо.

Словно я опять попал в пионерский лагерь, и это мой первый день, я никого не знаю, да и не тороплюсь узнать, я скучаю по дому, мне тяжело до слез.

Главная неприятность, которую я обнаружил сразу же: я не умею ничего не делать. Я всегда чем-то занят: работаю, общаюсь, читаю, смотрю телевизор, да

мало ли. Раньше никогда такого не было: лежать наедине со своими мыслями. С похмелья — да, но это совсем другой процесс. А чтобы просто лежать и о чем-то думать — не привык.

Даже обидно стало: что же, мне и подумать не о чем?

Попытался. Ничего не лезло в голову.

Тоска и пустота.

И тут подсел ладный мужчина, читавший книгу.

— Как зовут?

— Виктор.

— Костя. Повезло вам, одежду оставили. А я свою прячу. После ужина исчезну — и вам советую.

— Разве можно?

— Запросто! Забора вокруг клиники нет, тут же не ЛТП\* какой-нибудь, дело добровольное! Веяние времени, видите ли!

Судя по разговору, Костя был человеком интеллигентным, моего круга.

— Главное, вернуться к семи утра. А выйти — через окошко, лето же! Да хоть и через дверь, мужики же ходят покурить. Выйти, потереться — и раствориться в сумерках!

— Могут заметить.

— И что? Если ты режим лечения не нарушил, не выпил, то ничего, прикроют глаза. Выписывают до срока только тех, кто сорвался, напился.

— Домой на побывку ходите? — спросил я.

Костя усмехнулся.

— Наоборот.

— Это как?

И Костя с неожиданной откровенностью рассказал. Он много работает, у него крепкая семья, но ра-

---

\* ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий, советское исправительное учреждение, куда люди попадали по решению суда и содержались под охраной.

бота, какая-то посредническая, почему-то была связана с обязательной выпивкой. А еще Костя увлекался женщинами. Но этому увлечению мешали и семья, и работа, и пьянство.

— И вот я ложусь сюда раз в полгода, прихожу в себя — и отыгрываюсь. Подружки ведь есть, Витя, и много, но с ними сроду то наспех, то в пьяном виде, а это совсем не то! Не те ощущения! А сейчас вот пойду к одной, роскошная совершенно дама, и у меня впереди целый вечер и целая ночь! Никуда не спешить! И никто при этом не знает, где я. Я выпадаю, я — вне, понимаете? Кто здесь, считают, что я домой пошел, а дома считают, что я здесь. Ловко?

Я согласился.

И этот ловкий Костя после ужина, состоявшего из кома перловой каши и кружки чая, пахнувшего немывыми ногами, исчез.

Люся принесла на подносе таблетки, раздала всем. И мне тоже — сразу две.

— Это что?

— Назначение.

— Понимаю, но — название, для чего?

— Для здоровья.

Я не стал больше расспрашивать, проглотил таблетки.

Лежал и думал.

А ведь действительно, я — вне. При всех моих походах налево и загулах ночевал я всегда дома во избежание гнева жены моей, Галины Григорьевны, о разводе с которой я регулярно думал, но сам развод все оттягивал и оттягивал.

И не то чтобы чужие мы люди, с горечью размышлял я, но — нету любви, что ж тут поделаешь. Нет влечения. А вот к Ларисе Штокман, с которой я регулярно встречаюсь, влечение есть. И к ней, и к Марине Ельниковой, с которой встречаюсь еще реже, часто



спяну, но — бурно. И, конечно, к Вере Коровиной, к моей Вере, которую я не видел уже года три и с которой у меня ничего не было — то есть не было того, что с Ларисой и Мариной. Как она поживает, интересно?

И давно ведь хотел сходить, навестить, но что-то мешало. Да еще постоянный жесткий семейный контроль...

Через полчаса я шел по улице, шел по родному городу, как по чужому, будто я служил тут в армии и убежал в самоволку.

Но знакомые все же могли встретиться, поэтому я с опаской поглядывал по сторонам.

Позвонил из автомата Ларисе, она ответила:

— Да, слушаю!

— Это я.

— Слушаю вас! — повторила Лариса.

— Виктор я, Витя, не узнала?

— Да, говорите!

Я понял, что у нее дома муж. Повесил трубку.

Муж ее — тренер, постоянно ездит куда-то с юношеской гандбольной командой. И оказался дома именно тогда, когда у меня свободный вечер. И даже ночь. Досадно.

У Марины телефона не было, она жила в старом двухэтажном доме, в коммуналке, в двух каморках, с матерью, очень пожилой женщиной. Марине и тридцати нет, а матери по виду чуть ли не семьдесят. Марина любит серьезные разговоры о книгах и философии, увлекается аюрведой, лечит себя и других. Не прочь выпить, но, в отличие от меня, всегда знает меру. О себе прямо говорит: «Я до мужиков жадная», — считая, что в этой милой циничности есть своей шарм. Может, и есть. Я к ней всегда почему-то приходил пьяный, она ничуть не обижалась, выпивала со мной, укладывала в постель и начинала разнообразно

безобразничать, пугая криками и стонами мать-старушку, которая подходила к двери и громко спрашивала (была глуховата):

– Мариночка, все в порядке?

– Да, у нас тут просто домашний театр! Мы с Витей играем!

– Ну, играйте...

В хмельном виде я был удивительно устойчив и мог держаться часами, это Марине как раз и нравилось.

– Трезвый ты скучный и хочешь казаться умней самого себя, — говорила она. — А пьяный ты — животное. Но безобидное и веселое. Ты улыбаешься как дурак, тебя все устраивает, и ты такой в это время милый!

Марина оказалась дома.

Я рассказал, что сбежал на ночь из клиники, что давно ее не видел и соскучился, она сварила кофе. Мы пили кофе, курили и разговаривали о том о сем. Я видел, что она ждет не разговоров, а дела, но не мог приступить. Впервые обратил внимание, что постель у нее вечно разобрана, простыни и подушки мятые и, кажется, не очень свежие. Некстати вспомнил, что под кроватью Марина держит ночной горшок. Ленясь одеваться, чтобы пройти в общий туалет, она частенько пользовалась горшком прямо здесь, прося отвернуться. Мне это казалось забавным — но не теперь.

Я пересказал Марине слова Новоселова о том, что мы все равны перед болезнями, что не надо возноситься гордыней, и поинтересовался, как на это смотрит аюрведа.

Марина, конечно же, охотно объяснила, разбив доктора в пух и прах, удивившись, за что ему профессора дали, если он не знает, что лечить надо не болезнь, а человека.

— В твоём случае это уж точно так. Не таблетки тебе нужны и не уколы.

— А что?

— Первое — уйти от Галины.

— К тебе.

— Ещё чего? Какой ты муж?

— Я неплохой муж. Обеспечиваю семью и...

— Ты будешь изменять мне через день после свадьбы.

— Не такой уж я и бабник.

— Ты совсем не бабник. Ты несчастный человек. Тебе всегда мало своего, тебе нужно чужое.

— Это ты так считаешь.

Марина оборвала спор. Ничто так не вредит здоровому и приятному сексу, как интеллектуальная беседа.

— От тебя больницей пахнет, — сказала она. — В душ не хочешь?

— В ваш? В который десять соседей ходит?

— Пятеро, включая меня с мамой. И у меня отдельный коврик — для себя и для своих.

Зря она упомянула своих. Я глянул на ее бывалую, видавшую виды постель, и понял, что хочу домой, к жене.

Меня это удивило.

Я попытался преодолеть: подсел к Марине, обнял за плечи.

Она тут же потянулась целоваться.

Я целовал ее и разглядывал комнату. Старинное напольное зеркало в деревянной раме, стекло все в трещинках по краям. Письменный стол, тоже старый, заваленный книгами, под столешницей два выдвижных ящика, один с ручкой, а у второго ручки нет. Как она его открывает, интересно?

— Может, выпьем? — спросила Марина. — У меня есть, как ни странно.

– Привет тебе, моя любовь, я в клинику сдался лечиться, а ты...

– Ерунда это все. Ты никогда не бросишь.

Это был повод обидеться.

– Брошу, Марина. Все очень серьезно. Очень. И, знаешь, вернусь-ка я туда.

Она всегда была очень чуткой, поняла мое настроение и не стала удерживать:

– Дело твое. Тогда иди, я одна напьюсь. У меня от твоих разговоров о трезвости страшное желание выпить.

– Закон противоречия.

– Наверно.

Я позвонил Вере. Откуда знал телефон, не помню. Неважно. Адрес тоже знал.

Вера, как всегда, обрадовалась.

– Я тут рядом, мог бы зайти, если не помешаю.

– Да, конечно!

Я был не рядом, поэтому поймал такси. И через полчаса был у Веры.

Она оказалась одна.

– А где муж, дети?

– Детей у меня – только дочь, ты забыл? Она у бабушки на даче. А с мужем мы разводимся. Сейчас у своей мамы живет.

– Что так?

– Во-первых, стал пить по-черному. Каждый вечер приходит пьяный, а дочь это видит, а ей уже почти двенадцать, она абсолютно все понимает, ты не представляешь, какая она умная и взрослая девочка! И такой стал наглый, даже не оправдывается, говорит, что по делу! Пить по делу – это нормально? Нет, он, конечно, не так чтобы совсем пьяный, он держаться умеет, надо отдать ему должное, но каждый вечер, представляешь?

Я наскоро позавидовал: я бы и сам хотел уметь держаться, выпивая каждый вечер. Но — увы.

— И потом, — рассказывала Вера, — у него какие-то отношения с какими-то непонятными людьми. Такие типы к нам приходили, это что-то! Бандиты, Витя, я тебе серьезно говорю, натуральные бандиты!

— Он по-прежнему в комсомоле? — я помнил, что муж Веры был шишкой в областном комсомольском комитете.

— Да, но чем там занимается, непонятно. Мне говорит, чтобы я искала другую работу. Я же тоже второй секретарь райкома.

— Выросла!

— Витя, я уже четвертый год на этом месте, ты просто не помнишь.

— Прости, да, я плохо запоминаю такие вещи. То есть вы развелись по идеологическим соображениям?

— Не смейся, но и по ним тоже. Нет, я понимаю, все шатается, перестройка, я не против, отменили однопартийную систему, я тоже согласна, потому что слишком стало все заорганизовано и формально, но считать, как он, что комсомол и партия рухнут... Во-первых, это невозможно, потому что общество без идеологии рассыплется, а главное, если ты так считаешь, как ты можешь работать в этой структуре? Честно уходи тогда, вот и все!

Мне всегда становилось немного не по себе, когда она так говорила, я вглядывался: не шутит ли? Кроме нее, я мало знал людей, которые так горячо и искренне были бы привержены коммунистической идее. Да и эти немногие в последнее время уже не горячились. Иногда мне хотелось попросить ее произнести что-то вроде: «Будучи работником райкома комсомола, я координирую многогранную работу по воспитанию молодежи на традициях старшего поколения, на при-

мерах ветеранов комсомола, войны и труда, организуя слеты, а также походы по местам революционной, боевой и трудовой славы», — и посмотреть, как она после этого рассмеется. Но в том-то и дело, что она могла произнести подобные вещи серьезно, с верой в свои слова. Невероятная женщина.

Она угощала меня чаем и вареньем, сидела напротив, крутя в пальцах чайную ложечку. Мне подумалось, что у себя на работе, за райкомовским столом, она тоже так вот крутит в пальцах, только не ложечку, а ручку. Привычка. И я показался себе младшим сотрудником, которому эта комсомольская богиня\* втолковывает цели и задачи предстоящей горячей работы. Хотя она сейчас не втолковывала, а делилась своими печальями:

— Витя, ты понимаешь, что происходит? Меня и раньше дурочкой считали, потому что слишком серьезно ко всему относилась, а сейчас чувствую себя совсем идиоткой. Но я никогда не была тупой идеалисткой. Думаешь, не видела, какие перекосы вокруг?

— Не перекосы, Вера. Сгнило все. Под корень.

— Неправда! Я столько в жизни видела людей — хороших, чистых, настоящих... Очень много! — горячо сказала она. Но тут же, как честный человек, исправилась. — И даже пусть не так много, как хотелось бы. Пусть даже мало. Но они, как тебе сказать... Они люди из будущего, куда мы все хотели, разве нет?

— Вера...

— Ты дослушай! Не только же личное и мелкое у людей есть, это скучно, есть же что-то общее! Его надо растить, воспитывать, для этого время нужно! И терпение!

— Нет времени, Вера. Не дадут нам его.

— Кто не даст?

---

\* Слова из песни Б. Окуджавы.

— Капиталистическое окружение. Воспитать людей, чтобы они сознательно выкладывались на работе для общего блага, надо лет двести. А за деньги они будут готовы даже не через двадцать лет, а сразу. Они фатально обгоняют, понимаешь? Осел, у которого впереди клочок сена, бежит быстрее, чем осел, у которого впереди идея клочка сена.

— Да не в сене же дело! Ты вот разве только для материальных вещей живешь?

— Ну, сейчас мне вообще ни до чего, — увел я от темы. — Я сейчас приболел маленько. То есть ничего не болит, но хронически болен.

— А что случилось?

— Говоря прямо и грубо — алкоголизм.

— Ты шутишь?

— Нет.

— Значит, тогда был не просто случай?

«Тогда», то есть лет пять назад. Я напился, меня потянуло к Вере. Обычно я ей звонил, признавался очередной раз в любви, а потом пропадал на полгода, на год. А в тот раз не стал звонить, приперся. Плохо помню, что было. Помню, сидел на кухне, разглагольствовал на общие темы, появилась девочка, ее дочь, я пытался ее обнять, сказал, что люблю ее маму, девочка исчезла. Вера попросила меня уйти, я сказал, что уйду немедленно, но мне плохо и надо немного выпить. У меня две стадии, сказал я. Когда выпиваю средне, то буйный, а когда добавлю, тихий и спокойный.

Этих слов я тоже не помню, но обычно всем так говорил, когда выпрашивал выпивку. И Вера достала что-то импортное, в нарядной бутылке, я выпил. Тут пришел ее муж. Я говорил с ним по-хамски, заявил, что люблю его жену — и всегда буду любить. Потом провал, потом вижу себя в прихожей у вешалки, муж меня встряхивает и одевает, но не бьет. Потом я дол-

го сидел на лестнице в подъезде. Кажется, поспал. Потом где-то шел, а потом как-то оказался дома, где и заснул...

– Да, Вера, это был не просто случай. Но теперь все, твердо решил завязать. Лечусь.

– Это правильно. Ты такой умный, талантливый. Чем сейчас занимаешься?

– Неважно. А знаешь, почему я спился? – я взял ее руку.

Не ту, которой она вертела ложечку, та рука казалась чужой и неприступной, деловитой и даже какой-то официальной, я взял другую, которая просто лежала на столе – по-домашнему, беззащитная.

Вера опустила голову.

Я понимал, что все это бессмысленно, что она не хочет слушать, а мне не надо говорить. Но не мог удержаться.

– Если бы мы жили с тобой. То есть... Ну, ты понимаешь. Тогда все было бы по-другому.

– Витя, ты замечательный...

– Не продолжай. Я понял.

– Знаешь, честно скажу, если бы ты пришел год назад, я бы, наверно, не так все восприняла. Было такое состояние... Я даже жалела, что ты пропал.

– Могла бы найти.

– Постеснялась. Но что теперь говорить... Сейчас мне не до этого. Очень сложный период. И с мужем, и с работой... И дочь непростая растет.

Она высвободила руку.

Я понимал, что самое лучшее – сейчас же уйти.

Вместо этого попросил еще чаю.

Молча ждал, когда вскипит чайник, когда она нальет, придвинет вазочку с вареньем.

И сказал:

– Наверно, я тебе надоел со своими признаниями. Хочешь отвязаться? Давай я у тебя останусь – не бой-



ся, только на эту ночь. И все. И у меня сразу все пройдет. Гарантирую.

— Я так не могу. Это чистая физиология.

— Это милосердие. С твоей стороны.

— Не понимаю. То есть это не любовь, а ты просто меня хочешь, что ли?

— Надеюсь, что так.

— Нет, Витя. Не согласна.

Я не ожидал другого ответа.

Я сделал все, чтобы она отказала.

И скомкано, неуклюже, глядя в сторону, начал вдруг рассказывать о том, что сейчас делаю, и Вера, только что невыносимо близкая, стала невыносимо далекой. Терпеливой комсомольской работницей, выслушивающей запутавшегося комсомольца. Того и гляди скажет, что спасение лишь в верности коммунистическим идеалам.

Уже темнело, когда я шел по проспекту Кирова, который незадолго до этого стал пешеходным\*, обрядился желтыми круглыми фонарями и получил провинциальное прозвище «Саратовский Арбат». Как всегда, было много молодежи. Девушки агрессивно модные, в таких одеждах и прическах, будто все сплошь эстрадные певички, выпрыгнувшие из телевизора. Новое поколение выросло, думал я. Им восемнадцать-двадцать, на дюжину лет младше меня. А славно бы идти в обнимку с какой-нибудь бесхитростной красоткой, чувствуя себя тоже молодым и простым. С молодыми и простыми желаниями.

У Дома Книги был винный подвальчик нового пошиба: никакого портвейна и никакой водки в чистом виде, только коктейли. Конечно, не дешевые. Слыша-

---

\* Не так уж и незадолго: в 1983 г.

лась музыка. Подземелье, музыка, выпивка — в этом была манящая веселая чертовщинка.

Но я бы удержался, если бы не девушка, стоявшая одиноко у перил. Симпатичная, стройная, странно, что одна. Я невольно замедлил шаги, девушка спокойно спросила:

— Не одолжите денег?

Раньше такого не водилось — чтобы девушки так легко просили денег у посторонних. Сейчас — сплошь и рядом. Ну, не сплошь и рядом, но часто. Раскрепощение произошло. Эмансипация. Но не сказать, чтобы мне это не нравилось. Вообще, заметил я, любые признаки снижения морального уровня в обществе нас тайно радуют, они оправдывают нашу собственную моральную невысокость или, наоборот, позволяют гордиться своим крепким нравственным духом.

— И сколько? — спросил я с улыбкой.

— А сколько не жалко.

— Может, проще, если я тебя угощу?

— Тоже вариант.

Я брошу, думал я, спускаясь с девушкой по крутой и длинной лестнице. Обязательно брошу. Я ведь твердо это решил. Я поехал в клинику. Я практически туда лег. И это надо отметить. Сегодня меня не занесет, но мне хочется хоть немного радости. Поболтать с красивой девушкой, чуть-чуть выпить. И вернуться в клинику. К утру из меня все выветрится.

Вскоре мы стояли у стойки, гремела музыка, клубился табачный дым, она что-то рассказывала о каких-то друзьях, которые ее в чем-то обманули. Я тоже что-то говорил. Мне стало хорошо, потом очень хорошо. Потом мы целовались в углу, я вжимал пальцы в ее хрупкие девичьи ребра и говорил:

— Пойдем куда-нибудь?

— Хорошо. Куда?

Ответа у меня не было.

Потом мы вышли и куда-то все-таки пошли. Она меня вела.

Оказались в квартире, где были две девушки-студентки. Одна из них мне очень понравилась. Черные волосы, синие глаза и веснушки на носу и вокруг. Немного, и очень милые. Захотелось нарисовать, о чем я ей и сказал. Мне дали школьный альбом для рисования, карандаш. Тут пришли какие-то парни. Один из них сказал мне что-то грубое, я его одернул, он схватил меня за голову и поволок к двери. Я ударил его кулаком в бок, он ответил пинком, от которого я вылетел наружу и скатился по лестнице на площадку меж этажами. Чудо, что ничего при этом не сломал. Вскочил, ринулся обратно, чтобы биться и мстить. Увидел три двери (или четыре) и понял, что не помню, из какой выпал. Можно было позвонить во все поочередно, но я как-то резко остыл.

Мне захотелось домой.

Там жена и сын.

Они меня любят.

А Галина — единственный человек, который меня полностью понимает. Хотя, возможно, именно это мне и не нравится.

Я брел по темной улице. Не мог сообразить, где нахожусь. Людей не было, не у кого спросить.

Неожиданно увидел родной дом и чуть не заплакал от радости.

Галина открыла и сказала с горечью:

— Я знала, что этим кончится.

Я обнял ее и прошептал на ухо:

— Галечка! Ты не представляешь, как я тебя люблю!

Если кому интересно, в клинику я все-таки лег и все-таки лечился. Через два года.

# ПИСАТЕЛЬ ПАША

(1992)

Я рассчитывал, что Паша даст мне ключи от двери и уйдет.

И мы останемся с Таней.

Я встретил ее в больнице, где лежал с двойным переломом ноги. Таня работала в больничной кухне, имея высшее политехническое образование. Зарплата маленькая, но есть возможность прикармливать дочь и бездельника-мужа. Тогда был дефицит самых элементарных продуктов: хлеб, масло, сахар, гречка. По сложившейся традиции больные кормились тем, что родственники приносили из дома. Вот и оставались излишки.

Мы подружились сразу же. Ходили покурить во двор. Таня рассказала про свою жизнь, улыбаясь и дивясь, что все так нелепо. Я рассказал про свою.

Смеялись и пошучивали, будто давным-давно знакомы.

Уже на другой день, вечером, я целовал ее в кухне. А на третий она свела меня, костылявшего, в подвал. Там, в уютной, сухой подвальной комнатке, набитой матрацами и кипами постельного белья, все и свершилось.

Было ощущение полного совпадения желаний. Я безошибочно угадывал, что ей нужно, Таня отвечала тем же.

Я выписался, мы продолжали встречаться.

Таня сочиняла песни, ироничные и грустные. А я нашел возможность показать ей свои картины. Тане понравилось. Это добавило радости отношениям.

Но при свиданиях мы не толковали на возвышенные темы, сразу набрасывались друг на друга.

Связь держали по телефону: я звонил в больницу, в сестринскую, что была рядом с кухней, а Таня мне домой. Иногда по ее просьбе меня звал к телефону добрый и слегка чокнутый санитар Колечка.

Однажды Галина передала мне трубку, я услышал Таню, поговорил с нею конспиративными фразами, положил трубку, Галина спросила:

— Кто звонил?

— Ты ее не знаешь.

— Кого — ее? Это был мужской голос!

Уже не помню, как я оправдался.

У нас с нею было что-то вроде наркотической взаимной зависимости.

— Я подсел на тебя, — так я и сказал ей, используя жаргон наркоманов.

Она не обиделась. Наоборот, в очередной раз позвонив, говорила:

— У меня ломка, мне нужна доза!

Самое трудное было — где. Трижды благословенна новая власть, разрешившая снимать номера в гостиницах местным жителям. Нынешнему поколению трудно поверить, но так было: житель города Саратова не имел права поселиться в гостиницах города Саратова. До сих пор не знаю, в чем смысл такого запрета. Может, в заботе о нравственности граждан. Может, опасались переполненности и без того забытых гостиниц. Или просто власти было спокойней, когда каждый советский человек ночевал дома, а не занимался в гостинице неизвестно чем.

Мы с Таней устраивались, как все в таких ситуациях: по знакомым, друзьям и подругам. Не имея в ту пору своей мастерской, я выпрашивал ключи от чужих, но Тане там не нравилось. Художественный беспорядок виделся ей беспорядком вообще, студийные диваны, топчаны и раскладушки казались недавно использованными, причем не для сна. Она была очень опрятной и чистоплотной. А на то, чтобы снять квартиру или комнату, у меня в ту пору не было денег.

И вот мы встретились после долгой трехдневной разлуки, а пойти — некуда. Кажется, это было воскресенье, все дома, свободных квартир нет. Мы гуляли, изнывая. Я на ходу листал блокнот, искал, кому бы позвонить.

Увидел: «Паша Жердев».

Паша — человек не простой, выпускник Литературного института. Он писатель, но только недавно получил возможность публиковаться. Два его рассказа напечатали в саратовском журнале «Волга», а еще один так и вовсе в «Юности». Паша составил сборник и попросил меня сделать иллюстрации. Он увидел мои графические работы на выставке, которая была организована в административном здании одного из крупных предприятий города Энгельса. Паша работал там редактором многотиражки. Пришел осмотреть экспозицию и написать статью. А я как раз читал труженикам завода небольшую лекцию о саратовском изобразительном искусстве. Рассказывал о представленных работах, в том числе о своих. Вот Паша и заинтересовался.

Мы сидели потом в кафе-стекляшке, выпивали. Быстро нашли общие темы, вернее, одну тему: прервренности любви. Паша раньше жил в Самаре, то есть тогда еще Куйбышеве, женился на интеллектуалке, считавшей его гением, они родили ребенка, но про-

изошла трагедия: Пашина жена, утомленная, легла вздремнуть рядом с грудным сыном и, как говорят в народе, приспала его. То есть во сне навалилась телом, и ребенок задохнулся. Она лечилась после этого у психиатров, которые объясняли ей, что смерть младенца во сне может наступить от множества причин, придавить его до удушья почти невероятно... Она не верила. Детей больше иметь не хотела, Пашу ненавидела, упрекала в случившемся — это он довел ее до такой степени усталости. Но уходить от него не собиралась.

— Я не мог с ней развестись, — рассказывал Паша. — Во-первых, жалко. И просто некогда было этим заниматься. То работа, то творчество.

Когда в Энгельсе нашлось место редактора многотиражки, да еще пообещали квартиру, Паша согласился, не раздумывая. Он надеялся, что перемена жизни подействует на жену живительно. И все сначала наладилось, и дали квартиру, но тут жена начала ревновать — с истериками, с битьем посуды, с угрозами покончить с собой. И, действительно, один раз резала вены.

— А поводы были? — спросил я.

— Кто не грешен? — улыбнулся Паша, обнажая желтые прокуренные зубы, из которых нескольких уже не было, а оставшиеся росли вкривь и вкось.

— Но сейчас ничего живете?

— Уехала. Устала от меня и от себя. Наслаждаюсь свободой.

— Хорошо, когда есть своя квартира, — вздохнул я. Паша тут же понял:

— А что, проблема?

— Вообще-то, да.

— Мои апартаменты всегда свободны! Тем более — для лучшего художника Саратова и области! Кстати, сейчас расскажу, какими я вижу иллюстрации.

Он рассказал и вручил рукопись книги в канцелярской папке.

Это были импрессионистские новеллы: мало сюжета, много настроения, много деталей и зарисовок, видно, что автор больше всего любит свои мысли по поводу своих мыслей. Мне эти тексты не понравились, но Паше при встрече я промямлил что-то неопределенно одобрительное. И тут же стал его другом, он постоянно названивал мне — и из дома, и с работы, часто поздно вечером или ночью и, как правило, полупьяный, вел долгие беседы о своем творчестве:

— Рассказ «Тень» — помнишь?

— Да, конечно.

— Не кажется, что я финал подсушил?

— Да нет, нормально.

— Я тоже так думаю. А вот из «Дома в лесу» можно повесть сделать. Как думаешь?

— Пожалуй.

— Там же просится продолжение: что стало с Анной?

— Да, хотелось бы узнать, — соглашался я, не помня, кто такая Анна.

Наезжая в Саратов, он обязательно звонил, заходил, выпивал со мной без моего участия, я в тот год к спиртному не притрагивался. Галина его не любила, как не любила и большинство моих друзей и приятелей.

— Богема! — говорила она. — Терпеть не могу. Творцы, гении, а у самих вечно семьи брошенные, детям жрать нечего!

— Он без семьи.

— Вот и слава богу!

Мы зашли на почту, я позвонил Паше из междугородного автомата.

Он ответил сонным голосом.



Я напомнил, что он обещал предоставить апартаменты, когда понадобится.

— Не вопрос! — сказал он. — Уйду хоть на целый день. Только я не в форме, поправишь меня?

— Поправлю.

Мне повезло: в ближайшем гастрономе оказался коньяк. Больше ничего не было, а коньяк для обычных покупателей слишком дорог. Вот он и выстроился там на целую полку. Зачем-то я точно помню, что это был грузинский коньяк. С синей этикеткой. Три звездочки. С непозитичным названием «Самтрест». Острота памяти на такие вещи, возможно, объясняется тем, что весной того года я прошел курс реабилитации в наркологической клинике и был уверен, что моя болезнь позади. Поэтому поневоле запомнил то, с чем прощался.

Кстати, ногу я сломал через месяц после своего решительного лечения. До этого падал в пьяном виде — и на ровном месте, и с лестниц, и даже, было дело, из окна второго этажа, и ничего, кроме ушибов, а тут был трезв, честно шел домой, решил перепрыгнуть, спрямляя путь, металлическую ограду, отделяющую дорогу от тротуара, нога попала меж прутьев — и будьте любезны. Морали в этом, конечно, никакой, просто случай.

Мы поехали в Энгельс. Дорога через мост троллейбусом, а потом автобусом заняла полтора часа. Паша жил в панельной новостройке на краю города, в конце Волжского проспекта. Я видел, что Тане все это не очень нравится, отвлекал ее разговорами. Погода была славная, и вид на Волгу, вдоль которой проходила дорога, открывался замечательный. Я указывал Тане на это, но она смотрела довольно хмуро. Возможно, чистота голубого неба и широкая гладь воды напоминали ей, что в ее жизни не все так чисто и гладко.

В дверь я звонил долго.

Наконец Паша открыл. Заспанный, мятый. В однокомнатной квартире голо и убого, раз и навсегда разложенный диван застелен каким-то скомканным тряпьем. Запах соответствующий.

Увидев Таню, Паша поклонился и широко повел рукой:

– Прошу!

Таня глянула на меня с недоумением, почти с испугом, сделала пару шагов и остановилась.

Паша выхватил бутылку у меня из руки, шмыгнул в кухню.

Я прошел за ним.

На столе невымытые стаканы, банка с остатками консервов, пепельница, набитая окурками, полбуханки хлеба – видно, что не резали, а рвали руками. Паша налил себе три четверти стакана, подумал, добавил еще несколько капель.

– Для поправки хватит.

Выпил, не отрываясь, двигая кадыком, оторвал кусок хлеба, пожевал, выдохнул.

– Проходите, чего вы? – позвал он Таню, которая так и стояла в прихожей.

Таня прошла, огляделась. Паша взял табуретку, вытер ладонью, поставил перед нею. Она села.

Паша отошел к подоконнику, сел на него, закурил, весело осмотрел меня и Таню и спросил:

– Значит, это вы, прелестница, отдаете свою красоту этому бездарному уроду?

Таня встала.

– Витя, мне кажется, мы не вовремя.

– Сударыня, мадам, леди, вы что? – закричал Паша. – Вас Витя не предупредил? Я дурак, и шутки у меня дурацкие! Стиль такой, понимаете ли. Я травестирую обыденность! На самом деле ваш Виктор красавец и самый талантливый человек Саратова и Эн-

гельса! После меня. Но нас нельзя сравнивать, я писатель, он — художник. Он вам давал почитать мою книгу?

— У вас уже вышла книга? — вежливо спросила Таня.

— Еще нет, но скоро. Витя, ты не давал? Ну, ты гад! Значит, Галина не знает, кто я?

— Это Таня, — сказал я.

— Почему?

— Потому что Галина — его жена, — сказала Таня, глядя в угол, где на полу лежал разрезанный арбуз, а над ним вились осы.

— Пардон, я опять дурак! Танечка, то, что вы видите, это не я! Это чудище пьяное, страшное, которое на подоконнике сидит, дешевую «Приму» курит, видите?

— Вижу.

— Это не я. Настоящий я — в книге. Но вы не читали. Сейчас.

Паша спрыгнул с подоконника, убежал.

— Пойдем, — сказала Таня.

— Он скоро уйдет. Мы столько ехали...

Паша вернулся с папкой. Раскрыл, листал.

— Вот. Этот. Нет, этот длинный. Этот. Да.

Он взял стопку листов, угнездился опять на подоконнике и объявил:

— «Курилка»! Это название.

— Паша... — сказал я.

— Он небольшой. Прочту и уйду. Десять минут.

Он начал читать рассказ. Рассказ был о его работе в редакции комсомольской газеты. В одном здании помещались и партийная газета, и еще какие-то редакции, и издательства. А курилка была общая — в полуподвальном помещении. Герой рассказа там сталкивался с девушкой, которая ему нравилась. Но он никак не мог с нею заговорить. Зато легче оказалось заговорить с ее серенькой подругой. В результате

подруга решила, что он в нее влюбился. На вечеринке в честь праздника 8 Марта случилось непредвиденное. Это непредвиденное довело героя до женитьбы на подруге. Через год после этого та, в которую он был влюблен, призналась, что тоже была влюблена в него. Раскаявшийся герой бросает подругу, сходится с любимой. И вскоре понимает, что на самом деле именно подругу он по-настоящему полюбил, а с этой — так, увлечение. Финал рассказа был открытый. Герой идет по зимнему городу и размышляет, что и так плохо, и так нехорошо, а как правильно, никто не знает.

Читал Паша около часа.

Наградил себя почти полным стаканом за труды. В бутылке осталось меньше трети.

— Как вам? — спросил он Таню.

— Жизненно. Немного что-то напоминает. Довлатова.

— Ну конечно! Все теперь прочитали Довлатова, и всех с ним сравнивают! А я рассказывал тебе, Витя, как мы с ним однажды выпивали в Питере? Я моложе, конечно, и намного, но я рано начал, и он меня уважал. Мы выпивали, и Сережа сказал: Паша, мне до тебя — как до Китая пешком! Ты так пишешь, как я никогда не смогу. И что дальше? Он свалил, прославился за рубежом, а теперь его и тут всюю уже печатают! Но никто не знает, что он мои рассказы читал еще до того, как писал свои! Понимаете мою мысль?

— Считаете, он у вас что-то украл? — спросила Таня.

— Впрямую — нет! Но он дух мой скопировал! Стилистику!

Я понимал обиду Паши. Дело не в том, что Довлатов что-то скопировал, это вряд ли. То есть не вряд ли, а точно нет. Но в те годы, в начале девяностых, кроме Довлатова, вывалились на широкого читателя из небытия и полубытия замечательные книги и авторы — десятками и сотнями. Те, кого не печатали, за-

прещали, кто ходил в самиздате, да и то в столицах, а не у нас. И Платонов, и Набоков, и Шаламов, и Солженицын, и тот же Довлатов — многие. И я тоже тогда читал запоем, радовался. Но это отнимало читателей у тех, кто только что пришел, вот они и огорчались. Ведь что случилось? — пришло новое время, они приготовились из тени в свет перелететь, а получилось — из тени в тень еще более густую...

Паша гневался, рассказывал, как его рассказы в Литинституте ходили по рукам, как их кто-то пробовал напечатать за границей. Я ждал момента, когда можно будет его отозвать и прямым текстом сказать, чтобы убирался.

Но тут он махом допил оставшийся коньяк, окончательно запьянел и сказал Тане:

— Сударыня, мне всегда нравились такие, как вы. Я вижу в вас утонченное сладострастие. Бросьте вы его, он мелок и пошл. А обо мне вы будете писать мемуары. У меня мощь племенного быка и темперамент павиана, я вас живой отсюда не выпущу. Соглашайтесь!

Мы ехали обратно в пыльном и жарком автобусе, молчали.

Таня смотрела в окно, потом повернулась ко мне. Вглядывалась.

Я улыбнулся:

— Что? Ну не повезло, бывает.

— Я не об этом. Скажи, Витя, что у нас будет дальше?

— Любовь.

— Нет. Я вот посмотрела на этого Пашу...

— Он просто алкоголик.

— Эта постель его ужасная, да и вся квартира...

Грязь, вонь, этот стол на кухне кошмарный, сам он... А я, вроде, не такая. Как пионерка на помойке. Одета чисто, белье у меня с иголки, новое...

– Посмотреть бы.

– Перестань! На самом деле я не лучше консервной банки. Или пепельницы.

– Таня...

– И ты сам это понимаешь.

– Не нагнетай. Ты в любом месте – царица чистая и непорочная. Ты сияешь.

– Я не про это.

– А про что?

Она не ответила.

Расходясь по домам, попрощались мирно, поцеловались.

– Созвонимся!

Прошел день, другой, она не звонила. И я не позвонил.

Через неделю я понял, что мы с ней расстались навсегда. Наилучшим из возможных способов – молча.

Книгу Паша издал, потом еще одну. Потом я уехал в Москву, ничего не слышал о нем. Два года назад встретил общего знакомого, тот рассказал: Паша вступил в местный (то есть саратовский областной) Союз писателей, продал квартиру в Энгельсе, купил похуже в Саратове, принимал активное участие в творческих обсуждениях и посиделках. Печатать и издавать его перестали, он пропал из виду, по слухам, работал где-то вахтером или сторожем. Умер в своей квартире, обнаружен там был через неделю, когда соседи учуяли запах...

А Довлатов мне тогда не понравился. Показалось, что он оправдывает и жалеет всех своих героев главным образом, чтобы оправдать и пожалеть себя.

Может, сейчас взглянулось бы иначе, но – боюсь перечитывать.

# ОЧЕРЕДЬ

(1993)

Очереди, километрами втекающие в винно-водочные магазины, сгущаясь перед дверьми, вихрясь и бурля, как перед жерлами воронок, — метафора советской бытовой будничности конца восьмидесятых — начала девяностых годов.

Об этом написано много историй, в том числе о невинных жертвах. Я читал, помнится, рассказ о старике-ветеране, который стоял всего лишь за одной бутылкой водки, хотел угостить навестившего фронтового товарища, но был насмерть затоптан на ступенях озверевшей толпой.

Однако многие сейчас светло тоскуют не только о чем-то действительно хорошем, что было тогда, но даже и об этих жутких очередях, — почему?

Понимаю тех, кто находился у кормушки (то есть у поилки): производителей вина и водки, экспедиторов, директоров магазинов, продавщиц и прочих, вплоть до грузчиков, им от очередей была только прибыль. Вот картинка того времени: высокое крыльцо магазина по периметру обложено ящиками, чтобы не лезли с боков, оставлена лишь узкая щель, в которую грузчик впускает строго по очереди. А другой грузчик суетится: высунувшись из-за ящиков, принимает деньги, слушая крики: «Одну! Две! На все!» Скрывается с деньгами, возвращается с бутылками

и сует в протянутые руки. Мужлевать, схватить водку, предварительно не заплатив, никто не рискует — убьют. Очередь на все это смотрит как на должное, ибо никому не запрещается, если не жаль отдать деньги без сдачи, поступить точно так же. А сдача бывала существенной. Например, когда водка стоила 9 рублей 10 копеек, у грузчика цена ее была — десятка.

К слову, русский человек любое беззаконие вытерпит, если оно оформлено видимостью правил. Всегда зная, в частности, что торговое сословие жульничает и ворует, а начальство использует свое положение в личных целях, мы приговаривали: ну, так на то они торговля и начальство. Подразумевалось: будь я на их месте, и я бы не чурался.

Но если ностальгия кормившихся понятна, откуда ностальгия вечно не сытых?

Может, это свойственное любому человеку удовольствие от воспоминания о пережитых невзгодах и трудностях? Все преодолел, выжил, спасибо мне, а что пришлось помучиться, так тем ценней победа. Кто сказал, что жизнь должна быть без забот и без тягот?

Эта философия сидит в нас крепко. Однажды вез меня частник на «копейке» и возмущался привередливыми автолюбителями, осуждающими отечественные машины за то, что часто ломаются.

— Будто ихние иномарки не ломаются! — сердился он. — Любая машина ломается! Я тебе больше скажу, она и должна ломаться! Живой механизм потому что! А руки у тебя на что? Племянник вон купил немецкую, что ли, ездил, хвалился: мотор тише холодильника, ход — балет на льду! И что? Крякнулась она у него посреди трассы, да еще ночью. Вот тебе и балет на льду! Ночь стоял, ждал, пока сервис приедет. А я свою в любых полевых условиях исправлю. Главное дело, пока я ее чиню, я же ее всю переберу заново, все подгоню,



все отрихтую, она ласточкой у меня летает! Все хотят кататься, а ты потрудишься, ты доведи сам машину до ума, тогда и относиться к ней по-другому будешь!

В этом монологе есть своя правда, но есть и нестыковка: да, возможно, жизнь нашего человека и похожа на машину, которая все время ломается и которую нужно постоянно чинить, но то, что отношение к машине-жизни от этого становится другим — нет, сравнение хромает, к своей жизни наш человек и после множества ремонтов относится наплевательски.

Еще одна догадка о причинах ностальгии по очередям: нас томит печаль о том изобилии свободного времени, которое было почти у каждого советского человека и позволяло стоять в очередях и пять, и шесть часов. Мы, нынешние, попавшие в цейтнот гонки на выживание или гонки за престижем, у кого как, даже представить не можем, что потратим такое количество человеко-часов ради двух-трех бутылок вина или водки, которые, к тому же, и качеством полная дрянь. А тогда — легко. И не просто стояли — разговаривали, общались, возникали короткие приятельские отношения и даже завязывались романы, хотя бывали и конфликты.

Помним мы и те качели настроений, которые в нас бурлили, от надежды до отчаяния: успею — не успею, достанется — не достанется?

Вот об этом и расскажу короткую историю.

Это было перед Новым годом.

Всю ночь шел снег, город с утра был бел, чист и тих. Я проснулся поздно, спокойный, довольный собой: накануне закончил картину, которая самому понравилась. Я и сейчас ее люблю. Или, возможно, люблю воспоминание о том, как над ней работал. В семье был мир — или перемирие. Вот уже год и восемь месяцев я был трезв, работаю, а в последнее время еще и верен домашнему очагу. Куплена и наряжена

елка. В холодильнике есть все, что нужно для приготовления салата оливье. И даже утка есть, и яблоки к ней. Поэтому, когда я намекнул жене, что неплохо бы добыть пару бутылок не пьянства ради, а праздника для, она, тоже спокойная, умиротворенная, согласилась.

И я отправился в путь.

Он был недалог — к ближайшему магазину. От двери вдоль двух соседних домов тянулась длиннейшая очередь. Но с милицией у входа, значит, должен быть порядок.

Я встал.

Тут же узнал, что перед открытием завезли сорок ящичков водки, что дают по две бутылки в руки, что при таком раскладе хватит на половину очереди, но грузчики твердо обещали, что привезут еще.

Я стоял, шел редкий снежок, проехала машина, пробежала собака. Я думал о своей картине, которая удалась, о семейной жизни, которая наладилась, о том, что жить на свете все же иногда очень неплохо.

Передо мной переминался унылый человек в сером пальто, он заглядывал вперед, вздыхал и с грустью повторял:

— Боюсь, не достанется нам водочки.

Была в его голосе ласковая и почти уверенная тоска по утраченному счастью, причем не по тому счастью, что было, а тому, что только намечалось, но он уже предвидел утрату.

— Не каркай! — одернул его худой человек в куртке, слишком тонкой для зимы, сунувший руки в карманы и приподнявший плечи.

Время шло, очередь медленно двигалась.

И тут случилось самое страшное: двери стали закрывать. Это далось милиционерам и грузчиком не просто: надо было вытеснить людей из магазина, а те, попав внутрь, не могли поверить в грянувшую

беду. Как это? — уже достигли, уже вот-вот — и на тебе... Продавщицы ушли, полки пусты, но они упорно не желали уходить, милиционеры и грузчики по одному выволакивали их, убеждая и словами, и тычками.

— Все кончилось и завоза не будет! — объявил чей-то голос.

В ответ — возмущенные крики, мат, колыхание толпы.

И вот двери закрылись.

Толпа была в недоумении.

Начали расходиться по одному, по двое и по трое — кто куда.

— Говорят, в «Посольском» завоз большой, — поделился унылый человек. — В «Штанах» еще, но там склада никакого нет, может кончиться, в «Пентагоне» — неизвестно что...

Он называл народные имена магазинов, которые были и мне известны. «Пентагон» находился в длинном, с изгибами, доме. «Штаны» — на остром углу двоящейся улицы. Почему «Посольский» — версий нет. Рядом с ним кладбище, но это ничего не объясняет. Один из моих приятелей уверял, что тут глубокий смысл: покойники — послы в ту страну, где и нам не миновать быть. Но это игра ума, обычно с названиями все намного проще.

Унылый человек закончил свои рассуждения тем, что верный магазин — на улице Горной. Он и стоит отдельно, и склад при нем, и двери широкие.

И мы пошли туда.

Шли молча: я видел, что он не настроен беседовать, имея одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть, и весь на ней сосредоточен.

Прибыв, увидели, что и тут наряд милиции. При милиции продажа идет шустрее, потому что продав-

щицы и посредники-грузчики не отвлекаются на лезущих со стороны, а те не деморализуют очередь.

Встали в конец. За нами выстроились еще люди, что всегда утешает — не ты последний.

Стояли молча, тихо и почти торжественно.

Опять пошел снег, стемнело, зажглись желтые фонари, улица стала выглядеть уютно, по-домашнему, будто нарисованная старушкой-художницей, влюбленной в окружающий мир и уходящую жизнь.

И я чувствовал себя влюбленным, но не в уходящую, а в эту жизнь. Снег идет — хорошо. Фонари светят — отлично. Меня дома ждут уют и добрые взгляды моих близких — замечательно.

Людей согрели слухи, что запас в магазине основательный.

Но чем дольше мы стояли, тем острее терзал вопрос уже не запасов, а времени.

Унылый человек, предупредив и меня, и окружающих, что скоро вернется, пошел вперед. Вернулся и доложил о результатах. Оказалось, он стоял у входа и считал, сколько людей проникает внутрь за единицу времени.

— Если так пойдет, — безнадежно подытожил он, — то до семи мы точно не успеем. Примерно человек сто пятьдесят они еще обслуживают, ну, двести, максимум, а мы где-то трехсотые. Не достанется нам водочки.

Эта весть была крайне неприятной, но все промолчали и с места не тронулись. Во всем положились на судьбу.

Чем ближе к двери, тем больше волновались, вытягивали шеи, заглядывая вперед, то и дело смотрели на часы.

Все меньше времени отделяло нас от грани: либо успеваем и с драгоценной ношей возвращаемся до-

мой, где нас осыплют похвалами родные и близкие, либо будем угрюмо и трезво сидеть за пустым столом, слушая зловеющий бой курантов: ведь, по примете, как Новый год встретишь, так его и проведешь, значит — весь год будет безрадостным?

За час до закрытия очередь напоминала огромного головастика: у дверей густо, дальше все тоньше до самого хвостика. Стали исчезать окружающие люди. Они не ушли, они мимо очереди отправились ко входу. Наудачу, пан или пропал.

Какой-то хмельной и веселый человек примчался, с разбега врезался в толпу у дверей и шальным голосом радостно заорал:

— Поднапри!

И поднаперли.

Его призыв был как сигнал к анархии, головастик исчез, у дверей образовалось людское облако, кишащее, кипящее, кричащее, рвущееся вперед. Милиционеры отпихивали и оттаскивали, но люди протискивались за их спинами, сбоку, под ногами и даже над головами. Именно так: я увидел, как несколько мужчин подняли своего товарища в воздух и запустили, и он пополз по плечам и головам — туда, к заветной цели. И исчез внутри.

— Вот гад! — сказал кто-то.

Милиционеры, плюнув, отошли к своей машине, а потом и вовсе уехали.

Унылый человек опять оказался рядом со мной, он смотрел на давку, не решаясь вклиниться, и говорил:

— Не успеем, даже думать нечего.

А я, только что всей душой жгуче стремившийся туда же, куда и все, вдруг — остыл. Это со мной и раньше бывало. Бежишь к трамваю и вдруг устыдишься, скажешь себе: куда торопишься, не последний это трамвай, да и не так уж ты спешишь, опом-

нись. И даже нарочно замедляешь шаг: успею — так успею, нет — так нет. Но трамвай — дело мелкое, такое случалось и в серьезных обстоятельствах. Например, надо получить заказ, заработать денег, встретиться с тем-то, переговорить с тем-то, начинаешь действовать, звонить, бегать, встречаться, разговаривать, сам дивишься своей шустрости и деловитости, и вдруг останавливаешься в недоумении: я ли это, зачем мне это, стоит ли это того, чтобы так себя тратить? И все бросаешь на полпути, сидишь в своем углу и малюешь картинку, которая никому не нужна, кроме тебя.

И я был готов уже уйти, но тут услышал голос унылого человека:

— На вокзале точно есть. Там до ночи торгуют. Вдвое дороже, конечно...

И жажда добычи, только что исчезнувшая, опять возникла, да еще с утроенной силой, будто решался вопрос жизни и смерти.

Мы поспешили к вокзалу. Я знал, что имел в виду мой товарищ — не сам вокзал, а находящийся рядом транспортно-складской комплекс. Через его проходную, в самом деле, всегда торговали водкой и вином.

Но торгуют ли сегодня? А если и торгуют, то все на свете кончается, могут и у них иссякнуть резервы.

У проходной ошивались два-три десятка людей. Они сказали: да, была торговля, но теперь никого не пускают, на стук не отвечают, будто там умерли все.

Железные ворота проходной были высоки, как тюремные, при этом возникало ощущение, что тюрьма не там, а тут, где стоишь ты.

— Таксопарк, — сказал унылый человек.

И это я знал: что в таксопарке торгуют водкой. Было время, таксисты торговали и прямо из машин,

но в ту пору что-то случилось, их стали поддавливать, они с колес не продавали, соглашались отвезти в таксопарк, там отоварить и даже привезти обратно домой, но было это очень накладно. Впрочем, деньги у меня имелись с запасом, я словно предвидел, чем все кончится. И пошел ловить такси, а унылый человек отстал. Наверное, смирился с участью и пошел домой с пустыми руками.

Первый же таксист согласился мне помочь.

— Но обратно не повезу, смена кончилась.

— Ладно.

В таксопарке он привел меня в комнату при гараже, где, за длинным дощатым столом, угощались кончившие смену таксисты. Оказалось, тут традиция: после работы посидеть, выпить, облегчить душу разговором, а потом те, кто выезжает на маршрут, развозит выпивших собратьев по домам.

На столе были водка, яйца вкрутую, любительская колбаса, вареная картошка, соленые огурцы, а еще — в честь Нового года — миска с оливье и несколько мандаринов. Мне так захотелось всего этого, что я не сумел отказаться от любезного приглашения, присел к столу, выпил до краев налитый стакан, с наслаждением закусил колбасой, огурцом, картошкой. Таксист, который привез меня, спросил:

— Сколько тебе надо-то?

— Две. Нет, четыре. Ладно, пять.

Я дал ему денег, прибавив сверху за выпитый стакан, но он отказался:

— Обижает, это не в счет — угощаем!

— А если я второй стакан хочу?

— Тут — хоть третий!

И я выпил второй, и третий, а потом выставил свою бутылку, с умилением смотрел на грубоватых, но таких родных мужиков-таксистов, слушал их разговоры...

Меня нашли утром, я спал на полу в подъезде, у входа, припорошенный снежком, залетавшим в открытую дверь, в которой торчала моя нога. Причем нога была без ботинка, а голова — без шапки.

Я долго болел, ступня то краснела, то синела, врачи говорили, что без пяти минут гангрена, не исключено, что придется отрезать.

Но ничего, обошлось.



## «ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ, СТРАСТЬ...»

(1995)

Меня встретили у дверей бывшей гостиницы «Россия», где теперь размещались всякие офисы, фирмы, мелкооптовые магазины, редакции новоявленных газет и газетеночек.

Почему-то в переходные времена именно гостиничное дело страдает в числе первых. И после революции так было — вспомнить хотя бы учреждение «Геркулес», описанное Ильфом и Петровым, размещавшееся в «нумерах». Люди меньше ездят по городам и весям? Номера становятся слишком дороги, а если спустить цены, гостиницы тут же прогорают?

И обратная закономерность: стоит стране подернуться жирком, то есть не стране, а определенной части населения, тут же гостиницы возрождаются, ремонтируются, строятся новые. Все, конечно, при этом бессовестно дорогие — с ценами на пять заморских звезд и сервисом на три отечественные.

Но это мысли задним числом, тогда мне было все равно.

Я шел за деньгами.

Я попал, меня поставили на счетчик, как выражались тогда и, возможно, выражаются теперь, но я давно не в этих сферах. Появилась возможность проверить выгодную операцию, меня подбил на нее делегата Мартын, до этого где-то пропадавший и вдруг возник-

ший с кучей блестящих идей. Он клялся и божился, что взялся бы сам, но у него не в порядке документы. Главное — одним махом можно обеспечить себя на всю жизнь.

Я не прочь был одним махом обеспечить на всю жизнь. Тогда многим удавалось обеспечиваться, казалось, деньги летают в воздухе, надо лишь уметь их схватить. Все выглядело очень просто: взять займы крупную сумму по моим документам, под мою роспись и под авторитет Мартына (мне поверят, убеждал он), купить пару вагонов муки и срочно гнать на Вологодчину, где страшный дефицит, стоят хлебопекарные заводы, назревает бунт населения. Там быстро продать муку, но не удовольствоваться прибылью, тут же купить эшелон леса и гнать в Астрахань, где не хватает досок и бревен, все стройки заморожены, лес хватают с руками, не спрашивая цены. Получится двойной навар невообразимого размера, прибыль — пятьсот процентов.

Я посомневался и согласился. Другие могут — почему я не могу?

Мне ссудили денег, я приобрел муку, нашел покупателей в Вологде, договорился о вагонах, о погрузке, о сроках отправления и прибытия вагонов. Поехал в Вологду, контролировал разгрузку, правильность оформления документов. Настал момент получения денег. То есть момент как раз не настал: я двое суток проторчал в гостинице, обзванивая тех, с кем договаривался о сделке. Никто не отвечал. Я отправился в их контору, которая находилась на товарной железнодорожной станции. Блуждал, спрашивал у людей, мне указали на вагон, стоявший в тупике. Вошел. Вагон был полон людей, дыма и смеха. Они что-то обсуждали и не сразу заметили меня.

— Кто такой? — спросил черноволосый и седоватощетинистый человек, сидевший во главе стола. Он

был довольно молод, но хотел казаться старше, для того и отрастил седую щетину.

Я объяснил.

— И чего надо?

— Расплатиться бы.

— Расплатись.

— Вы не поняли. Вы мне должны денег. За муку.

— Какая мука? Какие деньги?

Щетинистый спрашивал не меня, а окружающих, будто прося их помочь и объяснить, чего хочет этот странный человек.

Я уже понял, что все провалилось. Я все понял. Я слышал множество таких историй. Это называется — кинуть. Просто, незамысловато — взять товар и не заплатить.

У меня возникло, как не раз до и после этого, чувство неполного соединения с реальностью. Словно я смотрел какое-то кино. И видел себя там персонажем. И персонаж этот вел себя не так, как я. Он спокойно и нагло сказал:

— Ладно. Тогда два варианта. Первый — через суд. Второй — я приезжаю со своими пацанами, и... Ну, сами понимаете.

— Ошибаешься, — сказал щетинистый, — будет один вариант. Тебя убьют, дорогой. Хотя, нет! — он поднял палец и улыбнулся, предупреждая этой улыбкой, что сейчас скажет что-то утешительное и доброе. — Нет, у тебя тоже два варианта: или сейчас убьют, или потом. Выбирай.

Я молчал. Мой двойник вернулся в меня и перестал играть с огнем.

— Мужчина все понял, — удовлетворенно кивнул щетинистый. — Помогите ему выйти.

Стоявший рядом со мной здоровенный малый взял меня за ворот, потащил к двери и выкинул из вагона.

Так я оказался должником. Никаких своих пацанов у меня, конечно, не было, через суд добиваться правды – бесполезно.

– А если и добьешься, – сказал Мартын, – тебе же хуже.

– Это как?

– А так. Вдруг, не дай бог, выиграешь в суде? Они тебя тут же убьют. А может, еще и до суда.

– И что делать? Мне сумасшедшие проценты на долг уже идут. Ты же сам...

– Витя, при всем сочувствии, деньги брал – не я. Но помочь могу. Есть люди, могут дать под небольшой процент. Расплатишься с теми жлобами.

– А с этими людьми как буду расплачиваться? Искать, кто опять в долг даст?

– Тоже вариант. Я так пять лет жил, у одних брал – другим отдавал. Ну что, сказать, к кому обратиться?

И вот мы шли длинным гостиничным коридором. Мой спутник был молод и скучен. Шел, глядя на потертую ковровую дорожку, оставшуюся от гостиничной убогой роскоши. Вдруг спросил:

– Кроссовки самопал?

– Что?

– Кроссовки на рынке купил?

– Да.

– А у меня фирма!

– Молодец.

Он кивнул, соглашаясь.

Открыл одну из дверей.

– Вера Иннокентьевна, к вам!

И впустил меня.

За большим столом, заваленным папками, сидела Вера. Вера Коровина, которую я не видел уже несколько лет. С интонацией вынужденной материнской строгости она выговаривала двум стоящим перед нею молодым людям:

— Каждую строчку проверять надо, каждую запятую! Сомневаетесь — спросите у меня. Понятно? Езжайте и требуйте все переделать, — она кинула им папку.

— А если не согласятся?

— Пусть звонят мне, я им все объясню.

Молодые люди удалились, Вера увидела меня.

Очень обрадовалась:

— Витя?! Ты как здесь? Надо же! Проходи, садись!

И тут же — деловито — моему спутнику.

— Что-то еще?

— Машину когда подать?

— В шесть. Но я сама поеду.

— Вера Иннокентьевна, я с утра даже пива...

— А вчера? Мне жизнь дороже. Все, иди.

Я сел перед Верой. Мы оба улыбались.

— Значит, вот так ты теперь? — спросил я.

— Да, вот так.

— Нет, я слышал, что ты что-то такое... Большие дела.

— Ничего особенного. А ты чем занимаешься?

— Да разное.

— Все очень быстро меняется, Витя.

— Я заметил. Замуж опять не вышла?

— Так я не развелась еще. Собиралась, да. Но как-то все сгладилось. У него свои дела, у меня свои. Вернее, у него и дел-то нет. Живет на Волге, на острове, строит какую-то яхту.

— Зачем?

— Собирается в кругосветное путешествие. Как Федор Конюхов. Все свои деньги в это вложил. А на мне дочь, квартиру строю, машину купила вот... Много всего.

— А на кого работаешь? Не на бандитов?

— Витя, кто сейчас понимает, где бандиты, а где нет? У меня свой участок работы, я им занимаюсь,

мне доверяют, потому что знают мою честность. Остальное меня не касается. Я не поняла, ты случайно тут или как?

– В долг пришел просить.

– Так это ты? Я и не знала. Сказали, что в три часа придет какой-то человек... А что случилось, Витя?

Я рассказал.

Она выслушала сочувственно, но без удивления.

– Вот так вот люди и пропадают ни за что. Витя, но у нас ведь тоже проценты.

– Мартын сказал – не очень большие.

– Мартын? Кто это?

– Неважно.

– Да, сначала не очень большие, а потом идет процент на процент. Короче, я бы тебе не советовала.

– И что делать?

– Не знаю. Надо подумать. Слушай, я не ела с утра, может, пообедаем?

Мы пошли в ближайший ресторан, где нас проводили к лучшему месту – в конце зала, за ширмой.

– Уважают, – отметил я.

– Еще бы, это мой ресторан. На паях с двумя товарищами.

– Как ты их по-комсомольски – товарищи. Не отвыкла еще?

– При чем тут комсомол? Точное слово, вот и все. Друзья? Нет. Партнеры? Ну да, но мне это слово не нравится. Приятели? Тоже нет. Товарищи. До революции были тоже коммерческие товарищества.

– А где идеалы, Вера Иннокентьевна?

– Витя, не я виновата, что их разрушили. Я до последнего держалась. Надо считаться с реальностью. Как-то в нее вписываться. Знаешь, я так скучаю по школе! Вот когда мне было хорошо!

Мы вспомнили школу, одноклассников, поделились, кто о ком что знает. Выяснилось, что многие

в реальность не вписались. А Слава Кислов и вовсе помер. Это она мне сказала.

— Как-то очень глупо. Аппендицит, положили в больницу, что-то не так сделали — и все. Двое детей осталось.

— Грустно, — отозвался я, не чувствуя, если честно, большой печали: со Славой мы почти не общались, да и случались тогда подобные истории слишком часто. Мы привыкли.

Она вернулась к теме:

— Витя, у нас брат — не советую. А если найдешь у других, пять раз просчитай, с чего будешь отдавать. Ты что-то придумал?

— Буду делать холодное оружие для коллекционеров. Сейчас опять спрос. Я этим когда-то занимался.

— Прости, кустарщина. Может, устроить тебя в какую-то структуру? Но это наемный труд, наемники получают мало. Нужно свое дело, бизнес, прибавочная стоимость.

— Вера, это ты? Ты говоришь о прибавочной стоимости?

— Маркс о ней тоже говорил, я в университете изучала.

— На самом деле есть у меня несколько проектов.

И я начал описывать эти проекты — один другого нелепее. Наименее экстравагантный — заказать на простаивающем оборонном заводе игровые автоматы. Очень прибыльно. Идею я позаимствовал у Мартына.

Принесли еду. Вера слушала вежливо, ела с аппетитом. Аккуратно, изящно, как всегда. Руки не касаются стола, спина прямая. Врожденный аристократизм. То есть — вырожденный, она же дочь отца-пролетария и мамы-бухгалтерши.

По своей привычке я опять частично выпал из реальности, раздвоился: один сидит и пытается толко-

вать о деле, а второй наблюдает, и ему дико: о чем ты говоришь, олух, с любовью всей твоей жизни? Ты ведь до сих пор не понял, нравился ли ей когда-то. И нравишься ли сейчас — хоть немного?

Наблюдателю надоело наблюдать, он заставил говорящего двойника заткнуться.

Я махнул рукой, засмеялся:

— Ладно, бред это все.

— Извини, согласна.

И тут я задушевно продекламировал:

— Помнишь, ты говорила: деньги, любовь, страсть, а я одно видел — ты Джиоконда, которую надо украсть.

И украли!\*

— Это что?

— «Облако в штанах», Маяковский. Не помнишь? Я для тебя это читал.

— Когда?

Я читал это на школьном литературном вечере. Составляли списки, меня спросили: что у тебя? Я сказал — Маяковский. Поэт революционный, проверенный, из программы. Одобрели. И я читал эту поэму, глядя на Веру. Я читал для нее. С особенным напором выкрикнул: «Тело твое прошу, как просят христиане — хлеб наш насущный даждь нам днесь. Мария — дай!»

Учащиеся дружно заржали, учителя ужаснулись, кто-то выскочил и поволок меня за руку со сцены. Потом были разбирательства, я наивно удивлялся: «А что такого? Это в трехтомнике напечатано!» — «Под наивного работаешь?» — догадалась завуч по воспитательной работе Клавдия Алексеевна.

Но обошлось, затерлось.

Я напомнил об этом Вере, она пожала плечами:

— Знаешь, как-то не отложилось...

---

\* Неточная цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах».



— Ну да, ты же тогда еще не знала, что я тебя люблю. А я уже вовсю. Как и до сих пор.

— Витя...

— Ладно, молчу.

— Нет, мне приятно. Хотя, если честно, удивляюсь. Что во мне такого?

— Ты очень красивая.

— Мало красивых, что ли? Да и не такая я уже, видишь, что с глазами — кошачьи лапки это называется. Никакие кремы не помогают. Витя, давай вернемся к вопросу. Есть вариант: я тебе могу дать из личных денег. На полгода. Без процентов. За полгода что-то придумаешь. А мне они пока не понадобятся. У меня все точно рассчитано. Не думай ничего такого, я просто хочу помочь.

— Ты же понимаешь, что не возьму.

— Не понимаю.

— Я вот что подумал. Я тебя люблю уже двадцать пять лет.

— Это с какого возраста?

— С десяти. Когда первый раз увидел. Или с одиннадцати. И за это время сто раз объяснялся тебе в любви.

— Меньше.

— Считала?

— Нет. Ну — и к чему ты?

— Да к тому, что за это время мы даже ни разу не поцеловались.

— Не получилось, да. И что?

Мы сидели на диванчиках друг против друга. Я неловко вылез, подсел к ней, взял за плечи, повернул к себе.

— Давай поцелуемся — и я возьму твои деньги.

— А я уже забыла, какой ты странный... Витя, так не делают.

— Как не делают?

— Ну, не договариваются. Это бывает как-то... Ну, по вдохновению, случайно. Как ты там сказал: порыв, страсть?

— Любовь, страсть. А что, у тебя бывало?

— Случалось, да. Без последствий. Я мужу ни разу не изменила.

Я понимал, что пора прекращать разговоры: чем больше говорим, тем труднее будет сделать то, что я хотел. Взял ее покрепче за плечи, приблизил к себе. Вера схватила салфетку и быстрым движением вытерла губы. Старалась улыбаться, но ей было неловко. Готовилась вытерпеть.

— Нет, — сказал я. — Не в этот раз. И денег не возьму.

— Ты не представляешь, как мне тебя жалко. По хорошему.

— Я отличный мужик, Вера, я умный, талантливый. Ты счастлива со мной будешь, надо только начать. Выходи за меня замуж.

— Витя...

— Ладно. Извини.

Я отсел обратно с чувством странного облегчения. Оттого, наверное, что перестал мучить Веру. Потому что не люблю никого мучить.

А она опять взялась за еду и спросила так, будто ничего не произошло:

— У тебя есть какие-то ресурсы? Машина, квартира какой-нибудь бабушки, слишком для нее большая, гараж, дача?

— Машина и гараж — жены. Были мои, от отца, я на нее переписал. Все равно не пользуюсь.

— Ты ангел просто.

— Да ладно.

— И она не согласится тебе помочь?

— Она не знает о моих делах, и не хочу впутывать. Есть дача мамина, она много не стоит. Бабушки нет. Правда, мама живет в трехкомнатной квартире.

— Вот! А ты с семьей где?

— Отдельно. Тесть, отец жены, кооператив ей построил еще в конце восьмидесятых. То есть нам, но на ее имя.

— Значит, у мамы трехкомнатная, а ты мучаешься, где денег взять? Ей что, в хорошей однокомнатной будет плохо? Продаст свою, купит поменьше — и вот тебе деньги! Не хватает — добавлю. Если в разумных пределах.

Она была просто счастлива, что нашелся такой замечательный вариант.

Посмотрела на часы.

— Если не против, я пойду, у меня еще встреча. А ты посиди, закажи, что хочешь, это от ресторана.

— То есть от тебя?

— Ну, от меня. И что такого?

— Да ничего, нормально.

Она встала и вдруг погладила меня по голове, а потом поцеловала в щеку.

И это был первый наш за двадцать пять лет поцелуй.

Она ушла, подошла официантка, спросила, нельзя ли убрать лишние тарелки. Посмотрела на меня с уважением. Друг хозяйки все-таки. Да и мужчина ничего себе, читалось в ее простеньких серых глазах.

— До сколько работаешь? — спросил я.

— А чего это вы спрашиваете?

— Могу до дома проводить.

— Спасибо, — с сожалением сказала она. — Меня муж встречает.

— Тогда водки.

— Уверены? — спросила она с такой родственной заботливостью, будто была моей сестрой. Вернее — стала ею за какую-то минуту общения. Я не раз встречал таких отзывчивых людей и поражался всегда их душевной щедрости. И ведь ей выгодно, чтобы я взял водки, у нее с этого навар. Добра — в ущерб себе.

Я встал, обнял ее.

– Уроню, – прошептала девушка и осторожно поставила поднос на стол.

Я целовал ее страстно, нежно, долго. Она отвечала такой же нежностью.

– Ну вы даете, – оттолкнула меня, выдохнула, оглянулась, взялась за поднос.

– Накатывает иногда.

– У меня тоже, – призналась она. – Бывает – ужасно хочется поцеловаться. И даже не для чего-нибудь, а просто так. А водки не надо, хорошо?

– Хорошо.

Мамину квартиру продавать не пришлось. Я все ей рассказал, она приняла удар стойко, не ругала меня, только попросила больше не ввязываться ни в какие махинации. Но едва мы занялись продажей, узнал тесть и выручил меня.

– Даю не тебе, а, считай, Галине, – сказал он. – Не хочу, чтобы у дочери мужа убили. Отдашь, когда сможешь.

Я понимал, что этими деньгами он хотел удержать меня в семье – знал ведь, к чему у нас все идет. И все-таки взял.

А в ресторан к этой официантке, Люсей ее звали, я заглянул через пару недель, и нам опять было очень приятно поговорить и постоять в обнимку за дверью какой-то подсобки, после чего два месяца мы дружили с нею почти каждый вечер, удивляясь, до чего нам друг с другом хорошо, зная при этом, что ни она, ни я своей жизни менять не собираемся.

– И это отдельно приятно! – любила она приговаривать, когда одевалась и тщательно проверяла, не забыла ли чего.

# ЗАЛОЖНИКИ

(2002)

Табличка «ВЫХОД / EXIT» светится над дверью, до которой не больше пяти шагов.

Или два-три прыжка. Два-три прыжка, и ты в коридоре, а потом на улице, где люди буднично ходят и ездят, не осознавая прекрасности своей свободы, не понимая счастья идти и ехать куда захочешь.

Но у двери человек с автоматом. И ты вспоминаешь, что тело твое всего лишь жидкая субстанция в тонкой оболочке. Продырявят ее — и жизнь вытечет легко и просто, как вода из резинового шара, проткнутого гвоздем. Бесшумно. Спокойно. Равнодушно. То есть для тебя страшно, но для этих людей, что нервно передвигаются по залу, кричат, угрожают, с кем-то говорят по мобильным телефонам, чего-то требуют, твоя жизнь, как и жизнь всех остальных, собравшихся здесь, не дороже, чем вода, причем вода не для питья, мытья или орошения, вода пустая, дистиллированная. Ничего не значащая. Для них ты умер еще до своей смерти, они не видят тебя, они видят только какую-то свою сумасшедшую цель. И все, что на пути к этой цели, для них перестает быть одушевленным. Ребенок от взрослого отличается только тем, что меньше. Ну, как есть большие комки грязи, а есть маленькие, только и всего.

С начала захвата прошло шесть часов. Ночь. Люди сидят неподвижно. Уже нет истерик, вскриков, плача. Некоторые спят. Или впали в забытье. От всего устаешь — и от ужаса тоже. Женщина сзади, тяжело дышащая (астма или стенокардия), вздохнув, прошептала: «Уж пусть бы взорвали, в конце-то концов. Ждать надоело».

Наверное, не она одна так думает.

Взорвать должны женщины-смертницы. Они стоят вдоль стен, по периметру. На них взрывчатка и проводки. Наглядная для всех простота: присоединим проводки — и все. Женщины юные, тонкие, в черном. Головы обмотаны платками, видны только глаза. В глазах — давно принятое решение. Никаких сомнений.

За эти шесть часов ты пережил несколько состояний — как, наверное, и другие.

Сначала оторопь: не может этого быть! Все было обычно, нормально, мы сидели, смотрели и слушали — и вдруг они ворвались, закричали, раздались выстрелы. Чепуха какая-то.

Потом страх и желание защитить тех, кто рядом. Рядом женщина Лиза и ее десятилетняя дочь Ада. С Лизой ты знаком два месяца, Аду сегодня увидел первый раз. Но они с тобой, значит — на тебе ответственность. Ты должен защитить их. Но как? Придумываешь: им надо лечь на пол. Втиснуться меж кресел и лечь. Если захватчики сейчас начнут стрелять в зал, на полу можно уцелеть. Говоришь об этом Лизе и Аде. Лиза смотрит на тебя и ничего не понимает, она в шоке. Трясешь ее за плечи, втолковываешь. Ада плачет. Наконец до Лизы доходит, она кивает, сползает, тащит дочь за собой. Оглядываешься и видишь, что не ты один догадался, как нужно поступить. Другие тоже прячутся на полу меж рядов — те, кто может там поместиться.

Но тут последовал приказ всем сесть нормально. Им не нравится, когда кого-то не видно.

Суэта, хлопанье сидений, какие-то перемещения. Кто-то захотел выбраться из своего ряда. Пресекают. Вставать и ходить можно только с разрешения.

Довольно быстро понимаешь, что принял случившееся, удостоверился в его необратимости.

Пытаешься рассуждать, искать какой-то выход.

Вряд ли захватчики действительно всех взорвут. А если взорвут, то не сейчас. Они уже объявили, что ведут переговоры. И что наша судьба зависит не от них. Переговоры — о прекращении войны в Чечне. После этого сообщения появилась надежда. В самом деле, почему бы и не прекратить войну? На время. Добиться освобождения заложников с гарантией перемирия. А уж там видно будет, продолжать войну или нет.

Говоришь об этом Лизе и Аде, успокаивая. Лиза соглашается, пытается улыбаться, пожимает мне руку. Ада сообщает, что очень хочет в туалет.

Хотят и другие. Ты слышишь, как люди говорят об этом захватчикам. Те совещаются.

Ты моментально придумываешь план: попроситься в туалет и бежать оттуда.

И тут же понимаешь, что один — не сможешь. Не сможешь оставить тут женщину с ребенком. Да, чужая женщина и чужой ребенок. Но — не сможешь.

Выводят людей — по одному, по два. В туалет.

Слышатся далекие выстрелы.

Захватчики объявляют: две девушки пытались выбраться через окно в туалете, пришлось их застрелить. Будете ходить в туалет здесь. И указывают на оркестровую яму. Люди стесняются, не хотят. Но вот решается кто-то первый, и вскоре выстраивается очередь.

По залу ползет запах.

Ты размышляешь: этот человек не сказал, что девушек убили. Он сказал: «Их пришлось застрелить». Именно так сказал. «Пришлось», — будто оправдывался. Вернее, свалил вину на девушек. Но есть, значит, если не чувство вины, то понимание вины. Он сказал «застрелить», а не «убить», то есть смягчил. Значит, все-таки, у них нет цели убить всех? Они показывают, что действуют вынужденно?

То есть разум какой-то у них есть, следовательно — можно договориться. Представляешь: осторожно встаешь, подходишь, говоришь — что говоришь?

Например, что можно отпустить всех женщин и детей и оставить только мужчин. Их будет сотни три-четыре, это немало! Убить восемьсот человек или четырехста, какая вам разница?

Лучше, конечно, подойти не одному, а вдвоем или троим. Это выглядит делегацией. Демонстрацией коллективного решения. Осматриваешься. Видишь взгляды других мужчин. Безмолвное, невнятное совещание, но, кажется, все понимают друг друга. Вот один, очень крепкий, с короткой стрижкой, лет сорока пяти, вид бывшего спортсмена или отставника-спецназовца (а может, и действующего — они ведь тоже отдыхают и в театры ходят), зацепившись за твой взгляд, пытается молча что-то объяснить. Указывает еле заметным движением головы на одного захватчика, потом на другого, потом на смертниц, потом приподнимает руку и ребром ладони указывает то туда, то сюда. В каком-то фильме ты это видел. Руководитель воинской группы, подобравшейся близко к неприятелю, знаками дает задания подчиненным. Этот человек пытается играть роль такого руководителя. Неужели верит всерьез, что можно вот так все организовать? Показываешь ему на сцену, где, отдельно от всех, ходят трое боевиков. До них так просто не



добрешься. План — нереальный. Мужчина что-то произносит сквозь зубы. Ругается. Понимает: да, нереально.

В мыслях проносятся многочисленные кадры из многочисленных лихих фильмов, где герой в одиночку спасает захваченных людей, по ходу дела убивая то одного, то другого террориста — эффектно, с выдумкой, часто голыми руками. Какая все это чепуха. Она же идеология: нет безвыходных положений.

Есть безвыходные положения.

И тут же споришь с собой: ведь ты попадал в ситуации вынужденного заключения, но рано или поздно обретал свободу и оставался цел.

Вот случай из детства. Я, Костян и Ромка пошли к дальним сараям. Тем, которые за городом, на пустыре. В одном из них, уверял Ромка, хранится куча старых аккумуляторов. В них свинцовые пластинки, свинец нужен, чтобы его расплавлять и заливать в металлические трубки, так делались стволы для поджигов, самодельных пистолетов. Костян, как всегда, сомневался, откуда Ромке известно про аккумуляторы, Ромка уверял, что видел своими глазами: шел мимо с пацанами недавно, а дверь была открыта, там машину мужик чинил, а у стены этих аккумуляторов — штук двадцать. И себе хватит, и на обмен наберем свинца.

Мы нашли этот сарай, выломали какой-то железкой пару досок в задней стенке, пролезли. Там было, в самом деле, много старых аккумуляторов, некоторые разбиты, без кислоты, решетчатые свинцовые пластины легко вынимались. Мы азартно собирали добычу, и тут — скрежет, лязг, дверь распахнулась. Хозяин увидел нас и тут же сообразил наглухо закрыть дверь. Стало темно, но он включил лампочку.

— Дядь, мы не нарочно! — закричал Костян.

Хозяин осмотрел дыру в стене, заложил ее фанерным листом и кирпичами, сел на скамеечку, закурил.

Костян всхлипывал, Ромка угрюмо смотрел в сторону. Я исподлобья пытался рассмотреть хозяина и понять, кто он. Это было трудно. Лет сорок или пятьдесят. Обычное лицо, волосы не длинные и не короткие, глаза не темные и не светлые. Не за что уцепиться. Единственное — часто пошмыгивал носом. То ли простуда, то ли привычка.

Он курил, смотрел на нас с усмешкой, потом спросил:

— Ну? И чья идея?

— Общая, — сказал Ромка.

— Так не бывает. Любую подлуну сначала кто-то один выдумывает. Чья идея, я спрашиваю? Не скажете, запрю вас тут и уйду. Ночью в этих местах никто не ходит, орите, не орите, никто не услышит. Да и днем мало кого. Так и будете сидеть, пока не сдохнете. Чья идея, я спрашиваю?

— Его, — кивнул Костян на Ромку. — Отпустите, пожалуйста!

— Сволочь, — сказал ему Ромка.

— Согласен, — хозяин гаража с удовольствием закурил новую сигарету. — Да, сволочь, друга предал. Разве можно друга предавать?

— Отпустите! — ныл Костян.

— Нет. Он подбил, а ты предатель. Останетесь тут. А ты кто? — спросил он меня.

Я выгнул грудь и ляпнул:

— Человек!

Меня иногда пробивало на такие вот штуки. И до сих пор случается, причем именно в неподобающих обстоятельствах.

— Человек?! — удивился хозяин гаража. — А по-моему, ты говно. Так или нет? Вор и говно. Да?

— Нет.

— Неужели? Тогда тоже тут сдохнешь. Или давай так: скажи — я вор и говно. И я тебя отпущу.

Я молчал.

— Давайте мы все скажем, — предложил Костян.

— Мне всех не надо, пусть он скажет. Скажет — и отпущу. Вас тоже.

— Скажи, Вить, — попросил Ромка. — Это же не для себя, для всех, это можно.

Я прикинул: действительно, позориться ради себя — паскудно, а ради других — почти героизм.

— А точно отпустите? — спросил я.

— Сказал же! Давай: я вор и говно.

— Я вор и говно! — выкрикнул я почти торжественно. Как на школьной пионерской линейке. «Будь готов! — Всегда готов!»

— Молодец, — сказал хозяин гаража. — А вы? Товарищ признался, а вы что же, лучше?

После меня Ромке и Костяну было легче.

— Я вор и говно, — всхлипнул Костян.

— Я вор и говно, — пробормотал Ромка.

— Ну вот! — удовлетворенно сказал хозяин гаража, закуривая третью подряд сигаретку. Я уже знал тогда, наблюдая за отцом и другими взрослыми, что курильщики чаще курят, когда чем-то увлечены или когда выпьют. Хозяин был трезв. Значит — увлекся.

— Мы пойдем? — спросил Костян.

— Куда?

— Домой.

— Здравствуйте пожалуйста! — изумился мужчина. — Какое такое домой? Сами же признались, что воры и говно. Вора́м где надо быть? В тюрьме. А говну где надо быть? В сортире. А ты говоришь — домой!

Он помолчал. Докурил третью сигарету, загасил ее в жестяной банке-пепельнице — очень аккуратно, словно этим показывая, что, в отличие от нас, он человек очень приличный и упорядоченный, все делает хорошо и правильно.

Встал и пошел к воротам.

– Я в милицию пожалуюсь! – сказал Ромка. Несмотря на свои фантазии, он был самый практичный из нас человек.

– На что? На то, что вы меня обокрасть хотели? Да я вас сам в милицию отведу.

– Ведите! – поддержал я Ромку.

– Переночуете тут – и отведу.

– Дяденька! Меня мамка ждет, она больная! – заревел Костян.

– Раньше про мамку надо было думать!

Он приоткрыл ворота, постоял, любуясь на волю, которой собирался лишить нас.

Но так быстро кончить приятное занятие ему не хотелось.

Он придумал кое-что новенькое.

Закрыв дверь, подошел к стеллажам. Снял трехлитровую банку, закрытую пластмассовой крышкой, наполовину заполненную чем-то желтоватым.

– Компот у меня тут, – сказал он. – Природный, чистый. По стакану выпейте – и идите.

– Ссаки? – тут же догадался Ромка.

– Лекарство! – возразил мужчина. – Журнал «Здоровье» читать надо! Лечит от всех болезней! Я не верил, а как начал – сразу поздоровел. Только все не успеваю выпить, остается. Храню тут, в холодильнике. Вот, теперь вас подлечу. От воровства. Вы ведь признались, что воры и говно. А где говно, там и моча.

Он налил в грязный стакан и протянул Ромке.

– Выпейте – и гуляйте. Чтобы навсегда запомнили, как чужое воровать.

– Не буду! – сказал Ромка.

– Дело твое. Кто будет? Обещаю – отпущу.

– Я буду! – сказал Костян.

Взял стакан, понюхал, скривился. Отхлебнул – и заплевался, закашлялся, скрючился. Мужчина успел выхватить у него стакан.

— Не буду! — кричал Костян. — Не хочу! Гад!

— Дело ваше, — сказал мужчина.

А мне вспомнилось одно слово, которое я вычитал в книге про войну. И сказал:

— Вы, знаете, кто? Вы садист! — Подумал и добавил: — И фашист.

— Чего? Сопля, ты чего взрослому говоришь?

— Садист. Фашист. Садист. Фашист.

— Садист! Фашист! — подхватил и Ромка.

— Фашист! — закричал Костян, утирая рот рукавом и плюясь.

— Садист! Фашист! — кричали мы все трое.

Собственные крики придали нам смелости. Мы надвигались на хозяина гаража. Ромка схватил гаечный ключ.

— Сейчас по башке тебя! А потом машину раскурочу! — завопил он.

Я взял какую-то палку. Костян поднял кирпич.

Мужчина испугался не на шутку, отбежал к двери, схватил лопату, открыл дверь.

— Выметайтесь, бандиты малолетнее! Кто близко подойдет — убью!

Мы шли домой, счастливые, возбужденные, чувствуя себя победителями. И, кстати, не упрекнули Костяна, что он сдал Ромку и согласился пить мочу. И никогда, ни разу потом не припоминали ему вынужденный его позор.

За долю секунды вспомнилась эта история, и тут же из памяти выскочила другая.

Из моего запойно-алкогольного прошлого.

Хотя нет, еще не запойного тогда, но уже алкогольного.

Шел домой, был навеселе. Вижу картинку: два милицейских молодца, почти одинаковых с лица, тянут в «воронку» интеллигентного гражданина. Тот не согласен, спорит, и видно, что, пусть и под хмелем, но

на ногах держится вполне твердо, речь связная, хоть и взволнованная. А неподалеку на лавке лежит явный пьяница. Брюки расстегнуты, один ботинок на ноге, другой под лавкой.

Я преисполнился гражданской досадой и сказал ментам, проходя мимо:

— Конечно, с настоящими алкашами возиться труднее!

— И я им о том же! — воскликнул интеллигентный гражданин.

Они впихнули его в кузов, где его принял третий милиционер, а потом, переглянувшись, взялись за меня.

Я даже не сопротивлялся, отнесся иронически, будучи уверен, что меня сразу же отпустят в отделении, где есть начальство, которое наверняка не позволит подчиненным так явно самодурствовать. По пути пытался развести юных милиционеров на беседу, допытываясь, не совестно ли им хватать невинных людей, но те отмалчивались.

Привезли в вытрезвитель на углу улиц Чапаева и Белоглинской. Дополнительный юмор заключался в том, что дом мой был в двух шагах, наискосок. Окна квартиры видно. Я сказал об этом милиционерам, они не отреагировали.

Завели, приказали раздеваться.

— Во-первых, по закону я имею право сделать один звонок, — сказал я. — Во-вторых, я не пьян и могу с закрытыми глазами по половине пройти. В-третьих...

Из глубины помещения вышел милицейский начальник, лейтенант в сверкающих новеньких погонах на выглаженной рубашке, в фуражке с высоко задранной тульей, тогда только что появилась эта мода и в милиции, и в армии, — возможно, срисованная с фасонистых фуражек эсэсовцев в сериале про Штирлица. Он был высок, элегантен, казалось, что

на руках его перчатки, хотя перчаток не было, просто — очень белые руки. Он вообще был белокож, с бесцветными бровями над бледно-голубыми глазами. Лейтенант не дал мне выдвинуть все аргументы, закричал весело:

— Раздевайся живо! Будет тут еще выеживаться! Помогите ему!

Милиционеры стащили с меня пиджак, сдернули галстук, рубашку. Брюки и ботинки я снял сам, остался в трусах и носках. Меня подвели к пожилой женщине в белом халате. У нее было доброе и простое лицо, как у няни Арины Родионовны с известного портрета неизвестного художника. Она наложила мне манжету тонометра, стала качать грушей.

— Послушайте, вы же врач, — сказал я ей. — Вы прекрасно понимаете, что я трезвый. Зачем этот фарс?

— Вы все трезвые! — проворчала добрая старушка, обдав меня теплой спиртуозной волной. — Ты иди и ляжь спокойно, а то ведь хуже будет.

Меня втокнули в комнату с дюжиной коек. Почти все уже спали.

Я повернулся к зарешеченному дверному окошку. У меня было чувство, что я не могу здесь оставаться ни минуты. Жгла несправедливость. Жгло унижение. И жгло, если уж сказать честно, желание продолжить, страшно хотелось выпить.

— Дайте бумагу и ручку, я напишу заявление! — закричал я. — Вы с ума сошли — трезвого человека в вытрезвитель?

— Вот именно! — раздался сзади шаткий голос. — Хватают нормальных людей, пидоры, ни за что!

Я обернулся и увидел человека, который сидел на кровати, обхватив ноги, и раскачивался из стороны в сторону — то ли от тоски, то ли стремясь обрести равновесие. Произнеся свою фразу, он истощил силы и повалился на бок.

– Вы что, оглохли? – кричал я. – Дайте хотя бы позвонить! Имею право!

Я еще что-то кричал о своих правах. Им надоело, позвали опять лейтенанта.

Тот открыл дверь и неожиданно вежливо сказал:

– Пройдемте.

Давно бы так, подумал я.

Он взял меня под локоть и повел на второй этаж. На площадке меж этажами остановился, прислонил к стене и начал бить по животу, по ребрам, аккуратно придерживая и не давая упасть.

– Еще? – спросил он.

– Нет.

– Орать будем?

– Нет.

Ночь я провел в вырезвители.

Потом, снедаемый жаждой мести и восстановления справедливости, писал письма и жалобы в разные инстанции. Месяца через три пришел ответ: факты не подтвердились, так как гражданин Смирнов-Ворохин В.А. в списках граждан, побывавших в вырезвители, не значится...

Был и совсем особый случай. Возможно, из всех самый нелепый и самый страшный. Я тогда только что приехал в Москву, не имел друзей, без чего обошелся бы, и не имел подруг, без чего труднее. А в ту пору выпускалось огромное количество газет, где целые полосы отводились под разделы «Досуг», «Отдых» и «Массаж». Однажды вечером я не удержался, позвонил. Голос милый, цена подходящая, ехать недалеко. Отправился. Девушка была в квартире одна. Пригласила в кухню, налила чаю, который я не стал пить, сама ушла, потом вернулась, глаза были неестественно блестящие и с какой-то безуминкой. И волосы, похоже, давно не мыты, и халатик грязноват... Рукава постоянно одергивает...



— Ну, чего? — спросила она. — Время идет, между прочим.

— Да как-то... Знаете, я вспомнил... У меня одно дело...

— Я тебе не нравлюсь?

— Нравитесь, но... Если честно, просто как-то... Ну, это же от настроения зависит. Может, мне просто прогуляться надо было. Прогулялся — и все в порядке. Так что — извините за беспокойство.

— А деньги?

— За что?

— Слушай, — объяснила она. — Ты не первый такой. Я тебя впустила? Впустила. Время тратила? Тратила. То есть, как в магазине — купил вещь, значит купил. А носишь ты ее или нет, твое дело. Понял?

— И возврату не подлежит?

— Вот именно. Деньги — и будь здоров.

Мне не хотелось спорить, я не жлоб, да и деньги не огромные. Достал бумажник, раскрыл. И понял, что деньги оставил дома. Черт знает, как это получилось. В бумажнике три отделения — для мелочи, для небольших купюр и для крупных. Мелочь и несколько небольших купюр есть, а крупных — ни одной.

Я объяснил это девушке.

— Извини, но это — все, что есть. Мне кажется, разумная плата за беспокойство.

— Ты меня кинуть решил? Думаете, меня так легко кинуть? — крикнула она мне и еще кому-то, чьи тени ей виделись за моей спиной.

И схватила нож. Большой нож для разделки мяса.

Я вскочил, прижался к стене, закричал:

— Дура, ты чего?

— Деньги!

— Дома случайно оставил, говорю же!

— Все вы случайно оставляете! Деньги, я сказала! Знаю я ваши сказки! Мне тут Робик недавно тоже...

И она, расхаживая взад-вперед и потрясая ножом, сумбурно рассказала историю про какого-то обидевшего ее Робика. Не помню, в чем там было дело, я следил не за нитью сюжета, а за ножом.

— Успокойся, — сказал я. — Вот, смотри, я все карманы выворачиваю. Нет денег. Где я тебе их возьму? Вот — часы. Они дороже стоят. Бери.

— На фига они мне? Так, ладно. Звони кому-нибудь, пусть привезут. Но если это будут менты, если это будет какая-нибудь подстава, зарежу и тебя, и их. Всех убью!

— Ты наркоманка, да?

— Вопросы после, звони!

— Я приезжий. У меня нет знакомых в Москве.

— Не ври! У каждого человека кто-то в Москве есть, даже у меня! Звони!

— Как тебя зовут? По-настоящему?

— Никак, звони!

Мы пререкались еще некоторое время, я видел, что она уже устала, что ей хочется отлучиться туда, куда она уже отлучалась, и подкрепиться.

Я сконцентрировал в глазах и голосе всю природой мне данную способность к искренности и сказал:

— Вот что. Звонить мне некому. Денег у меня нет. Я бы паспорт в залог оставил, но и паспорта с собой нет. Но я никогда не обманывал женщин. Никогда. Никого. То есть — изменял, было, но я не об этом. Если я что обещал, я выполнял. Обещаю — через час привезу тебе деньги. Я же понимаю, тебе плохо. Хочу помочь. Поверь мне. Ты умеешь хоть кому-то верить?

— Нет.

— Ну, тогда прирежь меня. Кому от этого будет лучше?

Она подумала и сказала:

— Ладно, облом. Проваливай.

— Я принесу.

— Проваливай, сказала!

И я ведь действительно съездил за деньгами, привез ей. Но она не открыла. То ли спала тяжелым наркотическим сном, то ли была занята с клиентом...

Глупый случай. И даже смешным кому-то может показаться. Но мне было не смешно, когда она размахивала ножом передо мной. Я думал: оказывается, и вот так люди погибают — от дурного ножа съехавшей с катушек проститутки...

То, что происходит сейчас, совсем другое. У этих людей — идея. Один из них недавно сказал кому-то в зале — громко, чтобы все услышали: «Нас послал Аллах. Наше желание умереть сильнее, чем ваше желание жить».

Фраза явно заученная, но сказано было от всей души. Сначала заучил, потом поверил. Так оно и бывает.

Послал их, конечно, не Аллах, а конкретные люди. А желают они умереть потому, что у них свое представление о смерти. Они надеются на вечное блаженство, на рай. Каков он, рай у мусульман? Ты ничего про это не знаешь. А жаль, мог бы исподволь вступить в беседу, убедить, что он превратно истолковывает собственную религию.

Занятно: ничего не зная об этой религии, ты уверен, что он ее превратно истолковывает. Это твое убеждение основано на том, что ни одна религия не может быть основана на пролитии крови. А если основана? Лили ведь кровь крестоносцы во имя Господа?

Так. Ты, кажется, начинаешь их уже оправдывать?

Хельсинский синдром? Или стокгольмский? Что там было, кто кого захватил? Не помнишь. Ты считал, что это, да, страшно, но где-то очень далеко. И теракт в Нью-Йорке год назад, крушение башен и гибель тысяч людей — да, страшно, но далеко. К тому же, будь

честен, и в твою голову вползала, вползала мыслишка: сами виноваты!

И вот оно — тут, с тобой.

Тоже сам виноват?

Но ведь виноват! — ведь не случайно оказался здесь. То есть как бы и случайно, но, когда выстраивается ряд случайностей — получается закономерность. Не потянуло бы в эту липкую для души Москву, не переехал бы в этот тщеславный город — не оказался бы здесь. Не занялся бы рекламой, не получил бы в презент билеты на рекламируемый тобой спектакль — не оказался бы здесь. Не пришла бы в голову мысль пригласить новую сотрудницу, красавицу Лизу, — не оказался бы здесь. А она тут же попросила билетик и для дочери, и неудобно было отказать.

И ведь никаких планов насчет Лизы не строил, зачем она тебе? Про запас, что ли? Или это желание отблагодарить за тот интерес, который она к тебе проявила с первых же дней? И было ощущение — что чего-то ждет.

Ну да, теперь Лиза у тебя во всем виновата.

Не можешь удержаться, злишься на нее, на себя.

Заодно на все остальное. На дурацкое это представление с пением и плясками, воспевающее советский романтизм и героизм. На публику, которая пожелала приобщиться к культуре посредством ее суррогата, но суррогата модного, что важно, недаром же билеты так дорого стоят. Вся Москва ходит, как же нам не пойти?

Злишься на правительство с этой его дурацкой войной и нежеланием отпустить Чечню на все четыре стороны. Отгородить ее от России десятиметровым забором — намного дешевле, чем воевать. И пусть живут, как хотят. Горцы — они везде горцы. Они и на Балканах всегда бузили, и в Шотландии бузят, и в Стране Басков бузят.

Злишься на ислам, а заодно на христианство, иудаизм и все прочие религии. На фашизм и коммунизм заодно. На всякую общественную идею — до кучи. Все они как бы ради блага, все призывают к миру, но по удивительному совпадению все породили океаны крови. По одной простой причине: для членов одной идейной группы, религиозной, национальной, партийной, любой другой, все остальные — чужие. Эти члены и их пастыри могут сколько угодно твердить, что они уважают чужие воззрения, что те, кто не разделяет их идей и верований, тоже люди, но в этом *тоже* вся собака и зарыта. Я — человек. А ты — *тоже* человек. *Тоже*, да не то же. А от этого до массовых убийств — один шаг. Отменить бы законодательно по всему миру все религии. И все национальности заодно. В паспортах писать: вера — человек, национальность — человек! Несогласных и бунтующих — лечить. Неизлечимых — в тюрьму.

Идет время...

Удивляешься, куда тебя заносит мыслями, но и радуешься способности отвлекаться.

Время идет, в полудреме начинают одолевать совсем глупые фантазии, как в детстве: вот если бы я умел летать, если бы умел становиться невидимым, если бы обладал сверхсилой... Интересно, почему у американцев такая развитая индустрия супергероев? И почему она совершенно не прижилась у нас, не получила никакого развития? Былинные богатыри не в счет, они в прошлом. Думаю, ответ прост: наше государство неуклонно пресекало у рядового человека посягательство на то, чтобы стать сверх-кем-то. Община государству охотно помогала, распахивая всех сверчков по своим шесткам. Чтобы не беспокоили.

И все же, умел бы я становиться невидимым, а заодно быстрым, я бы сейчас всех разоружил, обезвредил бы бомбы — и сел на место как ни в чем не бывало.

Захватчики нелепо бегают, ничего не могут понять. Смертницы ищут проводки, начинают по-девчоночьи плакать. А зал — хохочет.

Меж тем вне зала, в холле и коридорах, что-то происходит. Может, прибыли члены правительства для переговоров?

Но пока никаких результатов. По залу носятся шепотки слухов. Будто бы никто не хочет идти на уступки.

Значит — тупик?

Вдруг ясно понимаешь: ты ничего не сможешь сделать. И никто ничего не сможет сделать. Какие еще переговоры? О чем? Одни хотят одного, другие противоположного. Возможно, тут столкнулись две цивилизации. Отличие простое: мы готовы если не принять, то хотя бы понять, что ими движет. Они же ни принимать, ни понимать не хотят. Мы признаем, что они тоже люди, пусть с этим опасным до убийственности ТОЖЕ, мы для них — враги. Мы даже способны, ты судишь по себе, попытаться влезть в их шкуру и понять, что они думают. Они на это не способны никогда, для них сама мысль об этом была бы такой же нелепой, как идея напаять на себя шкуру свиньи.

Захватчики не торопятся нас убивать, у них нет такой цели. Но ты слышишь их голоса, в которых все явственнее нотки раздражения и растерянности, видишь безнадежные и спокойные в заведомом принятии смерти глаза женщин. И понимаешь: будет штурм. Что они придумают, неизвестно, но штурм обязательно будет. Погибнут люди. Сто, двести, триста. Вряд ли все. Заряды не настолько мощные, чтобы обрушить здание.

Мысли становятся ясны. Задача видится простой. Выжить. Быть готовым. Когда начнется — схватить Лизу и Аду, втиснуть меж кресел и лечь на них. И ждать.

Испытываешь что-то вроде облегчения. Будто пал ты с высоты и нелепо думал, как избежать удара о землю, а потом понял, что удара не избежать и начал думать, как сгруппироваться, чтобы иметь шанс выжить. Пусть небольшой, но он есть.

Ты берешь руку женщины, смотришь ей в глаза. Улыбаешься. Она не понимает. Ада смотрит удивленно.

— Все будет хорошо, — говоришь уверенным голосом.

— Вы что-то знаете? — спрашивает с надеждой Ада, и я вижу, что она милая девочка, просто немножко нескладная от возраста, она этого стесняется, поэтому выглядит неприветливой.

— Да, — говорю я. — Знаю.

Чем кончилось, всем известно.

А мы — я, Лиза, и Ада остались живы, слава Богу.

Это единственный случай в моей жизни, когда я оказался внутри события, известного на весь мир. ГКЧП, защита и осада Белого дома, массовые шествия за и против, масштабные аварии, взрывы — все это было вне моего существования. И, казалось, так и будет.

После того дня, той ночи я понимаю — может случиться опять в любой момент.

И часто снится.

И до сих пор преодолеваю себя, когда вхожу в лифт. Не клаустрофобия, но что-то похожее.

А еще странное ощущение каждое утро, когда просыпаюсь — что я не просто проснулся, а очнулся от временной смерти.

Выжил.

# ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

(2007)

Распахнутые двери, красная ленточка, я с ножницами – почетный московский гость.

Местное отделение Союза художников открыло новую галерею. Устроили выставку, позвали и меня, как не позвать, если я помог материально, перечислил ощутимую сумму в какой-то фонд поощрения искусств, на средства которого и создали галерею.

И три моих картины повесили в знак уважения.

Рудольф Кучумов, неувядаемый патриарх, мастер станка и кисти, лично встретил меня в аэропорту, а теперь стоит рядом, сияя.

Многих тут я не помню или не знаю. Их полсотни собралось, не меньше. Средний возраст – лет шестьдесят.

Я готовился перерезать ленточку, вторые ножницы были у Кучумова, но ждали еще кого-то. Молоденькая девушка держала подушечку с третьими ножницами. Наверное, начальство должно подъехать.

И оно подъехало – прямо по тротуару подкатил большой черный автомобиль. Из него живо и ловко выпрыгнул стройный мужчина в летнем бежевом костюме, в слегка затемненных очках, были на нем также светло-коричневые туфли, белая рубашка в еле заметную красноватую клетку, легкий галстук цвета розовый антик, слегка приспущенный под расстегнутой



верхней пуговицей — и демократизм виден, и приличия соблюдены. То есть выглядел он весьма стильно, даже изящно, что удивило бы тех, кто провинциальных начальников представляет увальнями с животиками, цепляющими яркие, широкие галстуки на рубашки с короткими рукавами, да еще в светлых босножках, надетых на черные носки. Нет, провинция давно обтесалась, сам отсюда, знаю.

Однако я разглядывал прибывшего недолго, потому что вслед за ним из машины вышла Вера.

Такая же тонкая, красивая и, показалось, такая же молодая, какой я видел ее лет десять назад.

Начал лихорадочно считать, сколько же ей сейчас?

Дурак, как сколько? — столько, сколько и тебе, вы же ровесники!

А мне сколько?

Сорок восемь! То есть сорок семь пока, но скоро...

Вера улыбнулась мне, но не подошла — мероприятие уже началось, приехавший начальник взял ножницы.

Ленту растянули, мы одновременно разрезали ее под чьи-то торжественные возгласы, мне вручили пакет с эмблемой экспозиции и куском этой самой ленты, все повлеклись внутрь.

Там начальник произнес речь о важности этой культурной инициативы и о роли живописного творчества наших художников в жизни города и области. Говорил без бумажки, гладко.

Я встал рядом с Верой. Дотронулся до ее руки. Шепнул:

— Привет.

— Здравствуй, Витя!

— Я собирался тебя найти, а ты вот сама... С кем это ты приехала?

— Крупицын, — услышал мой вопрос сзади стоявший Кучумов. — Крупицын Алексей Иванович. Супруг нашей Веры Иннокентьевны.

— При чем тут это? — оглянулась она на него и отошла в сторонку.

Я — за ней.

— А что, муж уже вернулся из кругосветного путешествия?

— Это не он. С тем мы все-таки развелись, и он все еще яхту строит. Столько всего произошло! Я уже три года с Алексеем. А дочь вышла замуж за итальянца, представляешь?

— Сейчас это обычное дело.

— Живут в Венеции, у него бизнес свой — прохладительные напитки и мороженое.

— Для их климата актуально.

— Еще бы! У них под Венецией вилла — роскошная! Но я еще не бабушка, они с детьми не спешат.

— Ты все такая же.

— Да брось. Нет, слежу за собой, но все равно. Видишь — лапки кошачьи на глазах? Первый признак возраста!

— Мне они нравятся.

— Алексей так же говорит.

— И что же у вас, любовь горячая была?

— Почему была? И сейчас. Я не хотела, все-таки у него семья была, двое детей, он, кстати, их сейчас полностью обеспечивает. Но он такой был настойчивый... Можно сказать, всю жизнь на кон поставил. А у меня такие обстоятельства были, что я... В общем — судьба.

— Если судьба, не поспоришь.

Крупичин кончил речь, художники и приглашенные пошли по залам.

Вера познакомила меня с мужем, он пожал мне руку.

— Слышал, слышал о вас, очень приятно, спасибо, что удостоили! Хорошо, что сегодня суббота, отдохнем! Прямо отсюда к нам и поедем, да, Верочка?

— Почему бы и нет? Домой?

— На дачу, воздухом дышать!

По пути Вера объяснила: у них, кроме городской, ее, Веринной, квартиры, два дома — один на краю города, почти в лесу, а второй, который Крупицын назвал дачей, в приволжском селе Пристанном, куда мы сейчас и едем.

— Ты же помнишь эти места?

— Конечно. Места козырные.

Дом в Пристанном оказался не просто домом и даже не особняком, это был замок. Я думал, сейчас уже таких не строят, прошла мода на башенки, зубчики, флюгера и тому подобное. Но выяснилось, что Алексей его и не строил, а купил и собирается переделывать.

— Очень уж пошло выглядит. Хочу проще, и побольше дерева. Очень люблю дерево. Все натуральное вообще.

Мы устроились в зарешеченной беседке, увитой диким виноградом. Блюда приносила молчаливая женщина. Они называли ее тетей Катей.

На столе было скромное изобилие — сыр, кусочки постной вареной говядины, помидоры, редиска, много разной зелени. Видно было, что хозяева придерживаются здорового питания. Было и вино, которое Крупицын пил охотно, но понемногу, Вера чуть пригубила, а я отказался.

— Как там в Москве наши? — спросил Крупицын. — Как Вячеслав Вячеславович поживает?

Я понял, кого из знаменитых земляков он имеет в виду, и ответил:

— Если честно, понятия не имею.

— Неужели не пересекаетесь?

— Нет. Разные сферы.

— Разве? Вы человек тоже известный, Верочка говорила, что по телевизору вас видела.

– Передача была про социальную рекламу, – напомнила мне Вера. – Ты участвовал. Гляделся отлично, кстати.

– Да, что-то было... На самом деле я рекламой почти уже не занимаюсь. А с Вячеславом Вячеславовичем мы даже не знакомы.

– Он умница у нас! Эрудиция, такт, воля, все есть у человека! Согласны?

– Да...

– Главное – имеется четкая и внятная политическая линия, я понимаю, чего он хочет. Это сейчас очень важно, согласитесь.

Я опасался, что он заговорит на важные государственные темы, о курсе на духовное возрождение, патриотизм, традиционные ценности и особый русский путь. Но Крупицын, видимо, был хорошо воспитан и знал, что с гостем принято беседовать не о том, что интересно тебе, а о том, что близко ему.

И он со знанием дела, с уважением отозвался о местных творческих традициях и течениях, о современных художниках, в том числе обо мне.

– Я ваши картины в интернете видел, Верочка показывала. Цветопередача оставляет желать лучшего, но все-таки суть видна. Что приятно – хоть у вас и склонность к гротеску, но видно, что вы уважаете людей, которых изображаете. А то все ударились в такую, знаете, карикатурность. Мода, понимаю, примитивизм и наив! Нет, это тоже имеет право на существование, но – глубины нет, понимаете? Будто они не рисуют, а высказываются. Не картина, а фельетон – или рассказ в лучшем случае. Или наоборот, чистый концепт, такая многозначительность, а на самом деле – та же мода. Ощущение, что сначала они придумывают себе имидж, а потом под него подстраиваются. Я не прав?

Крупицын был прав. Все, что он говорил, было вполне здраво и почти совпадало с моими мыслями.

Вера слушала его с улыбкой, поглядывая на меня и гордясь тем, что у нее такой умный и славный муж.

После завтрака решили сходить на Волгу. У меня в сумке был плавки, я переоделся.

— Пляж у нас тут загаженный, — заранее извинился Крупицын. — Но в принципе песок ничего, мелкий, белый. Надо машину купить специальную, помнишь, Верочка, мы в Марокко видели?

— Там было прекрасно, — сказала Вера. — Там климат, Витя, особенный.

— Это верно, — подтвердил Крупицын. — Жара тридцать пять градусов, а не чувствуется. Потому что влажность нулевая.

Мы шли тихой улицей, где одноэтажные деревянные и кирпичные дома соседствовали с особняками поселившихся здесь богатых людей.

— И дождь там был необыкновенный, — Вера продолжала делиться приятными воспоминаниями. — Даже не дождь, а такая взвесь. Мелкая-мелкая. Будто он не льет, этот дождь, а висит вокруг тебя, да, Леш?

— А цветы помнишь?

— Цветы, точно! Мы в отдельном бунгало жили, по периметру цветник, и запахи — просто сумасшедшие!

— Возбуждающие, я бы сказал, — намекнул Крупицын.

— Перестань! — засмеялась Вера и шлепнула его ладонью по плечу.

Пляж тянулся узкой полосой вдоль Волги. Над ним дорога, на дороге впритык друг к другу множество машин. Мы спустились по короткой бетонной лестнице. Под нею, до уровня верхних ступеней, была мусорная куча — пластиковые пакеты, банки, бутылки, все то, что остается от пикников.

— Я же говорил! — огорчился Крупицын. — И там, и там, везде! — он указал на другие кучи, торчавшие по всему пляжу. — Раз в неделю машина приезжает, ра-

бочие в мешки грузят и таскают, но есть ведь контейнеры, наверху стоят, почему туда не отнести? Десять шагов сделать не могут!

— А тут контейнеры поставить? — предположил я.

— Тут к ним машина не подъедет. Да ладно, чего мы, вам, наверно, не терпится в родной Волге искупаться?

— Всегда, когда приезжаю, стараюсь попасть на Волгу. И зимой тоже — просто посмотреть.

Мы с Крупицыным разделись и пошли к воде, Вера осталась.

Смотрит, думал я. Сравнивает.

И появилось вдруг мальчишеское желание удивить и напугать. нырну сейчас так далеко и так долго, как умею. Пусть поволнуются. Я опередил Крупицына, вошел в воду, на ходу глубоко дыша, запасаясь воздухом, и, когда было по пояс, нырнул. Плыл, касаясь руками дна, чувствуя, как вода становится холоднее. Значит, понемногу ухожу в глубину. Взял повыше, сильно загребал руками, работал ногами. Метров пятьдесят уже точно есть, на воде это расстояние кажется впечатляющим. Но кураж еще остался, еще не задыхаюсь, можно дальше... Тут вода внезапно потеплела, и я въехал носом в дно. Отмель. Рванулся вверх, вынырнул, проплыл немного поверху, повернулся.

Не сразу разглядел Веру, потому что смотрел перед собой, а при нырянии меня унесло вбок. Она бежала по пляжу и что-то кричала. Я поднял руку, помахал.

Не спеша вернулся, вышел из воды.

— Ну, вы даете! — сказал Крупицын. — Дайвингом занимаетесь?

— Напугал до смерти! — сердилась и смеялась Вера. — Что это? У тебя кровь?

Я прикоснулся пальцами к носу. Защицпало.

— Не рассчитал, в дно воткнулся.

– Продезинфицировать надо!

– Да ерунда.

– Вот, возьми.

У Веры была с собой пляжная сумка из соломки, в ней бумажные носовые платки. Я приложил платок к носу.

– Пойду и я поплаваю, – сказал Крупицын.

– Только не ныряй! – предупредила Вера.

– Куда уж мне!

Крупицын пошел к воде, я остался с Верой. Молчал. Было неловко. Я не знал, о чем говорить. Не о Марокко же с его удивительными дождями и возбуждающими цветниками.

– Там мороженое продают, хочешь? – спросила Вера.

– Можно, спасибо.

– Я сейчас.

Едва она отошла, передо мной возникла рыхлая тетя. Лямки купальника скрыты в обильных телесах, мокрые короткие волосы приглажены, голубые глаза глядят весело, рот раскрыт в улыбке, обнажая зубы – наполовину свои, наполовину желтого металла, как пишут в милицейских протоколах.

– Привет, погостить приехал? – спросила она.

Лицо ее было знакомо, но я ее не узнал.

– Да, ненадолго.

– Как ты?

– Помаленьку.

– Я тоже по чуть-чуть. Сережу схоронила, ты слышал, наверно?

– Да... Соболезную.

– Живой был – ненавидела, а теперь так жалко... –

Она оглянулась на реку и спросила: – А ты разве с вторсырьем в друзьях был?

Я не понял:

– С кем?

– Леха-Вторсырье. Вы вместе же пришли.

– Я с его женой в школе учился. А его сегодня первый раз увидел. Почему Вторсырье?

– Неужели ты о нем не слышал?

– Я уехал в девяностые.

– Тогда ясно. Он не очень светился, это сейчас его каждая собака знает. Поднялся на пунктах приема цветных металлов, свалки и помойки – тоже его бизнес был. Между нами, бандюга тот еще. Сережа у него одно время работал, так он однажды его так избил, что два ребра сломал.

– За что?

– Ну, выпил Сережа немного, что-то ему не то сказал. Спасибо, что не убил.

– А мог бы?

– Не только мог, а даже говорить не хочу! Может, врут, конечно, только у нас народу все известно! Сейчас-то он во власть ушел, убивать уже никого не надо, все сами отдают. Ты сейчас женат? – неожиданно переключилась она.

– Да. Дочь растет.

– Вот как у вас, мужиков. Одну жизнь не дожил, а уже вторую начал. Я Галину, бывшую твою, хорошо знаю. Женщина, конечно, с характером, но молодец. Я вот без характера – и одни неприятности от этого. Нет, ты прав. Если не живется с человеком, зачем мучиться? Это я, дура, терпела своего Сережу. А варианты были. Ну, ты и сам помнишь! – она засмеялась и ткнула меня кулаком в бок.

– Да уж, чего только не было! – попробовал рассмеяться и я. Получилось кисло.

– Ты надолго к нам?

– Не знаю пока.

– Номер мой запиши.

Я достал телефон, она продиктовала, я записал. Она стояла рядом и смотрела. Мой палец завис. По-



сле номера следовало написать имя, а я его, убей, не помнил.

— Ни фиги себе, Витя, — сказала она. — Забыл, да? Что, серьезно? Бляха-муха! — покачала она головой. И догадалась: — Слушай, да ты, наверно, меня вообще не узнал? Да?

— Узнал. Просто... У меня на лица память отличная, а на имена...

— Ну, извините тогда за беспокойство. Привет Москве!

Она пошла прочь, высоко поднимая ноги и то и дело стряхивая песок, набивающийся в резиновые шлепанцы.

Вернулась Вера с мороженым.

Крупичын все еще плавал.

— Значит, Леха-Вторсырье? — спросил я. — Вот уж, действительно, навозну кучу разрывая...

— Не смешно, Витя. И не умно. Кто-то уже чего-то насплетничал?

— Это правда, что он людей убивал?

— Правда то, что его убивали. Видел шрамы у него на спине?

— Я мужчин с тыла не рассматриваю... Верочка.

— Да, он меня так называет. Тебе и это смешно?

— Почему — он? Вы совсем разные. Видно, что хватался, обтесался, но все равно сквозит что-то... Этого не спрячешь. Я не мог понять, теперь понимаю. Леха-Вторсырье, этим все сказано.

— Ничего не сказано. Мало ли кто кем был, важно, кто кем стал. И ты ведь не знаешь, в каких обстоятельствах мы встретились. У меня было так все плохо, что... На грани катастрофы. И дела рухнули, и здоровье... Я умирала просто.

— Могла бы позвонить.

— С какой стати? Нет, я думала о тебе, но... Он очень вовремя появился.

– Ясно. Воспользовался шансом.

– Даже если и так. У тебя тоже были шансы, мог воспользоваться. Не захотел.

– Я? Я только этого всегда и хотел!

– Плохо хотел, значит. И все, хватит об этом.

Мы и не смогли бы продолжить разговор: из воды вышел Крупицын.

Вернулись на дачу, то есть в замок, Вера обработала мне нос йодом и залепила круглым пластырем телесного цвета. Я стал похож на клоуна. Всем было смешно.

– Мне пора, – сказал я.

– Что это вы? – огорчился Крупицын. – Сейчас шашлычок организуем!

Мне хотелось сказать ему, что я терпеть не могу процесса организации шашлычков, как и сами шашлычки. Мне ужасно хотелось назвать его при этом Лехой-Вторсырьем.

Но я сдержался, сказал только, что меня ждут неотложные дела.

Появился молодой человек, шофер Крупицына, Крупицын распорядился отвезти меня, куда я скажу.

Супруги сердечно проводили меня до машины, Крупицын крепко пожал руку, а Вера грустно улыбнулась, показывая мне, что опечалена расставанием. И у нее это получилось.

Я ехал и представлял, как они возвращаются домой – с облегчением, которое всегда бывает после приема гостей, независимо от того, желанны они или нет.

– Нормальный мужик, мне понравился, – возможно, скажет Крупицын.

– Да, – скажет Вера.

– И не гордый, хотя – и художник, и москвич. Свойский такой.

– Да, – скажет Вера.

На самолет до Москвы билетов не было, поэтому я отправился на вокзал и уехал ближайшим поездом.

Я был уверен, что больше никогда не увижу Веру. Так и вышло, но не по моей воле: через три года Вера умерла.

Рассказывали, что Крупицын не отходил от нее до последнего мига, на руках относил в процедурные кабинеты, на всякие рентгены и томографии, на похоронах рыдал как ребенок.

К прежней семье не вернулся, через несколько лет женился на молоденькой и опять счастлив.

# ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩАМИ

(2009)

Я стою неподалеку от двери женского туалета. Это каменное строение в глубине парка. Мужское отделение — с обратной стороны.

На асфальтовой дорожке среди кустов появилась дама средних лет. Увидев меня, замедлила шаги. Остановилась. Повертела головой, как бы недоумевая: куда это я зашла? Повернулась и стала удаляться.

Я засмеялся:

— Идите, не бойтесь, я тут просто — жду!

Дама пошла еще быстрее. Ждет он, видите ли. Не дожدهшься!

Вышла Анечка.

— Ты с кем говорил?

— Да так... Все нормально?

— Пап, ты вопросы иногда задаешь!

— Действительно.

Я улыбаюсь, глядя на свою девятилетнюю, рассудительную и красивую дочь.

Наконец-то мы выбрались погулять. Еще вчера решили, что на ВВЦ. Тут открылся аттракцион с огромными макетами динозавров, Анечке захотелось посмотреть. Она любит читать и смотреть фильмы про животных, про природу, говорит, что, когда вырастет, вступит в партию зеленых и будет заниматься проблемами загрязнения мира. Особенно ее беспокоит Тихоокеанское мусорное пятно.

Ирина хотела поехать с нами, но утром передумала: слишком много скопилось домашних дел. И надо еще несколько писем написать по работе, кое-что почитать...

Анечка слегка обиделась. Она любит, чтобы все вместе. И я, и мама, и бабушка. Вечерами зовет всех к большому телевизору, присоединенному к компьютеру, чтобы показать очередной фильм о природе. Счастлива, когда семья усаживается на диван в полном составе. Это бывает редко.

Она захотела поехать на ВВЦ воздушным трамваем. Так Анечка называет монорельсовую дорогу, которую долго строили, то открывали, то закрывали, и вот недавно она стала работать регулярно. Анечка одобряет строительство таких линий: электрический транспорт экологичен, для его строительства не надо портить много земли, как бывает при сооружении обычных дорог или метро.

Мы доехали на такси до метро «Тимирязевская». Там – конечная монорельса.

Поезд полз довольно медленно и шатко, но при этом без пробок, без перекрестков. Вряд ли на метро или на машине мы доехали бы быстрее.

Анечка с интересом смотрела по сторонам.

– Нравится? – спросил я.

– Все страшно захлавлено, – озабоченно сказала она.

ВВЦ, где она была год назад, ей тоже не очень понравился. Неодобрительно оглядывала выстроившиеся длинными рядами ларьки с джинсами, кроссовками, футболками.

– Сплошная коммерция, а тут люди отдыхать должны!

Мы съели по мороженому, выпили газировки, потом она захотела в туалет.

И вот идем к динозаврам.

Анечка рассказывает о них, но меня постоянно отвлекают звонками сотрудники. У нас выгодный и срочный заказ, многие работают без выходных. Вот и звонят, советуются.

— Извини, — говорю я Анечке. — Что там про рапторов?

— Сам увидишь.

— Ты не сердись. Такая у меня работа. Да кризис еще.

— У вас всегда кризис. А с мамой что?

— С мамой все нормально. Ты говоришь, они ходили на двух ногах, и в этом преимущество. Почему? Гепарды вон на четырех, а бегают очень быстро.

Анечка объясняет.

Я думаю о работе. О том, что с Ириной не все нормально. И со мной тоже.

Недавно у нас был десятилетний юбилей знакомства. Отмечали вдвоем, в «Пушкине». Я заказал шампанское, она нахмурилась, я обиделся, сказал, что сам пить и не собирался, и вообще, эта проблема в прошлом.

— Ты всегда так говоришь.

— Хорошо, уличила.

— Просто понять хочу — в чем дело? Чего тебе не хватает?

— Мне всего хватает.

— Ты ничем не делишься, молчишь. Раньше о работе рассказывал.

— Теперь не хочу. Скучно. Наверно, скоро все брошу. Отойду от дел.

— Почему?

— Я ж сказал: скучно.

— Хочешь творчеством заняться?

— Не знаю. Вряд ли.

— А что тогда?

— Ничего. Послушай, только что у меня было прекрасное настроение...

— У меня тоже.

И так, слово за слово, праздник превратился в унылое выяснение отношений, унылое и бессмысленное, потому что мы, как и большинство супружеских пар, до конца эти отношения никогда не выясняем, то есть не говорим всей правды. По простой причине: как только мы и прочие пары скажем всю правду друг другу, так тут же парами и перестанем жить. Все браки держатся на ежедневной лжи, которая не обязательно выражается в словах, чаще — в умолчаниях. И это было уже в моей жизни и тянулось почти два десятилетия. Неужели — опять?

Я не сразу замечаю, что Анечка замолчала.

— И рапторы, значит, оказались в выигрыше? — спрашиваю.

— Я про стегозавров говорила.

— Да, извини. Они победили?

— Всё, проехали!

Включаю воспитательную интонацию:

— Анечка, не совсем вежливо так говорить с отцом.

— Какая разница, ты все равно не слушаешь.

— Я слушаю, давай.

Она молчит.

Входим в павильон с вывеской «Прогулки с чудовищами», где эти самые динозавры. Берем билеты — очень дорогие. Расчет простой, это же для детей, а на детях не экономят.

Нужно дождаться, когда соберется группа и придет экскурсовод. Но Анечка не хочет.

— Я и без них все знаю.

Идем по залам и осматриваем резиновых чудищ.

Анечка внимательно читает таблички с описаниями. Обращается к девушке-смотрительнице с бейджи-ком на блузке.

— А почему у вас в рекламе было написано, что масштаб один к одному? На самом деле они меньше.

– Разве?

– Конечно. Вон зауропод, у них одна шея десять метров была. А у вас он маленький.

– Это детеныш, – находит ответ смотрительница.

– И почему «Прогулки с чудовищами» называется? Они же на месте стоят.

– Но вы-то прогуливаетесь, – опять нашлась девушка.

Интересно, как люди додумываются до такого бизнеса, как в него попадают? И ведь выгодное, наврное, дело: заказал один раз эти чучела, заплатил за них и за аренду, и стриги прибыль. Не хлопотно, спокойно. Сдул чучела, перевез в другое место, одной небольшой фуры хватит, и стриги опять. Я бы так хотел: одно дело, одна головная боль. А не десятки разных задач, которые приходится решать каждый день, часто одновременно.

Меж тем девушка эта чрезвычайно мила. Лет двадцать пять, кожа смугловатая от природы или загорелая, глаза синие.

Тоже вот вопрос, почему такие красавицы не снимаются в кино, не ходят по подиуму, не выскакивают замуж за миллионеров, устраиваются на странные работы вроде этой?

Анечка продолжает допрос.

– А почему у вас тираннозавр шипит? У них голос был очень громкий и резкий.

– Да? Вы их слышали?

Девушка назвала Аню на «вы», хотя и с легкой иронией. Аня ей эту иронию простила и приняла как игру. Ответила в том же духе:

– Конечно, слышала. – И пояснила: – В фильмах. Ученые звук восстанавливают – точно такой, как был. У них крик был резкий.

– И у нас был резкий, – ответила девушка. – Да еще и головой он вертел. Но одна посетительница на-



жаловалась — маленький ребенок испугался. Я тут как раз была, видела. Кричал от страха — громче тиранозавра. Мы решили убавить звук. И голову зафиксировали.

— Не надо слишком маленьких пускать.

— Это точно, но не я решаю. Уж извините! — со смехом сказала девушка.

— Извиняю! — засмеялась и Анечка.

Девушка говорила с нею на равных, моя дочь это оценила.

И пошла дальше. А я отстал, спросил смотрительницу:

— Вы, наверное, биолог по образованию?

— Почему?

— Ну — динозавры же.

— А. Нет, временно устроилась.

— А я рекламой занимаюсь. Ищу интересные лица.

Как вот ваше.

— Снять хотите?

Вопрос прозвучал двусмысленно, но девушка при этом усмехнулась вполне добродушно. И решил рискнуть и ответил:

— Да, очень бы хотел.

— А что рекламируете?

— Одежду, косметику, детские товары. Легче сказать, что не рекламируем.

— Я сама фотографией увлекаюсь.

— Тем более — есть о чем поговорить.

Пора оставлять ей визитку, но я медлил. Это ведь значит — разговор закончен, а мне хотелось с ней еще поговорить. Голос приятный. Красивых и приятных голосов очень мало, даже меньше, чем стройных ног, о чем Пушкин сокрушался.

Мысли мои мне показались пошловатыми и, чтобы исправиться — перед самим собой, девушка ведь об этих мыслях не подозревала, — я сказал:

– Обычно те, кто сам снимает, лучше понимают, как сниматься.

– Да, я знаю, я уже это пробовала. Для женского журнала. Три дня фотографировали, а потом до свидания – и все. Нигде ничего не появилось.

– Почему?

– Не знаю. Красивых девушек у нас полно.

– Проблема, наверное, в том, что вы – не типажная. Красивая, но – сами по себе. У многих есть стандарты. И они своеобразные: девушка должна быть одновременно красивая – и никакая.

– То есть?

Я увлекся знакомой темой.

– Ну вот, например, так называемые бельевые модели. Рекламируют сами понимаете что. Лицо должно быть приятное, но не запоминающееся.

– Чтобы не отвлекало от белья?

– Именно. И так во всем: лицо должно привлекать к товару, но не настолько, чтобы переиграть сам товар.

– А как же знаменитые модели? Они запоминающиеся.

– Там другой уровень, там работает имя. Имя – бренд. Бренд имени присоединяется к бренду товара. Поэтому, когда говорят – лицо такой-то компании, на самом деле имеют в виду имя. А лицо можно любое сделать.

– Интересно.

– Еще как.

Я вытащил бумажник, где были визитки. Но визитку не достал.

– Черт, кончились. Давайте так: скажите мне телефон, я сам позвоню.

Она сказала мне телефон, я записал его в свой.

Имя – Маша.

Очень приятно.

Распроставшись, я пошел искать дочь. Уходил от Маши упругим молодым шагом. Если она смотрит вслед, оценит стройность и стремительность походки.

Вот как бывает в жизни: не знаешь, где потеряешь, не знаешь, где найдешь.

Я прошел все залы, Ани нигде не было.

Слегка встревожившись, вышел из павильона.

И телефона у нее нет. Пора купить. Да и давно бы купили, она сама не хочет. Я как-то спросил почему.

— Потому что у нас в классе у всех телефоны.

— И что?

— А то. Не хочу.

Очень самостоятельная девочка.

Я прошелся туда, сюда, кружил по окрестным дорожкам и тропинкам.

Аня сидела на лавочке возле площадки аттракционов.

— Ушла и не сказала, — упрекнул я.

— Не хотела мешать.

— Ты ничему не мешала.

— Очень красивая девушка.

— Да. И что?

— А мама красивая?

— Она красивее всех.

— Неправда. Красивая, но не красивее всех. И я красивая, но не красивее всех. Вы все время врете.

— Это не вранье, Анечка. Для меня ты красивее всех. Потому что я тебя люблю.

— А маму?

— Тоже. Тебе понравилось?

— Что?

— Динозавры.

— Да ерунда какая-то. Халтура.

— Ты знаешь это слово?

— Пап, ты все время удивляешься. Я что, с Марса? Я все слова знаю на русском языке вообще-то. Ну, не

все еще. Есть какие-то термины. Все термины никто не знает.

— И что такое халтура?

— Когда что-то плохо делают. Для вида. Как ты со мной гуляешь.

— Аня, не обижай меня. Я с тобой гуляю не для вида, мне нравится. А если я с той девушкой задержался, то по делу. В моем агентстве, ты знаешь, ищут моделей для рекламы. Везде. У нее интересное лицо, вот я и...

— Чего ты оправдываешься? Я верю.

— Я не оправдываюсь, просто... Хочешь на колесо обозрения?

— Не знаю.

Аня оглянулась, посмотрела на колесо.

— Можно.

Мне показалось, она согласилась, чтобы меня успокоить и утешить. Я ведь был расстроен и не сумел этого скрыть. Вернее, не захотел этого скрыть. И она увидела. И что расстроен, и что озабочен тем, чтобы она увидела, как я расстроен. Она все понимает. Даже страшно иногда.

Медленно поднимались на колесе, оглядывая территорию ВВЦ и окрестности.

— Много все-таки в Москве людей живет, — сказала Аня.

— Да. А что?

— Ничего. Просто — много. Ладно, сейчас спустимся — и домой.

— Я не тороплюсь. И ты еще на лодке хотела. Поплаваем?

В прошлом году я катал ее и Ирину на лодке в небольшом пруду, Ане очень понравилось.

И сейчас она улыбнулась и кивнула.

Слишком широко улыбнулась, слишком охотно кивнула.

Чтобы показать мне, что ей очень хочется поплавать на лодке.

Как и в прошлом году, на лодочной станции меня предупредили, что можно катать только детей от десяти лет. Как и в прошлом году, я сказал, что Ане именно десять. Лодочнику было все равно, лишь бы свалить с себя ответственность.

Я медленно греб, с отрешенной задумчивостью глядя на воду, небо, облака и деревья на берегах. Вернее, я изображал отрешенную задумчивость. Я этим приглашал дочь тоже отрешиться от всего и просто получать удовольствие.

Она опустила руку в воду и смотрела, как вода обтекает пальцы.

Показалось вдруг, что она намного взрослее. Что это вообще взрослая женщина, которую я обманываю — вот только понять бы чем.

Даже жутковато стало.

Аня спросила, не поднимая головы, не глядя на меня.

— А та жена, которая первая у тебя была, она тоже была красивая?

— Да.

— А почему ты ее бросил?

— Я ее не бросил. Расстались.

— Почему?

— Поняли, что это была ошибка.

— А твой сын?

— Что сын?

— Почему он не приезжает?

— Он такой... Немного своеобразный.

— Аутист?

— Вроде того, но в очень легкой степени. Ты знаешь, что такое аутизм?

— Сам же мне кино показывал — «Человек дождя». Кроме сцены, где они там в гостинице. Ну, он там, его брат, с невестой в постели, а этот вошел.

– Если я не показал эту сцену, откуда ты...

– Сама посмотрела. Потом. Ничего особенного. Думаешь, я об этом ничего не знаю?

– Знаешь – и хорошо.

– Да не бойся, я об этом не буду. Мне еще рано. А с мамой, значит, не ошибка?

– С мамой не ошибка.

– А зачем люди женятся?

– Чтобы жить вместе. Рожать и воспитывать детей.

– Я не буду рожать и воспитывать. Мне будет некогда, я хочу, чтобы была интересная работа. Путешествия.

– Это ты сейчас так говоришь.

– Нет. Или работа, или семья, – Анечка вынула руку, стряхнула с нее капли. Как-то деловито, не по-детски. Так трясет рукой женщина, мывшая посуду.

– У меня и работа, и семья. И все нормально. Я вас обожаю.

– Бабушка говорила, что ты не стал великим художником, потому что все время о ком-то заботился.

– Тебе говорила?

– Маме. Ты бы им сказал, чтобы они при мне поменьше говорили. Они думают, ребенок ничего не понимает. А я не виновата, что понимаю.

Вот, значит, о чем говорят наедине мама и Ирина. Мама защищает меня. На то она и мама.

– Анечка, послушай. Я не стал великим художником потому, что я не великий художник. Я просто художник. Хороший. И уж поверь, если бы я был великий, то мне ничто не помешало бы. Хоть десять семей. И хватит об этом, ладно? Главное: я тебя очень-очень люблю и никогда не разлюблю.

– А маму?

– И маму, конечно. Прямо ужас как.

Я надеялся, что Анечка хотя бы улыбнется. Но она не улыбнулась, смотрела на воду.

Но взглянула на меня и, наверное, догадалась, что я жду улыбки.

И — что ж, мне, дескать, не жалко — улыбнулась.

Зазвонил телефон.

Я не хотел ни с кем говорить.

— Звонит, — сказала Анечка.

Я достал телефон и уронил его в воду.

— Опа, — сказал весело. — Ну и шут с ним.

— А если мама? — спросила Анечка.

Я достал бумажник, вручил его Анечке.

— Держись за борт! — предупредил ее.

И прыгнул в воду.

В воде открыл глаза и тут же закрыл: слишком мутная вода, ничего не видно. Дно оказалось близко — илистое наощупь, я пошарил руками, не нашел телефона, да и не надеялся. Вынырнул. С кормы влез в лодку, стараясь ее не раскачивать.

Анечка смеялась, ужасалась и охала.

— Ты весь мокрый!

— Неужели? — оглядывал я себя. — Как это меня угораздило?

Я снял футболку, джинсы, отжал, надел на себя.

— Надо быстрее домой! — тревожилась Анечка. —

И такси не вызовешь, телефона же нет! Давай быстрее к берегу!

Пока причаливали, пока шли к выходу, я почти высох — день был очень жаркий. Поймали такси, я сел с Анечкой на заднее сиденье.

— Ну ты даешь! — сказала она. — Маме расскажем?

— Почему бы и нет?

Мы поехали.

Она обняла меня за руку и прижалась к плечу.

Значит — простила.

И я себя простил, хотя некоторая нарочитость того, что я сделал, все-таки смущала.

Но лучше нарочито сделать правильное дело, чем не нарочито не делать ничего.

Дома мы весело рассказали о нашем приключении. Мама и Ирина улыбались, напоили меня горячим чаем с медом и лимоном, Ирина растерла мне грудь какой-то настойкой каких-то трав, отчего я стал пахнуть по-деревенски уютно. Чувствуя себя добрым домовым, от которого всем хорошо, пошел к себе в комнату. Появилась мысль записать то, что произошло сегодня. Не в виде документального фиксирования, а – сделать из этого рассказик. И даже с моралью. О родителе, который гуляет с ребенком, а сам весь в своих важных мыслях и заботах, не слышит вопросов ребенка, не интересуется им, хотя это есть самая главная забота.

Увлекся, буквы словно сами появлялись на мониторе и складывались в слова.

Постучала и вошла Анечка.

– Можно?

– Прости, я занят.

– Ладно, потом.



# И СНОВА ВЕРА

(2010)

Двери вагона раздвинулись, и я увидел прямо перед собой Веру. Удивился, сказал: «Привет!» И тут же понял, что это не она. Просто очень похожа. Женщина вошла и села неподалеку, лицом ко мне. На мое приветствие не ответила, только глянула с легким недоумением. Я отрицательно покачал головой, приложил руки к груди, а потом развел их: дескать, простите великодушно, обознался. Она ответила безличной улыбкой; так светские дамы прощают мелкие оплошности официантов, маникюрш и прочих людей из обслуживающего персонала.

Рядом с нею освободилось место, я сел и сказал, деликатно посмеиваясь:

— Извините, но вы так похожи... Просто одно лицо!

— Бывает.

Мне показалось, что я услышал в ее голосе сочувствие и, пожалуй, даже готовность поддержать разговор.

Она была одета не для метро. Слишком высокие и тонкие каблуки, джинсы с дырами на загорелых коленях, смело короткая и прозрачная блузка, да еще завязанная узелком над обнаженным животом. Если бы ей было восемнадцать-двадцать, ничего удивительного, но в тридцать-тридцать пять, а ей было на

вид столько, женщины так в метро не ездят, этот наряд — для суверенного автомобильного пространства, где тебя не зацепит чей-то охальный взгляд или, того хуже, чья-то охальная рука.

Я рискнул догадаться:

— С машиной что-то случилось?

— Вроде того.

— А как вас зовут?

— Сравнить хотите?

— Конечно. Интересно же.

— Вера. Неужели и имя такое же?

— Клянусь. Обалдеть. Так не бывает!

— Людей много, я тоже двойников встречала.

А кто она?

— Типа по жизни моя любовь! — сказал я торжественно и дурашливо.

Она усмехнулась. Поняла: мужчина не любит пафоса. Оценила. Умная.

И от нее немного пахло вином.

Это обнадеживало.

— И что с ней случилось, с той Верой? — спросила она.

— Да ничего. Осталась в прошлом.

— Все там будем.

Фраза не из заурядных, я обнадежился еще больше. Спросил:

— Вы до какой станции?

— Сейчас выхожу.

— А что если мы посидим где-нибудь? Просто так, поболтаем. Скучно же говорить все время с теми, кого знаешь. Я вам историю свою расскажу.

Вера осмотрела меня — не скрывая, что оценивает, но с веселой, не обидной улыбкой.

Что ж, выглядел я, как всегда, прилично. Серый пиджак, белая рубашка, голубые джинсы с потер-  
тостями — намек на несогласие со своим возра-

том, темно-красные кеды – намек еще более очевидный.

– Ладно, – сказала она. – Полчаса у меня найдется.

Я хоть и надеялся на что-то, но не обольщался. Скорее всего, Вера возвращалась с какого-то мероприятия, где немного выпила, поэтому не села за руль, решила прокатиться почему-то на метро, домой ей еще не хочется, почему бы немного не выпить за компанию с этим, судя по всему, вполне культурным человеком?

Около метро была «Шоколадница» с верандой, там мы и устроились. Вера курила, как и я. Общие слабости тоже сближают.

Я осторожничал, пил вино по чуть-чуть.

Рассказал свою историю. Она слушала с интересом. Правда, ей постоянно звонили, она, извинившись, брала трубку, отвечала, обсуждая какие-то деловые вопросы.

– У вас важная работа? – спросил я.

– В «Экспоцентре». Скоро презентация, вот и приходится...

Один раз позвонил какой-то Дима.

– Димчик, я еще работаю, – сказала Вера. – Найди там что-нибудь, все же есть.

И пояснила мне:

– Сын. Четырнадцать, а все еще дитя.

– Четырнадцать? Когда вы успели?

– Да бросьте, мне тридцать пять уже.

– А муж где?

– Где у нас все мужья? В Караганде, естественно. Как и вы. Тоже ведь женаты?

– Женат. Но...

– Без подробностей, ладно?

– Я и не собирался.

Итак, я рассказал свою историю и услышал ожидаемое:

– На что вы надеялись, непонятно? Ясно же, что она вас не любила никогда.

– Я и не надеялся. Просто... Просто с этим живу. Несмотря на то что ее уже нет.

– И нравится так жить?

– Нет. Но без этого было бы еще хуже.

– Если б ты был со мной... Извини.

– Давно пора на «ты».

– Если б ты был со мной, то есть, как муж, а я бы знала, что ты кого-то любишь, я бы не смогла. Выгнала бы. Твоя жена знала?

– Знала. Но это уже не любовь, это уже другое что-то.

– Все равно, неприятно. А мне легче, я никого не любила. Рассказывают, в кино показывают, в книгах читала, все понимаю, а сама – нет. Даже комплексы были, это же неправильно. А потом подруга одна, психолог, объяснила – то, что этим словом называется, бывает очень редко. И неизвестно, насколько оно нужно. Так что, оказывается, я супернормальная.

Теплый вечер, приятный хмель, разговор про жизнь без надрыва и жалоб, – нам не хотелось уходить.

Меж тем официантки уже собирали со столов скатерти, подставки с салфетками, пепельницы.

– Уже закрываетесь? – спросил я.

– Мы до одиннадцати.

– Жаль, – сказала Вера.

Именно она сказала, не я.

– Можно ко мне, – сказал я. – У меня семья на даче, я один. Очень расставаться не хочется. А потом вызову тебе такси.

– Это далеко?

– Совсем рядом!

Через полчаса мы были у меня дома, я достал из тайника литровую бутылку виски, из холодильника сыр, колбасу, помидоры, огурцы.

— Кто бы меня видел, — сказала Вера. — Сижу в квартире постороннего мужика, закусываю виски помидорами.

— Не твой формат?

— Абсолютно. Мне вот интересно, почему она была такая безжалостная, твоя Вера? Ну, не любила, понятно. Но могла бы хоть раз сексом тебя угостить. На бедность, вроде того. Извини. Не обиделся?

— Нет, хорошо сказала — на бедность. Да, вот такая она была, только по любви.

— Нам, нормальным, легче. У нас и без любви можно, было бы желание. Но ты не представляешь, как непросто найти человека для отношений. Что имею в виду: я всю неделю в работе, мне хорошо, мне отлично. Но в выходные я одна, и это грузит. Сыну говорю, что иду на встречу с кем-нибудь, ну, как бы с каким-то мужчиной, а сама то на выставку, то просто гуляю. И вы ведь сволочи все. Если мужчине от тридцати до сорока пяти, я же для него уже не вариант. Им давай от двадцати до двадцати пяти. Понимаешь?

— Они ничего не понимают в настоящих женщинах. Ты красивая, стройная, умная.

— И что? Все думают, что я хочу опять замуж! И боятся.

Я почти не пьянел. И что-то предчувствовал.

И не зря.

— Я ведь знаю, о чем ты думаешь, — сказала Вера.

— Расскажи.

— Ты думаешь: вот, с той у меня даже секса не получилось, а с этой — вдруг получится? И будет как бы компенсация.

— Честно? Даже в мыслях не было. Ты мне просто нравишься. Сама по себе. Согласись, у нас с тобой какой-то особенный случай.

– У тебя – да, встретил женщину, похожую на первую любовь. А у меня что особенного? Хотя, да, тоже не каждый день вот так... Настроение у нас совпало, вот и все.

– Еще как совпало!

– А тебе сколько? Сорок шесть – сорок семь?

– Примериваешься? Если за пятьдесят, то будет стыдно, что с таким связалась?

– Еще не связалась. А что, за пятьдесят?

– Не за. Ровно.

– Неплохо выглядишь. Давай вот что. Я еще хочу выпить – повело меня сегодня. Но я еще хочу секса. Очень. Лови момент, у меня это бывает редко. Ну – чтобы прямо невтерпеж. Поэтому давай это быстро сделаем, а потом напьемся.

– Отличная идея.

– Тогда я в душ. Полотенце чистое дашь?

Все вышло на удивление спокойно, легко и даже, можно сказать, деловито. Но ведь и деловитость может быть приятной, когда увлечешься.

– Знаешь, я почему-то сразу поняла, что с тобой будет хорошо, – сказала Вера.

– Это ты из вежливости?

– Дурак. Мог бы тем же ответить.

– Тем же не могу. Наоборот, не ожидал, что будет так хорошо.

– Хам.

После этого мы напились. И опять набросились друг на друга. Предполагаю, что это было очень здорово. Но не помню.

Проснувшись, я понял, что сорвался и без продолжения не смогу.

И продолжил.

Когда Вера вышла из спальни, я сидел в кухне свежий, поправившийся, выбритый, пахнущий одеколоном. Пил кофе и понемногу – виски.

— Кошмар, — сказала она. — Уже десять!

— С утра выпил — весь день свободен, — ответил я народной мудростью.

— Тоже верно.

Она позвонила Димчику и сказала, что переночевала у подруги рядом с «Экспоцентром». И уже работает. Потом позвонила на работу и сказала, что приболела.

Потом долго принимала душ, приводила себя в порядок. И присоединилась ко мне. Сама налила и выпила. Сказала укоризненно, но по-дружески:

— Сгубил ты меня. Года два я так не улетала.

— Проблемы с алкоголем?

— Бывают. У тебя, я вижу, тоже.

— Увы.

— Ну, значит, и это сошлось.

Это было в пятницу.

Мы провели вместе три дня. Дважды я ходил за добавкой, мы что-то вместе готовили, выпивали, разговаривали. Устав, засыпали. Без попыток нежности и ласк.

В субботу днем она рухнула на постель, сказав:

— Меня до завтра не трогать.

Я сидел в одиночестве до вечера, представляя, как я все это буду вспоминать. Звонила Ирина, я не отвечал. И маме не отвечал. Позвонила Аня, я не мог ей не ответить.

— Ты опять? — спросила она.

— Да, Анечка, немного.

— Мама спрашивает, помощь нужна?

— Нет, я сам.

— Она говорит, если в понедельник не приедешь, будет принимать меры.

— Хорошо. Я приеду.

— Тебе лечиться снова надо.

— Я знаю.

Потом я уснул.

Утром Веры не было.

Я отлеживался до вечера, вызвал такси, поехал на дачу.

— С кем это ты был? — спросила Ирина.

— Ни с кем, один.

— Да?

— А что?

— Да ничего.

Выждав несколько дней, я позвонил Вере.

Она ответила голосом бодрым, занятым, слышались какие-то шумы и голоса.

— Увидеться бы, — сказал я.

— Позвони в конце недели, ладно?

Я позвонил в конце недели.

Договорились встретиться в той же «Шоколаднице».

— Давай сразу все определим, — сказала Вера. — У нас было с тобой приключение. И не больше того. Согласен?

— Нет. Хочу тебя видеть.

— Перестань. Ты женат, у меня взрослый сын.

— Чему это мешает?

— Всему. Ты странный, Виктор. Мало тебе одной женщины, которая тебя не полюбила, еще одна нужна? Ты мазохист, что ли?

— Наверно. Хочу еще помучиться.

— А мне это зачем? Все было замечательно, давай не портить, ага?

— Как скажешь.

Через несколько месяцев Вера позвонила и сказала, что есть серьезный разговор.

Встретились там же. Она сказала, что беременна.

— Ничего себе... Это как?



— А вот так. Неосторожно вели себя. Будто подростки, даже смешно.

— Почему, я...

— Я помню. Не сработало. Короче, Виктор, я все обдумала. Не бойся, ты мне не нужен. Но дочь я хочу родить.

— Уже известно, что дочь?

— Да. И она вырастет, спросит, кто папа. Я не хочу говорить, что папы нет. Что умер или уехал неизвестно куда. Объясню: есть, но по разным причинам живет в другом месте и с другой семьей. Может, я за это время выйду замуж, не уверена. С двумя детьми замуж — сам понимаешь. В общем, чего бы мне хотелось: чтобы ты приезжал к дочери раз в неделю или в месяц, как получится. Материальная помощь — на твое усмотрение.

— Я, конечно...

— Виктор, не торопись. Я сказала: на усмотрение. А ля дискресьон.

— Знаешь французский?

— И английский, и испанский немного.

— Ясно... Ты, значит, твердо решила...

— Если ты скажешь, что мне надо сделать аборт, я тебя ударю. Пепельницей. Будет больно.

— Я не собирался...

— Верю. Ты честный. Тебе просто немного в жизни не повезло.

— Я так не считаю. Еще одна дочь — это прекрасно.

— Да? Что же прекрасного, если ты с ней жить не сможешь? Сам факт, что есть дочь?

— Послушай, мы оба в равном положении, то есть одинаково виноваты, то есть... Ну, ясно. А ты, мне кажется, на меня злишься.

— Немного да, злюсь. Чуть-чуть тебя ненавижу даже.

— За что?

— Думала, ты будешь в восторге, на колени встанешь, предложение сделаешь. Ты помнишь, что говорил, когда мы... Помнишь?

Я не помнил. Слишком был пьян. Наверное, говорил, что сбылась моя мечта. Что нашел идеальную женщину. Возможно, клялся, что брошу семью и уйду к ней.

Но там у меня тоже дочь. И жена, которая мне все еще кровно близка.

Я чувствовал себя униженным, мелким, гадким.

Попробовал отыграться:

— Но ты ведь призналась, что никого не любила и вряд ли полюбишь. Тогда — зачем? Чтобы просто был муж?

— Родной, ты чего? Тебе показалось, что я за тебя замуж хочу?

— Только что говорила: ждала, что на колени встану, предложение сделаю.

— Это не значит, что я согласилась бы. Не путай, тема у нас одна: договориться, что у девочки будет отец. Если ты этого хочешь.

— Хочу, конечно.

— Вот и все. А в каком режиме ты будешь существовать, твое дело!

На этом мы и расстались.

Теперь, когда я это пишу, нашей Лике, Гликерии, пять лет. Я помогаю, насколько возможно, приезжаю, привожу подарки. Чувствую себя ущемлено — как всякий отец, который не может быть постоянно со своим ребенком.

Да еще эта затаенная обида Веры, которую я всегда чувствую и которая, наверно, никогда не пройдет.

А однажды приснился нелепый сон: я увидел Веру, ту, другую, то есть первую, она идет по улице одна, ей лет тридцать, я спрашиваю ее: «А где Лика?» — «Какая Лика?» — «Ты разве не знаешь, что у тебя дочь родилась?»

Кажется, она обрадовалась. Или удивилась. Слишком быстро исчезла, я не успел рассмотреть.

Самый частый сон последних лет: выхожу из какой-то двери, вижу незнакомую улицу, понимаю, что вышел не туда, хочу вернуться, а той двери, из которой вышел, — нет.

Иду вдоль домов, ищу табличку с названием. И нахожу, но не понимаю, что написано. Будто разучился читать. Или это на иностранном языке? Да нет, родная кириллица. Но буквы складываются в полную абракадабру. Что-то вроде «Йцукенгшщ» или «Фывапрол» — отражая мою ежедневную в эти месяцы работу с клавиатурой.

Естественно, тут же появляется и аптека, потому что слово «Фывапрол» похоже на название лекарства. А где аптека, там и фонарь. Оказывается, ночь на земле. И я уже в Финляндии, в городе Хельсинки, где никогда не бывал. Валяюсь, пьяный, на заснеженной улице среди однотипных домов скромной рабочей окраины. Откуда я знаю, что это Хельсинки, неизвестно, но знаю точно. Открывается дверь одного из домов, выходит женщина и зовет меня. Это моя жена. Как получилось, что совершенно незнакомая женщина стала моей женой, сон не объясняет. Она зовет меня, сердится, ругается. Я пытаюсь подняться и обиженно говорю, что задержался из-за друга, которого спас от верной смерти, вытолкнув из-под машины, сам чуть не погиб, а потом мы, конечно, отмети-

ли, да и кто бы не отметил? Я рассказываю свою правдивую историю долго, горячо и убедительно, при этом ни слова не понимаю из того, что говорю.

Бывает в этих снах и наоборот: перестаю понимать родной язык. Верчу головой, всматриваюсь в рты людей, будто глухонемой, слышу звуки русской речи, а о чем в этой речи речь — без понятия. Так слышится далекое радио. Иногда вдруг выделяется, словно порывом ветра донесло, что-то знакомое. Какие-то слова из твоей предыдущей жизни (а вся жизнь до сна — предыдущая): «санкции», «стабильность», «президент сказал, что»... До мозговой изжоги морщишься во сне умом, пытаешься понять, что означают эти слова. Нет, тщетно. Ничего они не означают.

И опять я на незнакомой улице. Только что она была темной, все двери первых этажей, где магазины, были заперты, везде таблички «Закрыто», и вдруг все осветилось, зажило, заиграло гирляндами, как перед Новым годом. Но на улице по-прежнему никого нет, я один. Передо мной огромный ресторан с круглыми столами, белые скатерти, официанты во фраках, женщины в длинных платьях, с обнаженными плечами. А вон и моя жена. Не та, что была в Хельсинки, и не та, что в жизни, однако я уверен, что это именно моя жена. Вокруг полно людей, в том числе мировые знаменитости, но она смотрит только на меня — не на того, кто на улице, за стеклом, а на того, кто рядом. Второй я (или первый?) моложе, стройнее, она обнимает его, целует, а я, который на улице, ревную и тоскую.

Хочу напиться, стучу в дверь бара. Выглядывает швейцар с галунами, дореволюционного вида, качает головой: «Мест нет-с, просим покорно извинить-с!» Я возмущаюсь, кричу, но не слышу своего голоса.

Мечусь по улице, колочу руками и ногами во все двери, витрины и окна. Никто не открывает. Там музыка, смех, веселье, льется шампанское, обдавая брызгами: сном меня вносит внутрь, но тут же вышвыривает обратно, на морозную улицу.

Дрожа от холода, вхожу в телефонную будку. Это еще и путешествие во времени, я вижу телефонный аппарат советской эпохи — мутно-серебристого цвета, с диском, с черной эбонитовой ручкой, которая привязана цепью — чтобы не сперли. Сон услужливо подает мне двушку, то есть двухкопеечную монету, я снимаю трубку, сую двушку в прорезь, слышу приятный щелчок и гудок, набираю номер, 99–10–86, номер, которого я никогда не забуду. Слышу:

«Алло?»

Молчу.

Плачу.

«Алло, это ты? Я не слышу!»

«Это я», — наконец отвечаю.

«Когда будешь?»

«Скоро».

Мы еще о чем-то говорим, долго, как говорили в первые дни после знакомства, но меня уже нет в будке, я иду по улице, слушая этот разговор. Все вокруг знакомо — это мой город, моя улица.

А вот и мой дом. Отпираю дверь, улыбаюсь, предвкушая удивление и радость: я ведь не предупредил, что сегодня приеду. Тихо поднимаюсь по лестнице. Заглядываю в комнату. Жена говорит по телефону. Замечает меня, вспышка счастья в глазах, торопливо в трубку:

«Извини, у меня тут Витя, оказывается, приехал!»

Кладет трубку, бежит ко мне, бросается на шею, я кружу ее по комнате. Ставлю на пол, целую, спрашиваю с шутливой ревностью:

«С кем говорила?»

«С тобой, с кем же еще?»

Поднимаю на руки, несу, укладываю, целую, и вот уже...

Но нет, опять улица.

Та же незнакомая улица. Блуждаю, хочу куда-нибудь выйти. И некого спросить.

На пустом месте снов не бывает, этот и подобные выросли из реального случая.

Я тогда только что переехал в Москву. Конец девяностых, никаких еще смартфонов и планшетов, с помощью которых легко определить свое местонахождение, да и мобильные телефоны далеко не у всех. Пейджеры еще не отошли — вы помните, что это такое, или уже нет?

Меня пригласили на день рождения земляка, давно укоренившегося в столице. Где-то возле метро «Чистые пруды». Я записал адрес, посмотрел по карте, как ехать и как идти — по бумажной карте, вернее, по толстому топографическому справочнику из серии «Желтые страницы». Что-то меня задержало, приехал поздно, уходил в числе последних и один. Был трезв. Направлялся к метро переулком, название которого запомнил: Архангельский. Вышел куда-то не туда, вместо ожидаемого бульвара — опять переулок. Свернул направо: вроде бы бульвар где-то там. А потом еще раз направо, и еще раз. Вижу: опять Архангельский. И сквер на углу. Не помню никакого сквера.

Около часа я бродил теми улицами и переулками, и, как нарочно, ни людей, ни машин, будто вымерло все. И к метро уже поздно, закрыто.

Сел на какое-то крыльцо и, взрослый мужчина, проживший целую жизнь, шмыгнул носом и вытер влажные глаза. Таким показался себе заблудшим, брошенным, чужим, одиноким и ненужным. Сирота сиротой.

Но не успел расчувствоваться — такси. Благополучно уехал на нем и через день забыл об этом случае. Если и рассказывал, то в виде анекдота.

А потом отразилось в снах, и отражается до сих пор, значит, для души этот случай имеет не такое уж пустяковое значение.

Место, где блуждал, я теперь, конечно, знаю. Переулки Архангельский, Потаповский, Сверчков. И Кривоколенный.

А есть сны — будто совсем ниоткуда. Например, в метро стою и жду поезда. Наверное, очень поздно, потому что на платформе только я. Подходит поезд, но двери не открываются. Пассажиров это почему-то не беспокоит. Поезд стоит довольно долго. Уходит. Подходит другой. И тоже двери не открываются. Я замечаю, что и люди те же: вон юноша с девушкой обнимаются, вон высокий и стройный старик в ковбойской шляпе держит в руке планшет, что-то читает, вон мужчина в черной робе и в шахтерской каске со светящимся фонарем дремлет стоя... Поезд уходит. Смотрю на электронные часы. Там — 00:00. Жду, когда станет 00:01. Но нет, время застыло. И опять подходит поезд. Те же юноша с девушкой, старик в шляпе, дремлющий шахтер...

Есть сны и приключенческие, и страшные, и, конечно, про любовь, да еще со всеми подробностями и ощущениями, близкими к подлинным. В этих снах и отголоски прошлого, и не прожитые события — то, что с нами не случилось, наши неоткрытые двери, в которые сон нас легко впускает, показывая, что было бы, если бы... Может, это не прожитое, но представленное, то есть все-таки, значит, пережитое, хоть и во сне, для души важнее того, что было на самом деле? Достигнув чего-то или разочаровавшись, мы никогда не перестанем видеть в своих снах бесконеч-



ный квест, где мы бродим по лабиринтам, перепрыгиваем через ямы, то и дело оказываемся в тупиках, нас хотят сожрать или подорвать смешные, но страшные чудища, мы умираем, оживаем, идем дальше, открываем разные двери, проходим один уровень, другой, двадцатый, иногда с досадой бросаем игру, чаще доходим до последнего уровня, не получив в награду ничего, кроме легкого чувства удовлетворения и сожаления, что эта игра кончилась; мы тут же начинаем другую, не можем успокоиться в поисках главной двери нашей жизни. Где эта дверь, как всегда, неизвестно.

*Часть VI*

Письмо  
Глеба  
Смирнова

2017

Папа я пишу тебе письмо, здравствуй\*.

Это я Глеб, если ты еще не понял. Мама не велела тебя находить в интернете и писать тебе письма но, она входила через мой компьютер потому что, у нее сломался свой. И я там увидел твой адрес, она тебе писала. Я не смотрел что, она писала, только адрес. И я закрыл ее почту но, адрес скопировал и пишу с своего ящика. Тоест ты сейчас видишь мою почту. Ты ей про это не говори. А письмо я на всякий случай удалю. Но сначала напишу и отправлю.

Я уверенный пользователь в компьютере, играю все игры и смотрю фильмы но, она не разрешает ни с кем переписываться. Из за случая с девушкой с которой все началось с переписки и получилась история которую я тебе расскажу. Потому что, мне надо посоветоваться. Я раньше тебе не писал потому что, она сказала чтобы, я тебя не беспокоил. Поэтому я даже не знал твоего адреса. Теперь знаю и пишу. Но ей не говори. И не пиши.

У меня давно был акаунт на сайте знакомств. Я там дал свою фотографию и написал свой возраст все

---

\* Особенности орфографии и пунктуации сохраняются.

честно. И мне отвечали разные девушки. У них там были разные вопросы и пожелания. Включая материальную сторону жизни но, я им сразу объяснял что, я интеллигент без работы пока. А они искали практическую сторону жизни. Я их не осуждаю. Каждый имеет право иметь свои представления о жизни.

А эта девушка Мария когда узнала что, я интеллигент без работы не испугалась. Она написала что, сама пока без работы и интеллигентка но, это временно. И что на то что мы переписываемся это не играет роли. Какая разница миллионеры или просто люди. Переписываются все одинаково. В том смысле что слова. Потому что, переписка обнажает человека в голом виде независимо от его материального положения или возраста. Эта ее мысль мне показала что, она очень умная девушка. Она моложе меня еще нет тридцати. Двадцать восемь. А на фотографии еще моложе. Она мне прислала свою фотографию хотя, в акаунте у нее был другой аватар. Из японского мультфильма. Мы много писали друг другу про кино. Она написала что, любит фильмы «Форрест Гамп», «Человек дождя» и «Темпл Грандин». Но написала чтобы, я не подумал что, если она любит эти фильмы про аутистов то тоже аутистка хотя, врачи назвали у нее синдром про который она не хочет даже называть названия потому что, с этим не согласна.

Я написал ей что, у меня врачи ничего не называют и у меня нет почти никаких изменений кроме внешнего вида. А по внешнему виду ты папа сам знаешь что, с детства меня считали дурачком. Это не так но, я все таки я знаю что отличаюсь. Я не совсем как другие люди и этого перед собой не скрываю. Я ей об

этом написал. Что я не ненормальный но, особенный. Она с этим согласилась. И написала что, да все особенные.

Когда мамы не было дома мы с ней говорили по скайпу. И когда у нее тоже никого не было. У нее мама и старший брат Анатолий. Мы с ней говорили и она сказала что, вот ты же видишь что мы такие же как все люди. Она мне очень понравилась. Она очень красивая. Она сказала что, все люди имеют равные права. Я с ней не согласился и сказал что, надо иметь мужество и признать что, ни у кого нет равных прав. Потому что, люди разные. И если бы я сказал тебе что, да ты такая же я бы тебя обманул. Нет ты другая и я другой но, ты все равно мне нравишься. Ей это понравилось. Она сказала что, все говорят ей и мама и брат что, она такая же но, они ее просто любят. А я первый кто не стесняюсь говорить что, она другая.

Нам очень захотелось встретиться. Она ни с кем никогда не встречалась. Гуляла только с мамой или иногда с братом. Но ее иногда отпускали в магазин за продуктами около дома. Я предложил там встретиться.

Мы с ней там встретились. Я сразу ее предупредил чтобы, на нас не обращали внимания. Потому что, могут что-то заметить. И мы с ней говорили когда ходили вдоль полок. Будто покупаем а сами говорим. Но, потихоньку. А рядом с магазином там еще кондитерская. Там три столика у окна. Можно выпить чаю или кофе и съесть пирожное. И мы там стали сидеть. И выбирали какое пирожное будем есть. Один раз выбирал я а потом она. По очереди. И наоборот. У меня всегда есть немного денег. Мама дает на газировку и арахис. Я ем много арахиса а он соленый после

него хочется пить. Но я стал меньше покупать газировки и арахиса поэтому, нам хватало посидеть в кондитерской. Но, однажды там вдруг оказалась ее мама и удивилась. И увела ее оттуда.

Мы перестали там встречаться. А она живет около Детского парка. Но ее даже туда мама не отпускала одну. Это можно понять ведь Мария красивая а там ходят разные люди. Хотя это Детский парк но, там бывают и пьяные. И всякий сброд. А дом у них прямо напротив и с балкона все видно хотя, не все. Один раз мама заболела. Мария ей сказала что, она пойдет и будет в парке только напротив балкона где ее будет видно. Это я для нее придумал такую идею. Мама согласилась. Она сидела у окна а Мария гуляла или сидела на лавке. В пределах видимости. И я тоже стал туда приходить. Там лавки такие двойные в две стороны. И я начал приходить и сидеть там но, в другую сторону. Как будто читаю книгу а она сидит ко мне спиной а на самом деле мы разговаривали. Ей только не нравилось что она не видит мое лицо. Мне тоже. Но смотрели в телефоны где у нас были фотографии друг друга и говорили как будто видим друг друга.

Ее мама успокоилась что, Мария может одна гулять. Она выздоровела и стала ходить на работу. Потом приходила и выпускала Марию. Но это было лето а потом стало рано темнеть и мама уже не хотела ее отпускать одну. Но там была площадка с фонарем и Мария там могла сидеть. Под фонарем ее было видно из окна. И тоже была лавка.

Но однажды когда мы с ней там сидели появился Анатолий и начал меня спрашивать в грубой форме чего мне надо от моей сестры. Мария на него заплакала

и попросила не грубить со мной. Она объяснила что у нас просто человеческие отношения. Но Анатолий не успокоился и прогнал меня.

Мы опять стали общаться только по скайпу. Но однажды Анатолий возник на экране. Он подслушивал и подсматривал. И возник. И сказал что, теперь он мне оторвет голову. И ей тоже. И что он служит в каких то органов и узнает через компьютер мой адрес. Я сказал ему что, безо всяких органов скажу адрес. Мне нечего скрывать.

Он пришел к нам домой. Они с мамой сидели и что то обсуждали. Он говорил громко но, она ты знаешь тоже умеет когда надо. Они поссорились. Он ушел а мама сказала что, если я это продолжу она отберет компьютер. Я пообещал хотя мне было грустно.

А у Марии как я потом узнал компьютер отобрали сразу же. И телефон потому что, у нее в телефоне был номер моего телефона. Она осталась без внешнего мира. Я просил маму чтобы, она вмешалась потому что, нельзя так издеваться над человеком. Она сначала не соглашалась но, потом согласилась. Мы пошли туда.

Сначала там был очень нервный скандал но, потом все успокоились. Они позвали нас с Марией и мама сказала что если вы хотите дружить то можете. Но никаких прогулок а только друг другу в гости при нас.

Это оказалось даже лучше чем раньше. Мы приходили друг к другу по вечерам или в выходные. Анатолий иногда сердился. Он был раньше женат и ушел от жены обратно к маме. Он говорил что, ему не дают

отдыхать. Что от чего ушел к тому пришел и ему нет покоя.

Все было хорошо но, Мария начала проявлять признаки. Однажды ее мама мылась в ванне а мы были одни в комнате. У них две комнаты. Мария с мамой а Анатолий один. Но мама мылась в ванне и не могла видеть что, мы делаем. Мария этом воспользовалась подняла кофту и попросила ее погладить. Я погладил но, сказал что, лучше этого не делать. Но, она с этого времени пользовалась любым моментом когда мамы не было рядом чтобы, я ее погладил.

А потом мы были у нас. Моя мама привыкла и доверяла нам. Один раз она пошла в магазин и сказал нам как детям вы не шалите а я пойду в магазин. Но Мария сразу же стала обнимать меня и целовать. Я почувствовал мужское возбуждение но, знал что, этого нельзя. Я ее уговаривал. А потом заперся в туалете. Она плакала и обижалась. Я ей объяснил через дверь что, мы можем дойти до того что, у нас от этого будут дети. А это опасно. Хватит уже того что, мы не такие. Что хорошего если дети будут не такие. В стране и так мало нормальных людей.

Папа я ее любил но, я понимал что не могу долго сопротивляться. Я рассказал вечером маме про то что, у нас было. Она сначала даже почему то смеялась. А потом наоборот заплакала. На другой день она пошла к ним. Я не знаю что, они говорили но, Мария после этого перестала приходить. И наверно у нее опять не было компьютера потому что, я не видел ее в интернете. Я перестал кого то искать и с кем то общаться. Я скучал. Поэтому много играл. Я играл в Super Meat Boy. Это очень сложная игра. На каждом этапе по 20 уровней. Я сейчас на 8 уровне 4 этапа. То



есть прошел 3 этапа по 20 уровней. Ты играешь в какие то игры? Какнибудь попробуй тебе понравиться.

Но потом пришел Анатолий и говорил с мамой а потом со мной. Он мне сказал что, Маша болеет и хочет меня видеть. Я сказал что, тоже хочу ее видеть потому что скучаю. Он сказал что, их мама вышла на пенсию и сидит дома поэтому, можно встречаться там. И мама все время будет дома и при нас. Я согласился.

Мы стали встречаться при маме. Марии разрешили пользоваться компьютером и я научил ее играть в Super Meat Boy. Сначала ей было неинтересно и она не понимала но, потом научилась и стала испытывать азарт. Мы сидели рядом и играли. А ее мама была тут же и смотрела телевизор. Все было хорошо только я немного сердился что, Мария медленно проходит уровни. Я приходил домой и проходил эти уровни в пять раз быстрее.

Через примерно две недели мама пошла в туалет. Мария схватила меня за руку и потащила из квартиры. У нее откуда то оказался телефон и она с него звонила. Мы побежали за дом потом еще за один дом потом еще за один. Там нас ждала машина такси. Она меня посадила и мы поехали. Я ее уговаривал шепотом чтобы, этого не делать. Я никогда не говорю громко при посторонних. Я люблю говорить тихо. Некоторые обижаются что не слышат но, я не нарочно. Мне кажется если я себя слышу другие тоже слышат.

Мы поехали очень далеко. Я не был в этих местах и не представлял где это. Теперь я знаю что это огромный поселок Поливановка на краю города. Там было мно-

го улиц где мы ездили и долго не могли найти какой то дом. Потом нашли. Мария говорила с какой то женщиной и дала ей деньги. Я потом узнал что, она эти деньги взяла у мамы без спроса. А женщина была хозяйка квартиры. Тоесть дома. Тоесть Мария сняла у нее дом. Как она с ней договорилась я не знаю.

Я очень беспокоился и хотел уехать но, Мария уредила меня что, все будет хорошо. Что мы взрослые люди и хозяева нашей жизни. Я согласился но, напомнил что, мы хоть и взрослые но, немного особенные. Она согласилась но, сказала что, если особенные мешают жить не особенным это одно а если они никому не мешают то кому это мешает? Это их личное дело.

Это был очень старинный дом. Он топился дровами. Они были уже наколотые во дворе. Я сначала не умел но, потом научился топить печь. Вода была только холодная. Туалет был во дворе. Постоянно лаяли в других дворах какие то собаки. И было слышно трамвай. Там никакого транспорта только трамвай. Я один раз заскучал и пошел к остановке. Но Мария догадалась и пошла за мной и уговорила вернуться. Она сказала что, мы теперь как муж и жена и это никого не касается. А уже было холодно а одежда у нас была не теплая. От хозяев осталась старая одежда в шкафу мы оделись и это было странно хотя, смешно. Мы были похожи на каких то других людей. Мария ходила в местный магазин и готовила еду. Она сказала что, теперь все правильно жена кормит мужа ужином.

У нас произошло то о чем, ты догадываешься. И это было хорошо но, в остальное время иногда было скучно. Здесь не было компьютера и телевизора. Была полка с книгами. Я раньше таких не читал. Книга «Кто тебя предал» Беляева но, не фантаста. О религии.

«Повесть об уголовном розыске» не помню авторов. «Мужество» Кетлинская. Хорошая книга о строителях Комсомольска на Амуре. И несколько книг Леонова детективы. Я их быстро прочитал и делать было нечего. А потом у нас кончились деньги. Я предложил вернуться Мария отказалась мы поругались. Но помирились. На другой день она откуда то принесла хлеб и еще что то. Я понял что, она украла в магазине. Мы опять ругались. Я сказал что, я не буду есть ворованное. Но она очень обиделась и мы все таки это съели.

А потом она позвала меня вместе пойти в магазин устроиться на работу. Ее взяли уборщицей а меня грузчиком. Но денег не платили. Обещали в конце месяца. Давали продукты. Не очень хорошую картошку и молочные продукты с просроченным сроком годности. И даже колбасу. Мария ее отваривала или жарила и получалось вкусно. Она даже как мама делала мою самую любимую еду. Это яичница с колбасой. Я могу съесть целую сковородку.

Но я все таки понимал что, это неправильно. И что мама очень беспокоится. Один раз я зашел в служебную комнату и увидел телефон. И позвонил маме. Она плакала и потребовала чтобы, я немедленно вернулся. Или она умрет. Я ее успокаивал. Еще она сказала что, Марию убьют так что лучше нам обоим возвращаться домой. Я испугался за Марию. Сказал что, мы еще побудем тут. Тогда мама попросила чтобы, я обязательно ей позвонил завтра. Я пообещал. И завтра ей тоже звонил. Она говорила уже спокойно и рассказывала очень долго какой ремонт хочет сделать в моей комнате.

В тот же вечер за нами приехали. И мама и брат. И даже полиция. И нас повезли домой. Я успел сказать Марии что, так будет даже лучше потому что, все

равно ведь дальше неизвестно что. Но она плакала и почему то ругала меня что, она меня ненавидит. Мне было обидно.

Но дома мне было хорошо. Я отдыхал и каждый день мылся в ванной. Горячую воду ценишь тогда когда она есть. В том числе и туалет и другие удобства. И свою одежду. Но когда я немного успокоился я понял что, хочу видеть Марию. Мама сказала что, это исключено. Но у нее работа и разные дела поэтому она не может быть все время дома. Хотя, запирала меня. Но, я однажды нашел ключ.

Я пошел к дому Марии. Я ходил около ее дома но ничего не увидел. И вернулся домой.

Я каждый день туда ходил. Но не видел ее. Я подумал что, они переехали. Это на меня так подействовало что, я побежал к ним в дом и стал звонить в квартиру. Открыла Мария и бросилась на меня. И потащила вниз. Сзади кричала мама. Мы выбежали и побежали. Мама бежала за нами в одном халате и тапках по снегу. Я сказал Марии что, не собирался так поступать. Но я должен ее видеть потому что, не могу без нее жить. Она мне в ответ сказала то же самое.

Мы забежали в какую то случайно открытую дверь и побежали наверх. Это был какой то старый но, высокий дом. Там была дверь на чердак. На чердаке были старые матрасы. Мы в них легли и пролежали всю ночь. Обнимались и больше ничего.

Утром нас нашли и вернули опять по домам. Прошла неделя. Мама сказала что, Мария лежит в больнице. Я попросил туда поехать но, она сказала что, туда не пускают. Я не знаю что делать. Папа раньше я считал

что, не совсем нормальный но, теперь я думаю что, был как раз нормальный а теперь сошел с ума. Я не знаю что делать. Мне раньше было хорошо а теперь так противно и страшно что, я хочу даже умереть. Я так хочу увидеть Марию что, даже кричу. Мама пугается. Я этого сам не понимаю. Мне кажется что, я просто сижу и думаю а оказывается что, сам в это время кричу. Она прибегает и плачет. Но, тоже не знает что делать.

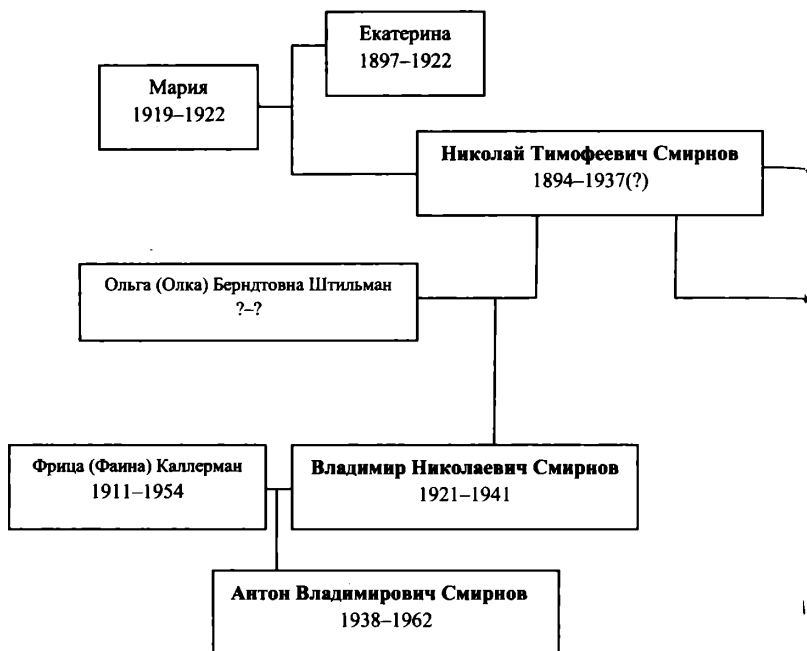
Твой сын Глеб

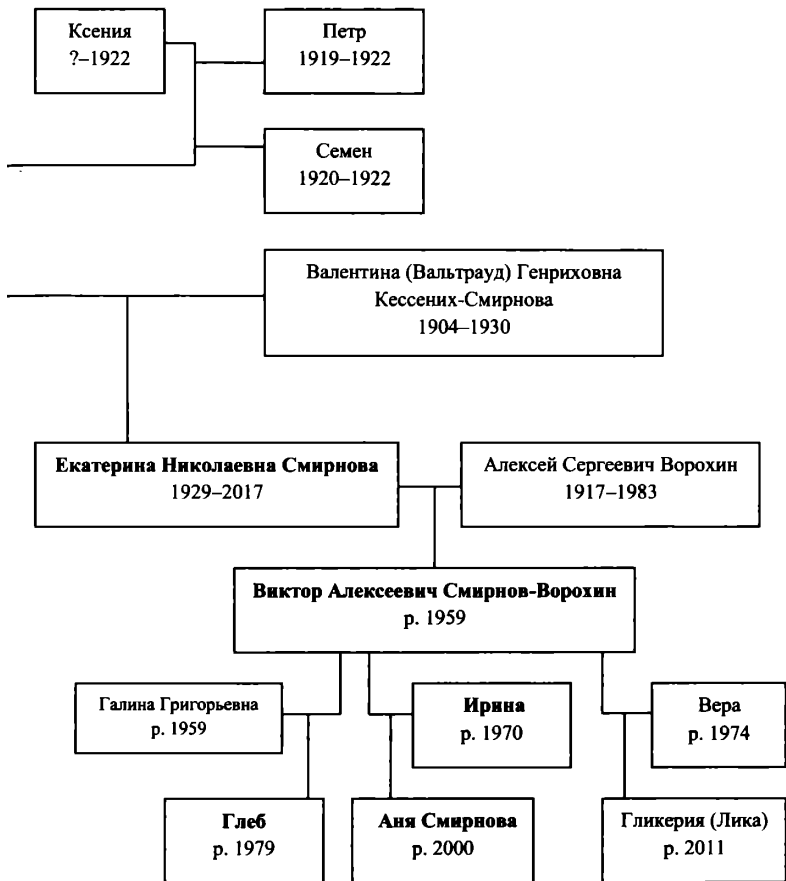
Ты не согласишься но, я не успел отправить тебе письмо. Отправляю сейчас, но уже с другим событием. Я сидел тут и писал тебе письмо. И ты не согласишься я как раз тебе пишу про Марию и тут как раз в это самое время пришли мама, Анатолий, ее мама и Мария. Они сейчас сидят на кухне и что то говорят. А мы сидим рядом с Марией и я такой счастливый что, мне больше ничего не надо. То есть сейчас не сидим, я быстро дописываю письмо и отправлю. И опять сяду с ней.

Но ты все равно приезжай потому что, я не знаю чем это кончиться.

Твой любимый сын Глеб.

Эта схема дает представление о том, как составлена книга и каковы родственные отношения ее авторов и героев





*Литературно-художественное издание*

**Слаповский Алексей Иванович**

## **НЕИЗВЕСТНОСТЬ**

**Роман века**

**Главный редактор *Елена Шубина***

**Редактор *Алла Шлыкова***

**Корректоры *Ольга Грецова, Валентина Крикунова***

**Компьютерная верстка *Елены Илюшиной***

Подписано в печать 27.02.2017. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.

Доп. тираж 2000 экз. Заказ 5089.



<http://facebook.com/shublnabooks>



<http://vk.com/shublnabooks>

**ООО «Издательство АСТ»**

129085 г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39

Наш электронный адрес: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

[www.oaotpk.ru](http://www.oaotpk.ru), [www.oaompk.pf](http://www.oaompk.pf) тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



«Баспа Аста» деген ООО  
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 39 бөлме  
Біздің электрондық мекенжайымыз: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
E - mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды  
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а»,  
литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;

E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.»

ISBN 978-8-17-102529-8

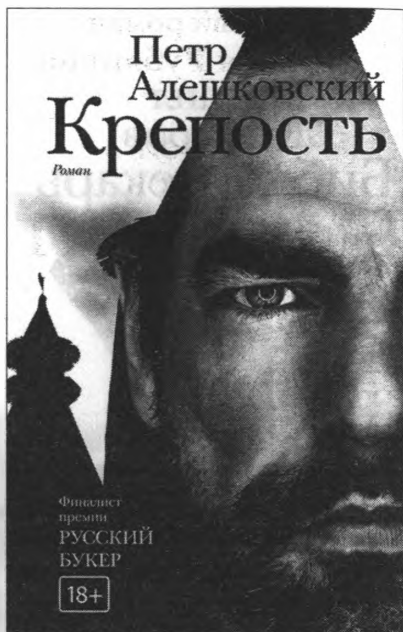


Новый роман  
Андрея Рубанова



Андрей Рубанов — автор книг «Сажайте, и вырастет», «Стыдные подвиги», «Психодел», «Готовься к войне» и других. Финалист премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

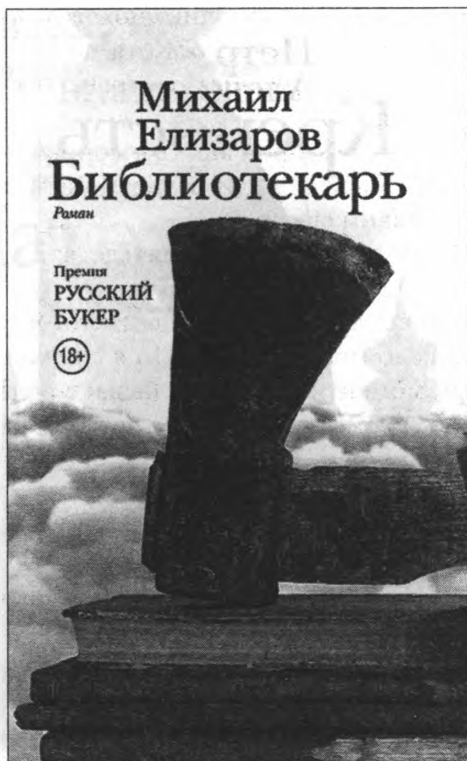
Главный герой романа «Патриот» Сергей Знаев — эксцентричный бизнесмен, в прошлом успешный банкир «из новых», ныне — банкрот. Его сегодняшняя реальность — долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания... Вдруг обнаруживается сын, о существовании которого он даже не догадывался. Сергей тешит себя мыслью, что в один прекрасный день он отправится на войну, где «всё всерьез», но вместо этого оказывается на другой части света...



Петр Алешковский — прозаик, историк, автор романов «Жизнеописание Хорька», «Арлекин», «Владимир Чигринцев», «Рыба». Закончив кафедру археологии МГУ, на протяжении нескольких лет занимался реставрацией памятников Русского Севера.

Главный герой романа «Крепость» — археолог Иван Мальцов, фанат своего дела, честный и принципиальный до безрассудства. Он ведет раскопки в старинном русском городке, пишет книгу об истории Золотой Орды и сам — подобно монгольскому воину из его снов-видений — бросается на спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды получают новое прочтение, действие развивается стремительно, чтобы завершиться острым и неожиданным финалом.

Роман удостоен премии «РУССКИЙ БУКЕР».



Михаил Елизаров — прозаик, музыкант, автор романов «Pasternak» и «Мультики» (шорт-лист премии «Нацбест»), сборников рассказов «Ногти», «Мы вышли покурить на 17 лет...» и других.

«Библиотекарь» — роман, удостоенный премии «Русский Букер» и породивший скандалы и дискуссии в обществе; роман о священных текстах — но без «книжной пыли» Борхеса и Эко: книги здесь используются по прямому архетипическому назначению — оправленные в металл, они сокрушают слабенькие черепные коробки, ломают судьбы, зовут на костер и вторгаются в ткань мироздания.

Алексей Слаповский (р. 1957) — писатель и драматург, финалист «Большой книги» и «Русского Букера», автор романов «Я — не я», «День денег», «Синдром феникса», «Победительница», «Они», «Гений» и многих других. Каждая новая книга Слаповского — эксперимент над жанром, собой и читателем.

Книга «Неизвестность» носит подзаголовок «роман века» — события охватывают ровно сто лет. 1917–2017. Сто лет неизвестности. Это история одного рода — в дневниках, письмах, документах, рассказах и диалогах.

Причудливы судьбы героев: крестьянин, герой Первой мировой и Гражданской войн, угодил в жернова НКВД; его сын хотел стать летчиком и танкистом, но пошел на службу в этот самый НКВД; внук-художник мечтал о чистом творчестве, но его поглотил рекламный бизнес, а его юная дочь обучает житейской мудрости свою бабушку, бывшую горячую комсомолку.

*«Каждое поколение начинает жить словно заново, получая в наследство то единственное, что у нас постоянно, — череду перемен с непредсказуемым результатом».*

*Алексей Слаповский*

ISBN 978-5-17-102529-8



9 785171 025298

